

Борис Земцов

ЖИЗНЬ СТРОГОГО РЕЖИМА

проза
русской неволи

ЖИЗНЬ
СТРОГОГО РЕЖИМА

Борис
Земцов

проза
русской неволи

Борис Земцов

**ЖИЗНЬ
СТРОГОГО
РЕЖИМА**

ИНТЕЛЛИГЕНТ НА ЗОНЕ

Москва
«Вече»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
355

Художник Макс Олин

Земцов, Б.Ю.

355 Жизнь строгого режима. Интеллигент на зоне / Борис Земцов. — М. : Вече, 2013. — 352 с. — (Проза русской неволи).

ISBN 978-5-4444-1136-0

Знак информационной продукции 16+

Эта книга уникальна уже тем, что создавалась за колючей проволокой, в современной зоне строгого режима. Ее части в виде дневниковых записей автору удалось переправить на волю.

А все началось с того, что Борис Земцов в бытность зам. главного редактора «Независимой газеты» попал в скандальную историю, связанную с сокрытием фактов компромата, и был осужден за вымогательство и... хранение наркотиков. Суд приговорил журналиста к 8 годам строгого режима. Однако в конце 2011-го, через 3 года после приговора, Земцов вышел на свободу — чтобы представить читателю интереснейшую книгу о нравах и характерах современных «сидельцев».

Интеллигент на зоне — основная тема известного журналиста Бориса Земцова.

**УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6**

ISBN 978-5-4444-1136-0

© Земцов Б.Ю., 2013
© ООО «Издательство «Всеч», 2013

*Всем, кто ждал, помогал и верил,
посвящается...*

...и к злодеям причтен...

Ис. 53, 12

Почти каждый день, приблизительно с половины десятого до половины третьего, в бараке отключают воду. Приблизительно в это же время у нас отключают свет. Что за этим? Экономия? Профилактика? Следствие каких-то где-то производимых работ? Впрочем, какая разница, барак российской зоны начала XXI века, лишенный света и воды, — родной брат каземата раннего Средневековья, со всеми, так сказать, вытекающими... Зато — нас не бьют! Уже не бьют (арестанты со стажем помнят не памятью, а собственной шкурой, совсем недавние времена, когда по любому пустячному нарушению любого зека могли вызвать в дежурку, где полдюжины дородных контролеров устраивали ему «пятый угол», или просто лупили почем зря руками и ногами). Если же быть совсем точным, почти не бьют. Буквально на днях только что переведенный в отряд узбек Э. отхватил изрядную порцию пинков и зуботычин от отрядных «козлов» (зеков-активистов, добровольных помощников администрации) за неровности в личных отношениях с режимом (уверен, «козлы» здесь действовали не по собственной инициативе, а по наущению начальника отряда). Мало того, потом азиат-горемыка был вызван в ту самую дежурку, где известная процедура повторилась уже в исполнении прапорщиков-контролеров. Конечно, мордобой здесь уже не массовый, не повальный.

Не то время, не тот зек. Грамотный сигнал в прокуратуру, правозащитникам, в СМИ может мигом обернуться для лагерного начальства непоправимыми последствиями, и тем не менее...

И дебилов различных я видел за свою жизнь немало, и выроdkов всякого калибра встречал предостаточно, всякую сволочь наблюдал в избытке, но чтобы все это в таком количестве и в такой концентрации, на таком ограниченном, полностью изолированном участке!.. Такого даже представить не мог. При всей своей фантазии. При всем своем жизненном опыте. Удивительно, а скорее всего, все-таки закономерно, что представители вышеперечисленных категорий составляют немалую часть не только тех, кто оказался здесь в качестве отбывающих наказание, но и тех, кто приставлен к ним, то есть к нам, в качестве охранников и воспитателей. Впрочем, никаких примет воспитательно-го процесса за все время нахождения здесь я не обнаружил — похоже, воспитание заменено или подменено здесь (богат русский язык) унижением, и факт этот, кажется, вполне устраивает и ведомство, которое является главным распределителем на означенном участке земли, и само государство — институт, орган, частью которого ведомство это является.

Еще в Березовке, в зоне прежнего моего нахождения, я обратил внимание, что среди моих соседей, граждан республики (скорее, конечно, монархии) ФБУ ИК, немало мясников, забойщиков скота. Это вовсе не значит, что из всех сидящих на строгом режиме добрая треть или четверть составляют люди этих профессий, но факт неоспоримый — представители этого ремесла здесь очень заметны. На свободе можно прожить 30, 40, 50 лет и ни разу не

встретиться с живым забойщиком скота, даже не иметь повода вспомнить о существовании подобной профессии, а здесь.. сплошь и рядом. Выходит, регулярное убийство животных, постоянная возня с кровью, хлопоты по расчленению, разделке и тому подобное связаны самым тесным образом с характером, наклонностями, привычками. Мой доморощенный вывод подтвердил Чезаре Ломброзо. Он еще сто с лишним лет назад обратил внимание на ту же тенденцию. С помощью уже научных приемов основательно изучил ее и сделал вывод: мясники составляют весьма значительную пропорцию осужденных (37 на тысячу). Похоже, кого-то чужая кровь манит к себе, а тем, кто приходит к ней, навязывает, диктует свои нормы поведения.

Почти каждое утро, сразу после поверки, на чахлую сиротскую клумбу, что разбита рядом с нашей локалкой, приходит старик из 11-го барака (из того барака, где содержатся зеки старше шестидесяти и инвалиды). Очки, где дужками служат грязноватые веревочки. Шаркающая походка. Лысина в венчике седого пуха. Не очень опрятная роба. Что-то среднее между «депутатом Балтики» (в советские времена был такой фильм, где главный герой — профессор-гуманитарий из «бывших», что откликнулся на призыв большевиков послужить новой власти) и гулаговским доходягой. Он наводит порядок на клумбе, ухаживает за цветами. А еще этот человек угловатыми стариковскими движениями ловит пчел, собирающих последний в этом году мед, сажает их себе на шею, грудь, поясницу, лечится пчелиными укусами от своих хворей, при этом он разговаривает с пчелами, извиняется за причиненные неудобства, что-то рассказывает о своем нынешнем житье-бытье, делится планами на неблизкое свое вольное будущее. Бесплезно прислушиваться, чтобы уловить детали, ибо говорит старик на чудовищной смеси украинских и рус-

ских, сильно испорченных неправильными ударениями и окончаниями, слов. Впрочем, это неважно, как неважно вникать в подробности «делюги», по которой он оказался здесь. Главное, этот старик демонстрирует еще один очень индивидуальный, со стороны, возможно, отдающий тихим сумасшествием, способ выживания в этих условиях. Удачи тебе, старик! Дай Бог дожить до освобождения и увидеть тех, кто ждал тебя все это время!

Перечитал мемуары Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» (знаменитая хроника времен культа личности). Перечитывал, разумеется, уже с учетом собственного арестантского опыта, что-то заставляло недоверчиво хмыкать, что-то откровенно раздражало, что-то вызывало искреннее уважение. Обратил внимание на фразу про «зоологическую ненависть» начальства (речь идет, разумеется, о гулаговском начальстве 30—40-х годов) к интеллигенции. Сразу вспомнил, как реагируют иные контролеры, досматривающие нас на входе в промку, видя в моем прозрачном пакете газеты или книгу. «Опять макулатуру с собой тянешь?..», «Ты что, в библиотеку собрался?..», «Грамотный, что ли?..» — пожалуй, это самые вежливые реплики по этому поводу. Помню глаза отрядников*, и прежних и нынешних, что заполняли какие-то анкеты, и на вопрос об образовании слышали от меня: «Высшее, два высших». Помню и поведение контролера, что при последнем шмоне хозяйничал в нашем проходнике. Открыв мою тумбочку, он обнаружил в ней прежде всего книги. Много книг. Что-то было взято в местной библиотеке, что-то дали почитать соседи, что-то пришло в посылке от жены и детей, что-то присылали сестра, племянник, друзья. З. Фрейд, Ч. Ломброзо, томик серии «ЖЗЛ» о бароне Врангеле, моно-

* Отрядник – начальник отряда.

графия об И. Ильине, мемуары гэкачеписта В. Крючкова, сборник повестей Ю. Трифонова, стихи Н. Рубцова, книги по истории, философии, этнографии, религиоведению. Контролер, сержант-сверхсрочник, известный всей зоне по кличке Володя Кретин, брал по очереди каждую книгу, тренированным движением прощупывал переплет (нет ли чего запретного), пролистывал каждую страницу (а вдруг там запрятаны денежная купюра, сим-карта или что-то еще «неположенное»), беззвучно шевелил губами, читая названия. Он молчал, но лицо его в этот момент говорило о многом. Была б его воля, с превеликим удовольствием выгреб бы он всю эту литературу из тумбочки, вытащил в локалку, и... запылала бы ясным пламенем вся эта мудрость. «Грамотный зек — опасный зек». «Читающий зек — подозрительный зек». Вечные истины для системы, в недрах которой я ныне нахожусь. Соответственно, в этом пунктике (имеется в виду образованность, интеллигентность и элементарная грамотность) нынешние мои «охранители» и «воспитатели» ничем не отличаются от своих гулаговских коллег, чьи нравы увековечены в мемуарах Евгении Гинзбург. Ну да Бог им судья...

В зоне почти не поют песен. Во всей колонии ни в одном отряденет, кажется, ни одной гитары. На инвалидном стариковском бараке есть гармонь, потрепанная, хрипящая, дышащая на ладан, как и ее хромой, вечно небритый, надрывно кашляющий хозяин. Иногда он выходит с ней в локалку. Рвет меха. Поет, отчаянно перевирая слова и мелодии, песни из репертуара звезд советской эстрады 70-х годов прошлого века. Ясно, что уйдет этот человек (освободится или умрет), и с музыкой в зоне будет покончено окончательно. Куда же делся легендарный «блатняк»: душещипательные баллады о благородных бандитах, ворах-филантропах и жестоких прокурорах, коверкающих их судьбы, коварных «мусорах»,

горячей «жиганской» любви? Увы, все это теперь только на кассетах, DVD, в записях на мобильных телефонах. Выходит, прогресс убил живую арестантскую песню и, похоже, этому уникальному жанру народного фольклора уже никогда не возродиться? Жаль...

И почему тогда этот жанр так популярен в иных, «благополучных» слоях общества? Почему и благородные владельцы элитарных охотничьих ружей, и хозяева уникальных автомобилей ручной сборки, и почтенные заслуженные вояки в отставке, и эстрадные кумиры, и отважные дальнобойщики, и отвязные автолайнщики — потребители и распространители этого пласта массовой культуры?

Был бы я большим начальником в российском тюремном ведомстве, обязательно издал бы специальный приказ, строго запрещающий сотрудникам администрации колоний... грызть семечки. По крайней мере в рабочее время. Ничто так не разрушает авторитет ведомства, ничто так не мешает зекам уважать (да что там уважать, просто признавать в них людей!) его сотрудников, как вид этих самых сотрудников, усыпанных шелухой, лузгающих, сплевывающих, жующих, брызгая слюной. Возможно, в других зонах все по-другому, но в этой колонии именно так: сотрудник администрации, прежде всего прапорщик, не говоря уже о сержантах-сверхсрочниках, — это прежде всего существо лузгающее и сплевывающее. Портативные, вполне современные рации в их руках на подобном фоне смотрятся как некое недоразумение.

Днем, вечером, на работе, на спортгородке, порою даже среди ночи, почти во сне в мозгу рождается много любопытных, кажется оригинальных, мыслей, выводов, замечаний, так и просящихся на бумагу в сокровенную тетрадь. Одна-

ко выдается момент, уединяешься с этой самой тетрадью, собираешься записать все это и... с ужасом обнаруживаешь, что доверить бумаге практически нечего. Что-то уже кажется пустяком, совершенно не достойным внимания, что-то нескромным, что-то просто банально забываешь. Из этой ситуации есть два выхода. Первый: копировать некоторых «великих», не расставаться с карандашом и бумагой даже по ночам, чуть что, сразу фиксировать свои «перлы» для грядущих книг. Второй: отнестись ко всему этому философски — что успел, вспомнил, записал — хорошо, что забыл — ничего страшного, значит это не так важно. То, что важно, рано или поздно все равно всплывет, напомнит о себе, а пустяков, третьестепенных деталей — не жаль. Мозг, сознание «на автомате» всегда готовы произвести своего рода естественный отбор: зерна — к зернам, плеве-лы — в мусор. Скорее всего, выберу именно этот «второй» путь. Хотя и есть тут что-то очень близкое к самой обыкновенной лени, безволию, неспособности организовать собственный труд. Грустно в этом себе признаваться.

Еще одна новость из разряда «мордобойных», на этот раз пострадавший — Ян Цыган из нашего барака. Сценарий очень похожий на все предыдущие — вызвали Цыгана на вахту, и там дюжие прапорщики несколько минут «помогали» ему искать «пятый угол». Били грамотно, стараясь не попадать в лицо и в голову. Сразу после экзекуции Яна «закрыли» в изолятор, формулировка туманная — «нарушение режима дня». Срок — 15 суток. Кстати, о формулировках, по которым здесь сажают («закрывают») в изолятор. Их совсем немного: «нарушил распорядок дня», «курил в неположенном месте», «покинул самовольно локальный участок» и т.д. Никогда в этих формулировках не упоминается ни «нахождение в нетрезвом состоянии», ни «употребление наркотиков», ни «пользование мобиль-

ным телефоном». Похоже, администрация сознательно тщательно избегает упоминать о подобных нарушениях в своих документах. Чтобы информация не просачивалась «наверх». Чтобы не нарушалась картина общего дисциплинарного благополучия. И здесь «двойная бухгалтерия»! И здесь программа «пыль в глаза»!

Впрочем, стоп! В истории с Цыганом Яном не все так однозначно. Наблюдая его на бараке больше года, вижу, как он ведет себя, слышу, о чем говорит, знаю, как ест, как смеется. Увы, человеческого в нем очень немного, куда больше животного, откровенно животного. И дело даже не в том, что никто никогда не видел в его руках книгу (похоже, он просто неграмотен). Чего стоят обрывки его телефонных разговоров, невольным свидетелем которых я столько раз оказывался. Дорвавшись до «общаковой» (общественной) «трубы» (своим телефоном он пока не обзавелся), Цыган то требует от жены (не просит, а именно требует, с криком, надрывом, матом) очередной посылки, где было бы «побольше колбасы с жиром, шоколадных конфет и сигарет “Ява Золотая”», то настоятельно призывает ее, чтобы после ближайшей «свиданки» (точнее, наверное, во время) она непременно забеременела (а срок у него, между прочим, 12 лет, и отсидел он из него в лучшем случае половину). Но чаще всего он раскаляет эфир барака многоярусными проклятиями и угрозами в адрес той же самой жены за якобы совершенные ею измены; нет резона смаковать подробности интимной жизни моего не близкого соседа, но самое время вспомнить, что угрожать по телефону из зоны считается грубейшим нарушением тюремной этики, и вполне обоснованно! Ведь человеку, кому эти угрозы адресованы, ничего не стоит обратиться в милицию. Даже если там не дадут хода подобному сигналу, не затеют нового уголовного дела (кажется, статья 119 УК РФ «Угроза убийством»), а просто позвонят в администрацию зоны и попросят урезонить раздающего угрозы зека, отрица-

тельные последствия для барака, откуда был произведен звонок, неминуемы. По крайней мере, в виде повального шмона, в ходе которого многие из нас лишатся не только заветных трубок мобильной связи и с великим трудом приготовленной браги, но и остатков вольной теплой одежды, и многих прочих полезных вещей и предметов. В случае с Цыганом Яном все шло именно к этому. В очередной раз, устроив жене телефонную сцену ревности, он пригрозил ей жесточайшей расправой, заодно обещал «отрезать голову» теще, попытавшейся заступиться за дочь. Именно теща поддерживать дискуссию не стала, а напрямик обратилась в милицию, откуда незамедлительно последовал соответствующий сигнал в зону. Оперативной, в принципе вполне предсказуемой, реакцией на это и был вызов Цыгана на вахту с последующей экзекуцией. Хорошо, что на этот раз не последовало повального шмона. Лично я считаю тумачи, полученные Яном, вполне заслуженными, однако признавать мордобой законным средством в арсенале администрации — это уж слишком! Нет, нет, мусорской мордобой в зоне — величайшая дикость, грубейшее попрание закона, откровенный беспредел!

По лагерному радиовещанию, по утрам, сразу после гимна РФ, начали транслировать запись утренней гимнастики. Запись, как и фонограмма гимна, полна хрипов, шорохов и прочих дефектов. Арестанты нововведение оценили как дурной знак: «Вот зарядку передавать начали, значит, скоро всех после подъема в локалку выгонять будут, по принудилровке руками, ногами махать заставят. Потом что-нибудь еще придумают. Опять мусора режим наворачивают». Насколько верны эти прогнозы, покажет время. Лично мне от этого нововведения ни жарко ни холодно, но новая фонограмма с неестественно бодреньким голосом диктора-массовика звучит нелепо на фоне унылого пейзажа зоны, да

и представить себе перед каждым баракком разновозрастную и разношерстную толпу зеков, делающих зарядку, как-то не получается. Не хватает фантазии...

Моя зарплата за последний месяц составила 120 рублей. «Бешеные деньги»! Конечно, аукнулись вычеты за питание, за «бич-пакет» (так в зоне называют ежемесячно раздаваемые санитарные пакеты, в состав которых входит набор разовых бритвенных станков, крохотный тюбик зубной пасты, микроскопический кусочек мыла, тощий рулончик туалетной бумаги), возможно, даже за арестантскую робу, телогрейку и прочую «экипировку», но все-таки... 120 рублей за месяц? При работе в три смены, включая ночные? При работе с полипропиленовой пленкой, общение с которой человеку здоровья вряд ли прибавляет? В Москве на эти деньги можно четыре раза проехать в метро и выпить чашку кофе (без булочки) или купить несколько газет. Совершенно ясно, что начисленные подобным образом деньги не имеют ничего общего ни с реальным объемом выполненных мною работ, ни с элементарным здравым смыслом. Попытался что-то выяснить по этому поводу у своего сменного мастера, майора Н. (у него звучная кличка Наркоман, напоминающая о его прошлой работе в местной службе наркоконтроля, откуда он пришел в систему УФСИН, чтобы то ли пересидеть, то ли спрятаться, ибо известно, что из той системы просто так не уходят). Но он то отводил глаза, то бормотал что-то совершенно невразумительное об ошибках бухгалтерии, перепутанных данных, неправильных нарядах. С теми же вопросами я обратился к старшему мастеру лейтенанту М. (вся колония знает его под кличкой Малец, в более узком кругу с учетом всех моральных качеств его куда более тихо называют Подлец). Не прекращая лузгать семечки (характерная привычка доброй половины состава администрации зоны, о которой я уже говорил), он понес какую-то несура-

зицу, в которой существительные употреблялись без падежей, в глаголах путались окончания, предлоги заменялись матом, лишь в конце своей полубредовой тирады он сформулировал вполне четкий встречный вопрос: «А ты че, сюда зарабатывать приехал?»

Совершенно ясно, что деньги наши откровенным и самым бесстыдным образом разворовываются. И терпеть это недопустимо, и перспективы «качать» права здесь весьма зыбкие. Тем не менее оставлять все это без внимания, прощать, «проглатывать» — нельзя, иначе я просто перестану себя уважать.

Али Борз, чеченец, бывший «смотрун» нашего отряда, переведен в 11-й отряд. Тот самый, где сидят-содержатся в основном старики и инвалиды. Вчера мы пересеклись с ним накоротке, как всегда, перебросились фразами-приветствиями, фразами-новостями. То, что я услышал, на этот раз поразило и удивило. На мой почти дежурный вопрос «Ну как там, на новом месте?» прозвучало леденящее откровение: «Я теперь нахожусь среди людей, многие из которых четко сознают, что шанс выйти живыми у них, с учетом возраста, большого срока и собственных болезней, ничтожен. Умирать им придется, скорее всего, здесь, более того, у многих из них на воле нет никого, кто мог бы забрать отсюда его тело и похоронить достойным образом. Жуткое ощущение». Похоже, я многое не углядел, недооценил в человеке, который неформальным образом «рулил» баракон, в котором я провел уже полгода своего лагерного стажа.

В один прекрасный день со всех туалетов на швейном участке промки были сняты с петель и перенесены неизвестно куда все двери. Каждый справляющий нужду теперь оказывается в очень интересном, истинно «прозрач-

ном» положении, подробности которого комментировать смысла нет. Из сбивчивых, откровенно бестолковых объяснений мастеров выяснилось, что подобное нововведение осуществлено по распоряжению администрации. Якобы начальство недоволено, что «спецконтингент» (то есть мы, арестанты) слишком часто и слишком подолгу уединяется в этих местах и тем самым отлынивает от работы. Удивительно, что подобное происходит в регионе, считающемся вполне цивилизованным, «продвинутым», откуда до столицы поездом добираться всего одну ночь. Заповедник невежества! Инкубатор дикости и кретинизма! А кто-то говорил мне, что эта зона — чуть ли не образцовая то ли в регионе, то ли во всем ведомстве...

Среди арестантов есть не столь многочисленная, но весьма заметная категория старичков-убийц. Бодрые, ясноглазые, румяные, улыбчивые, часто очень расположенные к состраданию и поучениям. Ни дать ни взять — общественники из ветеранской организации по месту жительства, всегда готовые прийти на встречу к школьникам начальных классов учить-наставлять, как жить правильно, иллюстрируя рассказ примерами из собственной биографии. Эдакие комочки жизнелюбия, добра, положительной энергии. Кто-то отправил на тот свет после пустячной ссоры супругу-старушку, кто-то лишил жизни ровесника-собутыльника за недоброе слово, кто-то расправился с соседом, чьи гуси зашли на его огород. Удивительное несоответствие между внешним благообразием и грехом немалой тяжести, что взвалили они на свою совесть на закате жизни.

Оказывается, в зоне существует и, по всей вероятности, процветает черный рынок продовольствия. Его ассортимент составляют продукты, украденные из столовой.

Наши продукты. Из нашей столовой. Цены гибкие, в зависимости от числа и степени влиятельности посредников. Мясо вареное, то самое, что исключительно редко появляется в наших мисках, — от 60 до 100 рублей за килограмм. Масло сливочное (в обычном арестантском рационе его нет, оно положено только тем, кому санчастью прописана диета) — 80 рублей за килограмм. Яйца (получаем исправно по субботам в ужин по одной штуке) — 60 рублей за десяток. Эквивалент наличных денег — сигареты с фильтром, самые ходовые — «Ява Золотая». Оценивать это явление с общечеловеческой точки зрения — мерзость! Вспомнить «постулаты» тюремного кодекса — мерзость вдвойне, тяжкий грех, гадкий коктейль из «крысятничества» (воровства у своих, таких же, как ты, арестантов) и «барыжничества» (наживе на нуждах ближних, опять же, таких же, как ты, арестантов). Подобное неминуемо жестоко должно караться, но... Если черный рынок харчей в нашей зоне существует давно и в виде отлаженного механизма, значит, это всех устраивает, значит, кто-то «крышует», разрешает, покровительствует. Выходит, и доходы с продажи украденных у нас продуктов делятся в нужной пропорции между нужными людьми. Значит, рыночные отношения в самом уродливом виде пронизали жизнь этой зоны. Повторяю, это не частные, редкие случаи, это система, отлаженная, законспирированная, масштабная. Кстати, право на диетическое питание (питание, прописываемое санчастью, особо нуждающимся, тяжелобольным) в зоне также продается и покупается. Если этот вопрос «решать» через санчасть (понятно, в конспиративном порядке, при чьем-то поручительстве и чьих-то рекомендациях), подобное благо будет обходиться в 1200—1500 рублей ежемесячно. Если напрямую, с кем-то из тех арестантов, что подвизались на кухне и чьи лоснящиеся хари мы регулярно видим в окошке с табличкой «выдача пищи», такса почти вдвое меньше. С учетом меньших гарантий и большего риска, понятно.

Конечно, старые зеки-романтики, воспитанные на «правильных» традициях, узнав подобное, задохнутся в праведном гневе. Молодым же остается, похоже, только развести руками и произнести сакраментальное: «Не мы такие — время такое!» Тем не менее традиционное разглагольствование об арестантской порядочности, братстве и справедливости на подобном фоне выглядит более чем несуразно.

Один раз в месяц каждый арестант реализует свое право на посещение лагерного магазина, более точно именуемого ларьком, чтобы отовариться там в соответствии с суммой, что находится у него на счету. Сумма на личном счету формируется двумя способами. Прежде всего, туда переводятся деньги (очень громко сказано!), что арестант зарабатывает на промке после вычетов за питание, одежду и прочие услуги, которые якобы предоставляет администрация. На тот же счет приходят и переводы, которые арестанту могут прислать родные и близкие с воли. Разумеется, отоваривание производится по безналичному расчету. Наличные деньги в зоне запрещены.

Ассортимент ларька в этом лагере фантастически убог: несколько сортов сигарет, чай, консервы, что-то из средств личной гигиены, еще какие-то продукты сомнительного происхождения и подозрительного качества. В той же Березовке всякий арестант имел возможность приобретать в аналогичном лагерном магазине лук, чеснок, апельсины, лимоны, яблоки (очень неказистые, мелкие, но все-таки свежие, соответственно содержащие витамины). Почему ассортимент местного ларька так скуден, я не знаю...

Слышал, что арестанты не раз жаловались по этому поводу «хозяину», даже писали куда-то наверх в гулаго-уфсиновские инстанции, но на работе нашего ларька эти действия никак не отразились. Очень может быть, что виной всему две дамочки, что хозяйничают в лагерном мага-

зине. Молодые, но уже необратимо неухоженные, вечно то ли сонные, то ли похмельные, похоже, всегда ненавидящие нас, арестантов, — своих клиентов.

Кажется, работа в ларьке не устраивает даже лагерную администрацию. Был случай, когда один из заместителей «хозяина», не стесняясь арестантов, почему зря орал на ларечниц, называл их... проститутками. Впрочем, последняя характеристика с ассортиментом магазина была никак не связана, а имела совсем другие основания. Тем более что и после подобной публичной выволочки перемен к лучшему в организации лагерной торговли не обнаружилось, витаминов в ассортименте ларька не появилось. Последнее более чем странно. Ведь регион, в котором расположена наша зона, — аграрный. Сельхозпродукции, что является главным носителем этих самых витаминов (капуста, лук, чеснок, зелень и т.д.), здесь более чем достаточно. Неужели нельзя организовать продажу овощей и фруктов в нашем многострадальном ларьке? Пусть с наценкой, с «наваром» для всех, участвующих в этом процессе. Кстати, здесь могли бы поучаствовать-заработать и сами представители администрации зоны — ведь все они местные, у всех дачи-огороды, и наверняка что-то из ежегодно выращиваемого урожая так и остается непереработанным, нереализованным. Почему такая возможность прибавить что-то к собственному жалованью остается нереализованной? Или существует какая-то секретная директива о том, что свежую зелень, лук, чеснок нашему брату-арестанту продавать запрещено, дабы не допустить укрепления нашего здоровья? Тогда это совсем другой сюжет...

А может быть, все куда проще. Стоит ли возиться с организацией поставки в зону фруктов-овощей и зарабатывать с этого весьма скромные дивиденды? Куда выгоднее «занести» пару телефонов в течение месяца и получать за это куда более ощутимый навар?

Эпизод, универсально иллюстрирующий сразу две темы. Первая, накануне обозначенная тема, — ассортимент лагерного ларька. Вторая, еще более грустная, — общий уровень культуры людей, среди которых я ныне нахожусь.

Обратил внимание, что для арестантов следующим по спросу видом продукции ларька после чая и сигарет является... расфасованный по консервным банкам так называемый мясной паштет. Оговорка «так называемый» здесь просто необходима, ибо мяса как такового в этом изделии, похоже, нет вовсе. На этикетке честно, но микроскопическими буквами, в самом неудобном месте упомянуто про крахмал, соль, перец, сою, вкусовые и ароматические добавки, про что-то еще, но ничего общего с мясом не имеющее.

Изделие обладает коварной мимикрией: паштет из свежееоткрытой банки имеет очень аппетитный розовый цвет и благоухает ароматом, от которого рот неудержимо начинает наполняться слюной. Однако уже через час аромат бесследно улетучивается, розовый цвет сменяется неприлично коричневым, еще через час коричневый переходит в траурно-черный.

Цена этого «продукта» (без кавычек здесь просто не обойтись) при всех накрутках и надбавках ничтожно мала. Увы, это никому не кажется подозрительным. Паштет набирают упаковками, едят с невероятным аппетитом, порою пропуская ради бутерброда с ним казенные обеды и ужины.

Другая примета недавнего посещения ларька в арестантском рационе — «термоядерный» бутерброд. Он представляет собой хлебную пайку (одна пятая часть черной буханки), на которую выдавлено несколько загогулин майонеза (в ларьке майонез самых дешевых сортов, соответственно имеет ядовито-карбидный привкус) и пара вензелей кетчупа (это что-то едкое, красное, но ничего общего

ни с помидорами, ни с прочими натуральными продуктами не имеющее).

Не надо быть специалистом-диетологом, чтобы понимать, какие последствия для здоровья несут подобные «лакомства», что та же лагерная баланда при всем своем «промокашечном» вкусе и прочих минусах все-таки полезней. Тем не менее и подозрительный так называемый мясной паштет, и «термоядерные» кетчупо-майонезные бутерброды очень популярны в арестантской среде, считаются свидетельством определенного достатка, даже некоторого шика. Пытаться на фоне устоявшихся традиций и стереотипов читать «мудренку» о вкусной и здоровой пище — дело неблагодарное и бессмысленное. В лучшем случае собеседник отмахнется с абстрактно-универсальным «да ла-а-дно...». Куда вероятней, что он недоверчиво выдаст не менее универсальное «го-о-нишь!». Видимо, лагерь строгого режима — не место для лекций о вкусной и здоровой пище.

Вчера, выйдя из барака в локалку на утреннюю проверку, огляделся и сделал своего рода открытие: все или почти все, что меня ныне окружает, окрашено в черный цвет.

Диктатура черного цвета! Его величество черный цвет! Или классический черный, беспросветный, безнадежный, бездонный в своей беспросветности и в своей безнадежности. Или вариации — импровизации на тему того же черного. Оттенки того же черного. Комбинированные цвета, в основе каждого из которых преобладающий, доминирующий, подавляющий все прочие составляющие спектра, — опять же черный.

Почти сразу же одернул себя — слишком мрачный вывод, не надо спешить с таким выводом, такие мысли, скорее всего, связаны с колебаниями настроения, временным

нездоровьем, сочетанием каких-либо пустячных случайностей или случайных пустяков.

Почти на сутки забыл об открытии, а сегодня, во время построения на обед, снова огляделся и снова поймал себя на той же самой мысли. Черного цвета кругом столько, что все прочие цвета если и существуют вообще, то настолько забиты, подавлены, просто разбавлены этим самым черным, что ничего от своего первоначального яркого и громкого звучания не сохранили и являются бесконечными перепевами этого самого черного.

Черные наши роботы, черные наши ботинки, черные наши шапки. Черные круги под глазами, черная щетина на щеках, черные корешки полусгнивших зубов, что открываются у многих при разговоре. Черные стены бараков, черные решетки локалок, черный плац, черный, доживающий свои последние дни, снег по его краям. Черная собака, с которой обходит в эти минуты «мусорской» наряд периметр лагеря. Удивительно, на небольшом расстоянии эти мусора в своей форменной, призванной быть серо-синей или сине-серой одежде, также представляются абсолютно черными фигурами. Диктатура черного цвета, его величество черный цвет!

Еще раз вспомнил об этом во время обеда. Хлеб — черный! Макароны — черные! Щи — что-то очень близкое к тому же черному!

Пытаюсь смягчить и оправдать вынесенный арестантскому меню «цветовой» приговор. Разве может быть хлеб другого цвета в зоне? Никак не могут быть белыми макароны, если изготовлены они из муки низшего сорта, возможно, даже просроченной, и попали на арестантский стол после бесконечных «бартеров», списаний и прочих манипуляций. И у мрачного колера щей свои причины: капуста к весне имеет естественное свойство портиться, что-то похожее происходит с сухой картошкой (главное составляющее нашего меню в это время года), которой в тех же щах

едва ли не больше, чем той же капусты. Какие-то бледные и неубедительные аргументы для оправдания. Плохой из меня «цветовой адвокат»!

Специалисты утверждают, что черный цвет — холодный цвет. Сюда бы этих специалистов. Каждого на срок хотя бы от трех до пяти. Пусть изучают особенности звучания цвета в специфической обстановке, в обстановке российской зоны строгого режима начала XXI века.

Похоже, в условиях изолированности, замкнутости, концентрированной несвободы и т.д. черный холодный цвет начинает жечь и прожигать. Возможно, и не успели бы эти специалисты прийти к подобным выводам — получили бы здесь глазную неизлечимую хворь, вовсе лишились бы возможности различать цвета, попросту ослепли бы благодаря избытку этого самого черного, агрессивного, жгущего и прожигающего цвета.

Все-таки я погорячился, вынося столь жестокий приговор окружающей меня цветовой палитре, лагерному цветовому спектру. Здесь нельзя, грешно допускать, чтобы подобное, проникнутое мраком и жутью, настроение овладевало сознанием, влияло на мысли и поступки. Это слабость, непростительная, чреватая более серьезными последствиями, слабость! Да и не совсем объективна подобная оценка. Ведь небо (пусть чаще всего серое, а значит, разбавленное этим самым черным) и солнце (также вечно подернутое темной, считай, черной, хмарью, как будто заслоненное копченым стеклышком) здесь присутствуют. И это хорошо! Это надо ценить! В Бутырках, чтобы увидеть то же небо (солнца там, по крайней мере, из той камеры, где я находился полгода, не было видно вообще), надо было вплотную подойти к окну, встать на край шконки (тюремной кровати), еще лучше — вскарабкаться «на пальму» (второй ярус этой самой шконки) и особым образом изогнуть шею, развернуть голову. Не-

просто, но все-таки достижимо. До Бутырок был столичный изолятор № 5, знаменитый пятый централ, камера на первом этаже, там окон не было вообще. Единственное, смахивающее на амбразуру, отверстие в стене выходило в стену почти вплотную стоящего сарая. Никакого неба, не говоря уже о солнце, из этой амбразуры видно не было. Потому и все цвета в той камере были разбавлены или подавлены откровенно едким электрическим светом, что горел там круглые сутки. И едкость эта была умножена так же круглые сутки включенным, излучающим мерзость, телевизором. Здешний черный, пусть даже обжигающий и прожигающий, цвет все-таки естественный, а потому он чуть добрее и человечнее.

Кстати, на воле этот самый черный цвет я любил. Часто отдавал ему предпочтение на элементарном бытовом уровне. Черные ботинки, черное пальто, черный свитер. А еще черный цвет фигурок каслинского чугунного литья, которые незадолго до ареста начал коллекционировать. Черные, чуть тронутые золотым тиснением, переплеты многих любимых книг: Достоевский, Кафка, Пильняк, Ильин, Набоков. Кто бы знал, что грядут в жизни обстоятельства, способные повлиять на отношение к цвету, на устоявшиеся вкусы и привычки.

На трехдневное свидание приезжал сын. Окрепший, повзрослевший. Последний раз мы виделись почти два года назад в Бутырской тюрьме. Общались через коридор, по телефону, разделенные двойным стеклом и двойными решетками. Теперь мы смогли обняться, поговорить вживую. За это время он отбыл срочную. Служил в ВДВ, в армию ушел по собственному желанию, хотя мог получить честную отсрочку, необходимую для завершения учебы в колледже. Самоутверждался! Проверял себя! С этим у него, кажется, все получилось. Первый вопрос, который он

задал, был: «Как ты здесь?» Что я мог ответить ему? Конечно — «Нормально».

И действительно, за все это время меня никто ни разу не ударил, даже голоса на меня никто ни разу не повысил. Не было случая, чтобы я расставался здесь с вещами и продуктами вопреки собственному желанию. Конечно, случались ситуации, близкие к конфликтным, но все завершалось без унижений и потерь. Другое дело, можно ли вообще считать ситуацию, когда человек находится в тюрьме, нормальной?

Многие из моих нынешних соседей говорят с пафосной гордостью: «Я здесь дома, и мне здесь хорошо!» Похоже, врут. Неволя для нормального человека совершенно противостоит естественна. Воздуха и неба у него должно быть сколько угодно, и двигаться он должен по собственному выбору в любом направлении, в любое удобное для него время, и распорядок дня ему не должен навязывать полуграмотный, вечно лузгающий семечки прапорщик. Впрочем, стоп! Довольно философии! Зона — это наказание, для кого-то заслуженное, для кого-то не очень, кто-то попал сюда по недоразумению, кто-то в итоге тщательно спланированной провокации. И в любом случае это наказание — испытание, которое надо вынести достойно. Пытался что-то объяснить сыну по этому поводу. Очень хочу надеяться, что был понят.

Удивительно, но зона не получает ни одной газеты. Обо всем, что происходит в стране и за рубежом, зеки, или, как требуют здесь говорить представители администрации, «осужденные», узнают исключительно из телевизора. А вот здесь не все так просто — телевизор один на весь отряд, в котором почти двести человек. Среди тех, кто собирается у экрана, как правило, любители сериалов, футболов и клипов с полуголыми девицами. На этом фоне зек,

интересующийся новостями и политикой, мягко сказать, белая ворона.

В итоге население зоны фактически пребывает в информационном вакууме. Похоже, и наших начальников, и тех, кто в свою очередь ими руководит, все это более чем устраивает. Кому нужен читающий, развивающийся и мыслящий зек? До чего он может додуматься? Какие мысли могут осенить его сознание? Вдруг начнет анализировать обстановку, сравнивать условия нынешней своей жизни с действующими законами, кодексами, инструкциями? Уж лучше пусть припадает любую свободную минуту к брызжущему глупостью, насилием, а то и откровенной порнухой, экрану. Глупый зек — лучший зек, удобный, предсказуемый, управляемый. Наверное, по той же причине в зоне напрочь отсутствуют условия для того, чтобы писать и читать. Даже лежа на шконке, из-за паскудного подвально-сортирного освещения этим заниматься невозможно. Словом, делается все, чтобы жизнь наша жестко втрамбовывалась в куцую формулу: «Спать-работать, работать-спать».

Проснулся среди ночи от ощущения, будто кто-то трогает мое лицо. Машинально провел рукой по лбу и щекам — нащупал твердое похрустывающее семечко. Таракан! Нисколько не удивился. Этих насекомых здесь великое множество, они обитают в тумбочках, в щелях деревянных столов, под обшивкой стен в коридоре. Еду, посуду, умывальные принадлежности приходится упаковывать в целлофановые пакеты. О том, что эти наглые существа могут залезть в уши и ноздри, стараемся не думать. Мы почти привыкли к ним. Они — наши соседи, из категории «которых не выбирают». Мы делим с ними кров, еду, пространство. Надо благодарить судьбу, что из насекомых здесь только тараканы. Вши и клопы доставляли бы нам

куда больше хлопот и неудобств. Да и что ждать от зоны, отделенной от столицы почти тысячью километрами. Могу лично свидетельствовать, что в двух столичных СИЗО, где начинал коротать свой срок, проблем с этими нежелательными соседями было куда больше.

Мало того, что все мы здесь находимся на территории несвободы (о чем напоминают заборы, колючка, вышки с часовыми и т.д.), так и на этой, очень ограниченной площади мы вовсе не имеем возможности перемещаться по собственному желанию в избранном направлении. Такова специфика зоны строгого режима: каждый барак (барак в данном случае — корпус общежития одного отряда) обнесён решеткой. Решеткой на замке. Открывается она, когда отряд идет в столовую или в баню, когда очередная смена выходит на работу. Территория (наглухо забетонированный пятачок) между бараком и решеткой называется локальным участком, попросту локалкой. Здесь мы выстраиваемся дважды в день на проверку. Сюда нас выводят во время шмонов. Здесь мы занимается спортом, в углу турник и брусья. Здесь мы гуляем. Места в локалке ровно столько, чтобы мог разместиться стоя весь вышедший из барака отряд. Конечно, каждый из нас периодически испытывает необходимость покинуть локалку и всеми правдами и неправдами побывать у земляков в другом отряде. Подчеркиваю — всеми правдами и неправдами. Ведь для этого надо отпрашиваться у дежурного по зоне (девять десятых подобных просьб разбивается о чугунное «не положено!») или давать пачку сигарет «локальщику» (арестант из «козлов», т.е. тех, кто стал добровольным помощником администрации, — их все презирают, но мало кто в открытую конфликтует с ними, предпочитают поддерживать какие-то отношения с целью извлечения последующей выгоды). Теоретически возможно покинуть локалку, чтобы попасть

в парикмахерскую (у каждого отряда свой день, свое время), в библиотеку (по аналогичной схеме), в санчасть (надо заранее записываться в специальном журнале в отряде). Все! По большому счету, мы, арестанты, имеем всего два маршрута движения по лагерю: на работу (организованно, колонной по пять человек в ряд) и в столовую (также строим, также по пять человек в колонне). Не густо! Вот оно, реальное ежедневное воплощение понятия «несвобода».

Мне вовсе несимпатична противоречивая, местами просто лживая система тюремных ценностей. У меня нет никаких оснований осуждать тех, кто, попав в зону, стал на путь добровольного сотрудничества с администрацией, «одел рога», стал «козлом», как здесь говорят. Это их личный выбор. Но я не могу не замечать, какие у большинства представителей «актива» мерзкие лица, подлые глаза, отвратительные манеры. Типичный пример — Рома Сухой, помощник дневального в нашем отряде, невежественный, наглый, подлый. Не более приятен и его коллега — Леша Рыжий, хитроглазый, с хищным клювовидным носом, угодливый в отношениях с любым прапорщиком и надменный по отношению к любому из нас. Уникальный пример представителей «козлиной» категории — отрядный завхоз Юра, здорово смахивающий на Вия из той первой советской замечательной экранизации бессмертной гоголевской повести. В неполные сорок лет он имеет почти двухсоткилограммовое студенистое рыхлое тело. Куда отвратительнее его мстительность и жадность до жратвы и прочих подношений, непомерная завистливость. Похоже, администрация, решая главную свою проблему — содержать зону в повиновении, делает ставку именно на подлецов. Значит, что-то — изначально неправильно, нечестно, порочно в системе, призванной контролировать, воспитывать и перевоспитывать попадающих в зону людей. Конечно, принцип

ставки на «сволочей» — не новый, но почему-то именно здесь он доведен до совершенства. Может быть, наша колония — исключение из общего правила?

Хорошо, очень хорошо, что в этой зоне с самого начала, с самого первого дня нахождения я выхожу на работу. В зоне прежнего моего пребывания самой возможности трудоустройства я дожидался, точнее, добивался более трех месяцев. А здесь с первого дня — на работу! Замечательно! За эту работу можно получить какие-то деньги, очень смешные, что-то около ста рублей в месяц; они перечисляются на счет, и деньги можно потратить в местном ларьке. На эти деньги можно что-то купить (чай, какие-то продукты, туалетную бумагу, зубную пасту, прочие, столь необходимые в арестантском быту мелочи). Покупки эти также осуществляются безналичным образом — наличные деньги иметь нам строжайше запрещено. Впрочем, все это не важно, важно быть занятым, ощущать себя востребованным, просто знать, что сегодня ты идешь на работу, и чувствовать усталость по возвращении с этой работы. Для работающих здесь время идет быстрее, и настроение, мысли, ощущения складываются совсем другим, более правильным образом. И все это при том, что работа здесь несерьезная, если не сказать откровенно, идиотская. По сути, почти бесплатная, связанная со множеством нарушений и нелепостей. На зоне два основных производства. Первое — меловое. Занятые на нем дробят и фасуют мел, который экскаватор, бульдозер и прочие механизмы выгрызают из склона холма, что также является территорией зоны. Второе производство — швейное. Здесь изготавливают мешки для упаковки минеральных удобрений, того же самого мела, прочей сыпучей продукции. Мешки шьют из какой-то едко пахнущей, похожей на рогожку ткани явно химического происхождения. Для некоторой продук-

ции изготавливаются двойные мешки. Один мешок — из полиэтилена, другой — из упомянутой вонючей рогожки. Операция во вдевании одного мешка в другой называется формовкой. Именно на ней я и задействован, востребован, занят. В моем распоряжении что-то вроде станка — рамка из круглой арматуры, на которую я должен натянуть сначала полиэтиленовый мешок, а потом и мешок, сшитый из химической рогожки. Норма выработки — более четырех тысяч мешков за смену. Выполнить эту норму практически невозможно, не потому что объем этой работы велик, а потому что организовано производство из рук вон плохо. То не хватает одного вида мешков, то закончились другие, то цех оказывается переполненным готовой, но не отгруженной продукцией (подводит заказчик, не высылает в срок транспорт), то что-то ломается, отключается, выходит из строя. Хорошо бы приучить себя не обращать на эти мелочи внимания. Главное — я трудоустроен, востребован, я — просто занят!

Разговорился с библиотекарем колонии. Это старик, давно переваливший за семьдесят, но он бодр и энергичен, выглядит лет на пятнадцать моложе. Глаза ясные, живые, умные. Инженер-конструктор, электронщик, признанный международный авторитет в области перехвата, локации и прочих чисто оборонных заумных электронных «штучек». Его имя и перечень его открытий, разработок, изобретений включены в военные энциклопедии и оружейные справочники. Сюда попал за контрабанду военной техники, свое обвинение отрицает, считает свое дело «заказным», уверен, что его «засадили» конкуренты, которым он мешал своей деятельностью зарабатывать на российском рынке вооружения. Прав ли он, судить не берусь, но сам факт «посадки» государственного по сути человека, а главное — лишение его возможности заниматься своими делами, по-

ражает. И дело даже не в его более чем почтенном возрасте, не в заслугах перед государством (а их перечень более чем внушительный). Даже если он виновен, неужели было нельзя ограничиться условным наказанием? На худой конец, в заключении создать ему условия для продолжения работы, имеющей, без преувеличения, стратегическое государственное значение? Как тут не вспомнить сталинско-бериевские шарашки, в которых некогда и формировалась инженерная мысль Королева, Яковлева и многих прочих светил советской науки. Да, их сажали чаще всего по нелепым, надуманным, а то и откровенно сфабрикованным обвинениям, но там, по ту сторону «колючки», им создавались все необходимые условия. Им давали усиленный паек, для них выписывали порой даже из-за рубежа соответствующую литературу, им предоставляли штат помощников, целые лаборатории — словом, делалось все, чтобы их потенциал не «ржавел», не простаивал, а работал на Державу. Выходит, сталинским ГУЛАГом руководили истинные государственники, люди умные и дальновидные, в отличие от ГУЛАГа нынешнего, демократического. Вот и сидит ясноголовый Игорь Владимирович Н., лауреат различных премий, кавалер многих наград в лагерной библиотеке (хорошо, не угодил еще на промку* ворочать мешки и дышать полипропиленовой вонью). Вот и думай! Вот и сравнивай!

Пасха. Удивительно, но первый, кто поздравил меня с этим столь важным для каждого православного праздником, был мой сосед по бараку чеченец Муса М. Двойственное чувство, с одной стороны — приятно (чуткость, искреннее внимание и т.д.), с другой стороны — досадно. Первым с Пасхой меня поздравляет мусульманин, а единоверцы, крещенные в младенчестве, носители крестов всех кали-

* Промка — производственный сектор территории колонии.

бров, редкие, но все-таки посетители местного храма, в это время, уныло матерясь, тянулись к умывальнику, заваривали чифир, а то и просто дрыхли. Что-то похожее я уже испытывал примерно год назад, когда в отряд из лагерного «блаткомитета» передали солидный пакет с конфетами и прочими сладостями. Инициатор акции адыгеец Джоник скупно пояснил: «У нас, мусульман, сегодня праздник, пост закончился. Это вам, братья, от души!» Увы, мои единоверцы в проявлении подобных инициатив замечены не были. Как бы хотелось верить, что это — недоразумение, частное совпадение случайных моментов.

Каждый день в зоне начинается с государственного гимна. Каждый день ровно в шесть (в воскресенье и праздники на час позднее) эта мелодия, усиленная выдавшим виды динамиком, врывается в наше сознание, высверливает мозг, поднимает с коек. Качество музыки гадкое, запись полна треска, шороха и всякого рода хрипов и всхлипов. Многие признаются, что за несколько лет пребывания здесь успели возненавидеть эту мелодию. Не исключено, что через какое-то время и я последую их примеру. И это в то время, что всю предыдущую жизнь я очень уважал эту торжественную, величественную музыку, считал, что стране с гимном просто повезло! Отношение это не родилось само собой, уж так сложилась жизнь, что гимнов различных государств довелось переслушать немало, и лично могу свидетельствовать: наш гимн — лучший! Скажу больше, неведомая сила распрямляла спину при первых звуках этой музыки, наполняла сознание гордостью, энергией. Не уверен, что после пребывания здесь удастся сохранить это светлое чувство.

Кстати, остается пока сожалеть и удивляться, насколько нерационально используются возможности радиосети зоны. Кроме команды «подъем», сопровождаемой упомянутой выше музыкой, транслируется команда «отбой»

(«в зоне строгого режима отбой, спецконтингенту занять спальные места...»). Еще с помощью радио разыскиваются необходимые сотрудники («прапорщик Иванов, срочно зайдите в дежурную часть») и осужденные («осужденный Петров, третий отряд, срочно прибыть на рабочее место»). Вот, пожалуй, и все. А ведь могла бы администрация колонии создать собственную радиогазету, наладить информационную службу, организовать регулярные выступления сотрудников, руководителей служб, самих осужденных. Эти меры помогли бы наладить контакт между теми, кто в зоне сидит, и теми, кто зоной руководит. Радио помогло бы лучше понимать друг друга зекам и «мусорам». Вместо этого всего из динамиков доносится затасканная до неузнаваемости фонограмма гимна да лающие команды. Впрочем, по-другому здесь, наверное, и быть не может. Люди, призванные не только держать нас в строгих рамках режима, но и воспитывать нас, к диалогу с нами просто не готовы. Они боятся нас. Они ненавидят нас. Они стесняются нас в силу своего косноязычия. Последнее качество представители администрации демонстрируют каждый понедельник, в день, на который приходится в зоне общее построение и что-то похожее на строевой смотр. Типичный пример этого косноязычия, откровенного игнорирования элементарных норм русского языка демонстрирует замполит зоны подполковник с экзотической кличкой Конь-Голова. Похоже, этот человек так и не усвоил знакомые каждому школьнику правила склонения и спряжения, многие слова употребляет просто не по назначению, да и беден до убогости у него запас этих самых слов. Понятно, в эфире таким «златоустам» делать нечего.

Свойство мечтать, как свойство смеяться, относится к разряду качеств, которые резко отличают человека от животного. Отрадно, что многие из нас не утратили этого

навыка. Кажется, и я здесь не исключение. Сегодня представил себе, как после освобождения займусь осуществлением оригинального проекта. Смысл его прост. Направить в одну из колоний профессионального фотографа, поставить ему задачу отснять лица заключенных. Отснять в анфас крупным планом, точнее, снимать даже не лица, а глаза (что выше бровей и ниже носа, загородить, заретушировать), а потом из этих снимков сделать выставку по всем правилам вернисажного искусства, с соответствующей подсветкой, специально подобранной музыкой и т.д. Уверен, на этой выставке не будет похожих снимков, каждый взгляд будет по-своему неповторим. Перемешаются в них и пронзительная грусть, и щемящая надежда, и угрюмая злоба, и виноватая нежность, и робкая вера, и жестокая решительность, и еще много чего...

Все-таки в счастливое время выпало нам сидеть. Сегодня практически каждому арестанту можно надеяться на светлый просвет в судьбе, на облегчение участи. Это, конечно, не значит, что каждому будет снисхождение, но шансов прибавляется. И на УДО (условно-досрочное освобождение) люди уходят куда чаще, чем в предыдущие годы, и начавшаяся реформа службы исполнения наказаний надежд прибавляет, и концентрация слухов о замене старого УК РФ на новый, более гуманный, нарастает. Еще несколько лет назад ничего подобного и в помине не было. Получал человек свой срок, и это был приговор на все двести процентов — ни «скощухи», ни послабления! Так что будем ждать, надеяться. Тем более дело идет к выборам. Достижения в экономике, в социальных сферах весьма скромные, а где «пряники» для электората? Реформы в УФСИН, совершенствования в УК, сокращение общего числа сидельцев — самый верный, самый честный, самый малозатратный путь. Эффект, бесспорно, будет ощутим. Едва ли не в каждой российской

семье кто-то сидел, сидит или, того гляди, сядет. На худой конец, просто с содроганием вспоминают о времени не столь давнем, когда понятия «ссылка», «лагеря», «этап», «срок» заставляли трепетать каждого.

«Труд — воспитатель», «труд — главное средство перевоспитания». Очень правильные, очень привычные, очень знакомые лозунги. Кажется, здесь, в зоне строго режима, звучать им особо актуально, наполняться особым социальным политическим смыслом. Но так только кажется... Оказывается, официально труд в лагере — дело добровольное. В соответствии с нынешними законами. К труду никто никого не обязывает, не принуждает и... даже не стимулирует. Никаких льгот выходящий на работу арестант по сравнению с арестантом, который круглые сутки играет в карты, смотрит телевизор или просто валяется на койке, не имеет. Формально считается, что работающим проще уйти по УДО, однако число обманутых, кому УДО за добросовестный труд обещали, но не дали, куда больше тех, кто, ни разу не появившись за весь срок на промке или появившись там за считанные месяцы до суда, выходит на волю условно-досрочно освобожденным. Понятно, за всем этим — хорошо известные по вольной жизни коррупционные штучки: хлопоты и покровительство больших начальников, родственные связи, элементарные взятки. Стоит ли в этом случае говорить, что труд — это стимул и воспитатель?

Еще один принципиальный штрих в уточнении смысла понятия «труд в зоне». Те, кто регулярно выходит на промку, обеспечены работой как таковой в лучшем случае наполовину. Нехватка сырья, поломки изношенного оборудования, сбой в отгрузке готовой продукции — все это приводит к тому, что работающие арестанты или вовсе не выходят на работы (вынужденные выходные), или тратят не по своей вине большую часть рабочего времени на сон в

раздевалках и бесконечные перекуры. Самое время вспомнить, что труднеорганизованный и непродуманный вредит куда больше, чем откровенное безделье.

Говорят, что относительно недавно, в не столь далекие советские времена, все было по-иному. Производство в любой колонии было прямо или косвенно интегрировано в единую систему государственной экономики, централизованно снабжалось сырьем, оборудованием, инструментом, имело гарантированный (фактически госзаказ) спрос на изготовленную продукцию. Четкий ритм производства позволял арестантам зарабатывать, а главное, чувствовать свою полезность, востребованность, причастность к серьезным процессам за «колючкой», к государственным делам. Труд позволял чувствовать себя зекам даже здесь, в зоне, — людьми!

Промка в этом лагере, как, впрочем, во всех зонах Отечества, никакого отношения к государственным структурам не имеет. Заказы-договоры то — есть, то — нет. В качестве партнеров — бесчисленные АО, АОО и т.д. и т.п. Путаница в адресах, географии, производственной специализации, профессиональной принадлежности. Возможно, и, что скорее всего, именно так, наша промка задействована в откровенно криминальных схемах по отмывке денег, хищению бюджетных средств, уклонению от налогов, производстве и реализации продукции из неучтенного и откровенно ворованного сырья. Вовлекать лагерную промку в эти криминальные игры более чем выгодно — территория режимная, возможность проверок, учета, контроля — самая ничтожная. И другое понятно: скрыть, утаить все это от арестантов — невозможно. Современный арестант, зачастую вполне грамотный, имеющий порой немалый социальный опыт, все видит, о многом догадывается, многое понимает. Разумеется, его впечатления в этом случае менее всего способствуют утверждению в его сознании громких тезисов о благородстве труда и труде как воспитателе-созидателе.

А какие выводы делает арестант, выходящий на промку, знакомясь с зарплатной ведомостью? Месячный заработок в 30—50 рублей — самое распространенное явление. И на швейном, и на меловом, и на всех прочих производствах нашей зоны. Зарботок в 100—150 рублей считается очень даже приличным. И это тогда, когда пачка сигарет стоит 20 с лишним рублей! И это в то время, когда арестант добросовестно выходил на работу все положенные дни, а если и просиживал, простаивал, то совсем не по своей вине! Еще одна иллюстрация, точнее, карикатура к тезису — «труд-воспитатель, труд-созидатель».

Кстати, где-то я читал, что в сталинско-бериевском ГУЛАГе арестант, выполнявший норму, имел к этому немало стимулов, вплоть до усиленного пайка и особого зачета срока — каждый отсиженный день при выполненной норме засчитывался за три. Несбыточной сказкой видятся подобные перспективы российскому арестанту начала XXI века.

К месту вспомнить и другое: в системе воровских ценностей труд — дело не уважаемое, презираемое, чисто «мужицкое» дело. Как же нынешний УФСИН, взявший курс на искоренение воровских традиций, будет увязывать реальное положение с организацией производства на нынешних зонах с подобной риторикой? Ведь, по сути, из рук вон плохо организованный труд на зоне — это аргумент в поддержку воровских традиций, аргумент в пользу организованной преступности.

Случайно попал в руки томик М. Булгакова. Перечитал в который уже раз с превеликим удовольствием. Из «Собачьего сердца» выписал цитату, посвященную главному герою. Характеризуя Шарикова, автор отмечает его особенное пристрастие к мату. «Ругань эта, — пишет М. Булгаков — методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический ха-

ракти: будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками». Как же точно и емко сказано! И, увы, это может относиться к доброй половине моих соседей. Зачастую их речь на 60—70 % состоит из тупого, однообразного мата. Ругательства-связки, ругательства-костыли, ругательства — суррогат всех прочих слов... Впрочем, стоит ли упрекать в этом моих нынешних соседей. Ведь многие из них выросли в условиях, где подобная форма изъяснения была повальной нормой, где привязанность к мату передавалась из поколения в поколение, закреплялась на генном уровне. Да и уместно ли слишком строго судить арестантов за сквернословие, когда те, кто нынче призван контролировать нашу жизнь, а значит, и воспитывать нас, выражают свои мысли и чувства совершенно так же. Впрочем, арестант арестанту рознь. Смотрящий соседнего отряда Андрей Дрон, глубоко верующий и совсем еще молодой человек, объявил мату беспощадную войну. Он запретил материться в бараке, нарушителей строго наказывает. Побольше бы таких смотрящих! Кстати, и на воле я встречал людей, отмотавших серьезные сроки, высшим образованием не обремененных, но сознательно полностью искоренивших в себе эту скверную привычку.

Ощущение времени здесь совершенно иное. Дни летят, недели мчатся, месяца проносятся, а время как таковое... стоит на месте. Это потому, что время в сознании большинства арестантов испокон веков ассоциируется с освобождением, возвращением домой, окончанием срока. А сроки здесь, в колонии строгого режима, почти у всех немалые, соответственно, как бы быстро ни проходили дни, недели, месяцы, долгожданная воля придет не скоро, вот и стоит это самое время на месте. Вот здесь-то я и начинаю понимать, что в категории «время» есть два параметра — ко-

личественный (это как раз связано со скоростью его движения) и качественный. Последний для человека в нашей ситуации куда важнее, чем первый. Какое счастье, что пока ни за один день, ни за один час, проведенный здесь, мне не стыдно. Очень хочется, чтобы и в самом конце своего испытания я бы мог признаться себе в том же самом. Соответственно, вполне актуальное пожелание самому себе: «Не надо прищипывать время. Не важно, как быстро оно будет двигаться, главное, чтобы для тебя оно проходило достойно».

Стал свидетелем любопытного диалога. У зека, державшего в руках книгу, другой, похоже, ничего подобного в руки никогда не бравший, спросил: «О чем книга?» «Да роман», — нехотя ответил первый. «А, понятно», — с умным видом, вполне удовлетворенно протянул вопрошавший. Будто бы само название жанра произведения способно дать исчерпывающую характеристику его содержанию.

Да, отношение к чтению большинства моих соседей-коллег оставляет желать много лучшего. Хорошая треть не читает вовсе. Никогда и ничего! Не имеют потребности! Не приучены. Не доросли. Хорошая половина оставшегося количества читает, но качество и содержание этого чтения можно смело охарактеризовать одним словом: «макулатура». Какие-то малоформатные, в мягких, но очень ярких обложках с говорящими названиями: «Я — бандит», «Мы — воры» и т.д. Ни уму ни сердцу эти книги, понятно, не прибавляют. Интересы прочих очень разнообразны. В руках соседей видел зачитанные до дыр томики самых разных отечественных и зарубежных классиков, образцы современной, авангардной литературы. И знакомую мне с далекого детства «Занимательную физику», и очень серьезные книги по религии, истории, философии, вплоть до пухлого сбор-

ника Конфуция. Грустно, что читают здесь в целом мало, плохо, что читают здесь в основном совсем не то, что надо читать русскому человеку в подобных условиях, но одним махом записывать весь окружающий меня «спецконтингент» в категорию воинствующих невежд было бы несправедливо. В местной библиотеке всегда немало посетителей, интересующихся не только И. Буниным, В. Шукшиным, В. Пелевиным, но и Н. Макиавелли, Н. Гумилевым, И. Бродским. Сам откопал здесь и с удовольствием прочитал мемуары Л. Кагановича, автобиографию Л. Троцкого, последний роман Ю. Сорокина, монографию А. Кузьмина о принятии Русью христианства, да много чего еще нового, полезного, неожиданного обнаружил я на здешних полках.

Многое вижу, многое замечаю, многому удивляюсь. Всё пытаюсь зафиксировать в письменном виде. Твердо уверен — будет, обязательно будет книга. А еще с грустью сожалею, что не наделен истинным литературным талантом, ведь здесь на каждом шагу такие образы, такие сюжеты! Сюда бы выездную бригаду из классиков: М. Салтыков-Щедрин, Н. Гоголь, Л. Толстой и др. Вот бы где проявлять им свои таланты, шлифовать мастерство! Взять, например, моего соседа по бараку чечена Мусу М. Всякий раз, наблюдая за ним, вспоминаю его земляка, некогда вдохновившего великого Л. Толстого на бессмертного «Хаджи-Мурата». И у Мусы в характере, в привычках, в манерах столько самобытного, доставшегося от предков, сохранившегося в первозданном виде.

Вижу, как всякий раз после бани он аккуратно подстригает ногти на руках и ногах, как обстриженные ногти еще более аккуратно собирает в бумажку, как эту бумажку так же аккуратно сворачивает и куда-то относит, что-то при этом нашептывая. Поймав в очередной раз мой внимательный взгляд, охотно поясняет: «Так надо делать,

так положено делать, так все в роду делали, иначе плохо будет, неприятности, неудачи будут, беды придут...»

Кстати, русский язык у Мусы хороший, правильный, почти литературный. При этом я ни разу не видел в его руках книги ни на русском, ни на родном языке. Зато видел, как он читал официальную прокурорскую бумажку, пришедшую в ответ на его очередную жалобу на приговор (дело у него действительно «мутное», как он рьяно утверждает, «полностью сфабрикованное»). Читал очень долго, похоже, без преувеличения, по складам, беззвучно шевеля губами.

Муса болезненно мнителен. Сейчас ему кажется, будто где-то в самых «верхних» чиновных московских кабинетах уже рождено дьявольское решение: всех ранее осужденных чеченов, независимо от сроков наказания, возраста и образования, собрать вместе в самом далеком, самом холодном, самом режимном лагере чуть ли не за полярным кругом и там целенаправленно и методично гнобить, изводить, уничтожать. С учетом грядущих перемен у Мусы всегда наготове собранный дорожный баул, где в идеальном порядке сложен весь его нехитрый арестантский скарб. «Так обязательно будет, я знаю, я чувствую...» — поясняет он по этому поводу доверительным шепотом, беспокожно оглядываясь.

Незадолго до этого он не менее горячо заверял, что всех «тяжеловесов» (арестантов с большими сроками) непременно будут вывозить в специальные зоны со специальным «сверхстрогим» режимом. И тогда также собранный баул наизготовку стоял под его шконкой, и также единственным аргументом-объяснением по этому поводу было расплывчатое, но горячее: «Так обязательно будет, я знаю, я это чувствую...»

Однажды я все-таки не удержался, любопытствовал, правда, наедине и в самой тактичной форме: «Откуда ты это знаешь, почему ты это чувствуешь?» Муса нисколько не смутился, мягко улыбнулся, взметнул кустистые брови,

ткнул вверх указательным пальцем и поднял наголо бритую голову: «Так обязательно будет, мне Аллах знать дает...»

Здесь мне оставалось только кивнуть: Аллаху, конечно, видней, конечно, Аллах знает все и обо всех. Для Мусы, истинно верующего, по-другому и быть не может. А отношение его к своей вере достойно серьезного уважения. Что бы ни творилось в бараке (шум, мат, слоистый табачный смрад) — приходит время молитвы, залезает он на свою второярусную койку, раскатывает чудом пронесенный через все этапы молельный коврик и молится, полностью абстрагируясь от всего, что рядом творится.

Совсем недавно с великим удивлением узнал, что Муса совсем не чистый, этнический чеченец. Его мать была чистокровной немкой, уроженкой города Кенигсберга. В известный момент истории Отечества не по своей воле оказалась в Казахстане, где встретила будущего отца Мусы, оказавшегося там приблизительно по тем же причинам. Встретила, полюбила, вышла замуж, приняла все, что имело отношение к супругу: веру, язык, обычаи.

Жаль, что Муса не знает деталей и обстоятельств романа своих родителей. Удивительный рассказ и с литературной, и с историко-социальной точки зрения можно было бы написать на основе этих подробностей.

В окружающей меня обстановке удивление удивлению рознь. Чему-то я удивляюсь с доброй улыбкой, чему-то с искренним недоумением, чему-то с яростным гневом попеременно с брезгливым отвращением. Чувства ближе к последним вызвала история с шарфом.

Оказывается, в гардеробе российского арестанта такого предмета просто не предусмотрено. Шапка (пусть не способная противостоять ни ветру, ни морозу) — есть. Ботинки (в которых летом жарко, зимой холодно) — есть. Телогрейка (скорби достойная часть экипировки российского

зека начала XXI века, заслуживающая отдельного повествования) — есть. Есть и вечно выдаваемая на три размера больше роба (брюки плюс «полукитель-полукуртка»). Есть и белье (летом — трусы и майка, зимой — рубаха и кальсоны, вещи архаичные, но очень даже нелишние).

Кто придумывал нынешний наш гардероб? Кто его утверждал? Вспомнил ли кто-нибудь из этих людей, надо полагать, в здравом уме находящихся, при этом об особенностях климата в России? О том, что зима здесь длится как минимум три месяца в году? Вопросы трижды риторические. В итоге и казенные, как здесь говорят, «хозяйские» («хозяин» на лагерном аргю — начальник зоны) шарфы отсутствуют. И «вольные» (присланные, переданные и прочими правдами-неправдами раздобытые) — в числе запретов. А поэтому и в ходе каждого шмона безжалостно изымаются, отбираются, отметаются «мусорами», этот шмон производящими... Не предусмотрено, не учтено. Не положено... Вот и мой шарф, замечательный, неброский, темно-синий, подаренный некогда уходившим «по звонку» соседом, ушел в ходе последнего шмона, «ушел» из-под подушки, где лежал тихо, никому не мешая и внимания ничьего не привлекая.

А значит, шея, горло нынешнего арестанта (со всеми там трахеями, бронхами и совсем близко расположенными легкими) открыты всем холодам и ветрам, всем инфекциям и вирусам.

Впрочем, кто же в этом нашем государстве о таком пустяке, как простуженное арестантское горло, вспоминать будет? На фоне вопиющего торжества то ли скоропостижно победивших, то ли безнаказанно побеждающих либерально-демократических ценностей. Боюсь, не найдется таких смельчаков-романтиков...

Поразительно, и здесь, несмотря на все ограничения, существует... своя мода. Мода в условиях строгого режима,

когда арестанту кроме казенной, как здесь говорят, «хозяйской» одежды разрешается иметь только спортивный костюм. Кстати, и это « послабление » действует относительно недавно, еще досиживают свои срока старые зеки, помнящие время, когда и спортивные костюмы, всеми правдами и неправдами сюда «затянутые», безжалостно отметались в ходе шмонов.

А мода в здешнем понимании — это та же самая «хозяйская» роба, только аккуратно подогнанная, ушитая по швам. Разумеется, при ушивании нельзя перестараться. Иначе арестантская униформа до неприличия плотно сядет по фигуре, подчеркивая все ее округлости и т.д., и уж тут ее носителю никак не избежать ехидных, а то и откровенно недобрых шуточек на щекотливую для этой среды тему про секс-меньшинства.

Любопытно, что неписаный «кодекс порядочного арестанта» строго-настрого запрещает ношение всякой одежды, хотя бы каким-то образом близкой к «мусорскому прикиду», например, камуфлированной майки. Говорят, что в былые «более правильные» времена, когда тюремноворовские традиции цвели махровым цветом и никто на них не покушался, существовал строгий запрет на ношение арестантами всего красного. Нарушители запрета обвинялись в демонстрации лояльности к администрации, т.е. к «мусорам» и ко всему, что с ними связано, что от них исходит, что с ними ассоциируется.

В лагере в Березовке, месте моего прежнего пребывания, практиковался и пошив силами местных умельцев «модной» обуви, что значительно отличалась от казенных гулаговских башмаков. Но это в Березовке, где существовало свое, пусть крохотное по масштабам, обувное производство. До сих пор, правда, не могу представить организацию или фирму, кто бы мог там разместить заказ на производ-

ство подобной продукции, и тем более не могу представить себе людей на воле, кто бы в здравом уме отважился щеголять в подобных уродливых, насквозь пропитанных смрадом ГУЛАГа ботинках. Здесь, в Свиноушках, своего обувного производства нет, потому и таскают местные арестанты «хозяйские» башмаки и... не ропщут.

Определенной модернизации можно подвергнуть и казенное кепи (летний головной убор), что называется почему-то на турецкий манер феской, а представляет собой диковинный гибрид, что-то среднее между головным убором солдат Третьего рейха и детсадовским картузом. Арестант, желающий выделиться, подчеркнуть свою независимость и состоятельность, непременно пошьет себе феску на заказ. Обойдется это ему от одного до двух блоков сигарет с фильтром. Выполнена эта работа будет в лагерном комбинате бытового обслуживания.

Феска, сшитая на заказ, от фески, полученной на складе, отличается большей или меньшей (в зависимости от вкусов заказчика) высотой, большей жесткостью остова (за счет подложенной по периметру пластмассы или картона), а главное, куда более выдающимся козырьком, жесткость которого также гарантирована вложением под ткань чего-то твердого. У некоторых претендующих на оригинальность, но не имеющих чувства меры арестантов размеры козырьков таковы, что закрывают добрую половину лица. Разумеется, они уверены, что «это — круто!».

Что же касается зимних шапок-ушанок, то всякая попытка заменить их на самодельные головные уборы, напоминающие то ли казачьи папахи, то ли величественные шапки британских королевских гвардейцев, непременно жестко пресекается лагерной администрацией («нельзя», «не положено», «заменить»). Единственное, что здесь может себе позволить желающий не быть «как все» арестант — особым образом начесать, набить куцый искусственный мех «хозяйской» ушанки. Издали такая шапка

напоминает собой изделие из натурального меха животного неведомой породы, вблизи — такая же убогая зековская ушаночка, модель которой была знакома еще героям Солженицына и Шаламова.

Лично мне в плане зимней шапки в свое время повезло: земляк-москвич, знакомый мне еще по пятому столичному изолятору, подарил мне невесть как у него оказавшуюся совершенно новую вольную ушанку из черного искусственного меха. Ему она была слишком велика, мне пришлось впору. Были случаи, когда представители бесчисленных проверяющих комиссий, то и дело терзающих наш лагерь, недоверчиво интересовались: «Что это за шапка?» На этот вопрос отвечал почти правду: «Шапка — вольная, на складе моего размера не было». Всякий раз это сходило, к тому же издали моя шапка почти не отличалась от казенной нахлобучки.

Вернемся к арестантской робе. Показательно, что почти все ее комплекты снабжены ярко-белыми, кажется, даже фосфоресцирующими в темноте полосками: полоска на спине на уровне лопаток, полоска на груди, аккурат в области сердца, полоски на штанинах на уровне коленок. Аналогичные полоски присутствуют на телогрейке (опять на уровне сердца и лопаток) и на летнем варианте головного убора.

Именно таким был мой первый комплект тюремной одежды, что я получал в Березовском лагере. Тогда, примеряя диковинную после «вольных» пиджаков и брюк одежду, кто-то из приехавших со мной по этапу «первоходов» пошутил по поводу особо заметных белых полосок: «Чудные какие, как у дворников-таджиков в Москве...» «Сам ты — таджик!» — жестко одернул его другой арестант с нашего этапа, но пожилой, успевший расхлебать не один срок. Встретив недоуменный взгляд, пояснил: «Эти полоски специально задуманы, чтобы в тебя ловчее делиться было, если на побег пойдешь или в бунте участие примешь...»

Помню паузу неловкого молчания, что возникла тогда по этому поводу. Прекрасно понимаю тех арестантов, кто, едва получив комплект одежды подобного типа, немедленно приступает к спарыванию ненавистных полос. Таких, правда, совсем немного. Помнится, и сам я попросту поленился заниматься подобной процедурой.

История с шортами... Ее сюжет очень похож на ранее рассказанный сюжет истории с шарфом. Опять ведомственная неповоротливость, помноженная на человеческую тупость (гремучий коктейль получается со всеми вытекающими). Впрочем, обо всем по-порядку.

С последнего долгосрочного свидания я попытался вынести... шорты. Понятно, в них не собирался щеголять ни на промке, ни на ежедневных утренних и вечерних проверках. Шорты предназначались исключительно для того, чтобы находиться в них в пределах локального участка в свободное от работы, построений и прочих мероприятий, время заниматься спортом (делать свои регулярные подтягивания, отжимания, приседания и т.д.), просто гулять. В подобных планах ничего сверхдерзкого, сверхпижонского не было — добрая половина населения лагеря использует этот предмет одежды в жаркое время (шорты, понятно, у всех очень разные: от изделий мировых фирм до самодельных, сварганных из обрезанных арестантских штанов). Кажется, все в пределах здравого смысла. Но так только кажется.

Прапорщик, выпускавший меня со свиданки, сразу сделал стойку, едва увидел шорты в моем пакете: «не положено». Развернул злосчастный предмет, прощупал все швы, подергал веревочки, выполняющие роль пояса, втянул в легкие побольше воздуха и отрезал окончательно: «Не положено». Традиционный аргумент в виде двух пачек сигарет с фильтром не сработал. Не удалась и попытка представить эти шорты как обычные трусы (их пере-

давать в посылках и передачах не возбраняется, законом разрешается). После составления соответствующей бумаги (что-то среднее между протоколом, актом и рапортом) мои выдавшие виды шорты, объехавшие со мной добрую дюжину стран, столько пережившие и способные о стольком напомнить, были отправлены на склад. Туда, где уже находился баул с моими «вольными» вещами, в которых я проследовал по этапу из столичных Бутырок в распоряжение здешнего управления тюремно-лагерного ведомства и которые носил на себе до тех пор, пока не был обряжен в арестантскую робу.

В последующие три дня я пытался, набравшись терпения, найти что-то напоминающее то ли правду, то ли элементарный здравый смысл в этой ситуации. Обращался за помощью к начальнику отряда. Ходил к самому главному режимнику лагеря (целый майор с неглупыми даже глазами за толстыми стеклами очков). Пробился на прием к начальнику лагеря (с учетом моих не закончившихся попыток разобратся в системе начисления нам заработной платы, точнее системы разворовывания зарабатываемых нами денег, это было непросто). Бес-по-лез-но! Представители лагерной администрации важно кивали, выслушивая меня, и мотали (кто с сожалением, кто с огорчением, кто с наслаждением) своими, украшенными форменными фуражками, головами: «Не положено!» Будто более серьезных и более ответственных дел у них не было и будто половина «населения» зоны в этот самый момент не дефилировало в своих локалках в шортах самых невероятных фасонов и расцветок.

Особенно удивил начальник по режиму, тот самый очкарик с умными (такая редкость для представителей лагерной администрации) глазами. На мое дипломатично — компромиссное предложение признать шорты трусами и разрешить использовать их по прямому предназначению, он очень серьезно ответил: «Я должен посоветоваться, проконсультироваться, как бы не создать прецедент...»

Последнее слово он произнес с особым наслаждением и вкусом. Совсем как тот чукча из анекдота, что с причмокиванием тянул слово «апельсин». Через два дня еще более серьезным тоном он сообщил: «Понимаете, здесь все-таки пояс, пусть в виде шнурочка, и два кармана — два сбоку и один сзади... Не положено...»

«Да это же последняя модель трусов со шнурками и карманами. Посмотрели бы в каталогах этого года», — уже начал я импровизировать.

«Каталогов мы не получаем, а шорты в зоне не положено!» — железобетонно стоял на своем мой умноглазый собеседник.

Верно, чтобы описывать подобные перипетии, талант нужен калибра таланта Н. Гоголя. А образ дурака-буквоеда российского чиновника, да еще обряженного в ведомственный мундир, — вечен!

С первого дня, как попал сюда, — работаю в три смены. С 8 до 17, с 17 до 24, с 24 до 6. Четыре дня в первую, четыре дня во вторую, четыре дня в третью. Между сменами — выходные. Поразительно, но за полгода, проведенные в зоне, в лучшем случае было дней двадцать, когда мы могли работать в полную силу, не испытывая проблем со снабжением материалами. То нет мешков, то кончились паспорта от этих мешков, то отсутствуют вкладыши для этих мешков. И это в то время, когда в соседнем громадном административном корпусе заседает целый плановый отдел, где вроде как трудится и, надо полагать, получает за это свои немалые деньги целый штат специалистов, по слухам, жен, дочек, племянниц и прочих родственников представителей администрации.

Чем дольше здесь нахожусь, чем внимательней приглядываюсь к особенностям организации производственного процесса на промке, тем отчетливей становится мое

предположение, что подобная бесхозяйственность, не просто бесхозяйственность, а бесхозяйственность — специально, самым тщательным образом, срежиссированная.

Скорее всего, наша промка — звено в непростом, но таком типичном в наше время механизме полукриминального или полностью криминального производства, где присутствуют и «левое» сырье, и неучтенная продукция, и не уплаченные работникам деньги, и много чего еще. Но такие тонкости понятны далеко не многим. Большинство рассуждает так: «Платили бы что-нибудь, чтобы хватило на курево, чай, и — достаточно». Между тем наших заработков и на этот минимум не хватает. За месяц приходится заработать тридцать, пятьдесят, семьдесят, в лучшем случае двести рублей. Если вспомнить, что пачка сигарет стоит двадцать рублей, а стограммовая пачка чая и того больше, — это не заработки, а откровенное издевательство. Качать права в этом направлении дело бесполезное и почти небезопасное. Расценки и нормы выработки на многие из видов выполняемых нами работ от нас тщательно скрываются, а любая попытка разобраться в этих дебрях встречается отрезвляющим вопросом из уст этих людей в погонах: «Ты что, сюда зарабатывать приехал?» Любой «правдокопатель» в наших условиях рискует быть списанным на нерабочий барак, где время тянется куда дольше, и откуда, даже для «работяг», призрачное УДО почти не светит вовсе.

Да, большинство, окружающих меня людей не привыкли говорить «доброе утро» и «пожалуйста», им привычней сморкаться в два пальца, чем пользоваться носовым платком, им даже в голову не приходит, что пить чай и есть суп можно бесшумно, не издавая чавканья и прочих чисто животных звуков. Но разве они виноваты в этом? Они унаследовали эти манеры и привычки от сво-

их родителей. Они выросли в той среде, где подобное поведение — норма. Они просто не представляют себе, что существует иной стиль поведения. Похоже, государство и те, кому государство поручает «исполнение наказаний», совершенно осознанно и целенаправленно собирают этих людей в отдельных местах и только чуть-чуть разбавляют их людьми иного толка, понимающих, для чего существует носовой платок и что такое жить среди людей. Для нормальных людей подобное окружение, точнее — погружение, еще точнее — «кунание» в столь высокую концентрацию невежества, хамства, откровенной ублюдочности, — дополнительное наказание, прибавка к основному наказанию. Впрочем, что более болезненно, что более действенно влияет на психику, сознание, характер, — то ли просто лишение свободы, то ли погружение с головой в шариковообразную массу, — еще не известно. И все-таки нельзя столь жестоко, столь безапелляционно судить среду, в которой нахожусь нынче. Эта среда — часть народа, очень типичная и очень массовая. Именно такие люди, зачастую звучно чавкающие за столом, не знакомые с носовым платком, не имеющие навыка обращения с ножом и вилкой, возводили домны и фабрики, ставшие основой промышленного потенциала моей державы. Они вставали в штыковые атаки на фронтах всех возможных войн, да и много еще в чем успели отличиться в истории. Это в масштабах глобальных, исторических, эпохальных, а в минимасштабах одной человеческой жизни трудно угадать, кто именно протянет тебе руку в трудную минуту, вытащит из огня, прикроет в бою, поделится последней коркой хлеба. То ли тот, с кем изучал философию и высшую социологию, то ли тот, с кем, по стечению обстоятельств, грузил мешки и давился «сечкой». Великое искусство — жить с людьми и среди людей, верно ориентироваться в понимании категорий «народ», «личность», «коллектив», «группа». Дай Бог преуспеть во всем этом!

Насколько я знаю, никто из специалистов не изучал идеологических пристрастий и политических ориентаций нынешних российских арестантов. А жаль. И социологов, и политологов здесь ожидало бы много сюрпризов и откровенных открытий. Неверно было бы одним махом причислять всех моих соседей к социально инертной, полностью аполитичной массе. Споры на политические темы часто вспыхивают в нашей среде. Удивительно, парадоксально, но при всей непохожести мнений, высказываемых в ходе подобных споров, в одном едва ли не все мои нынешние коллеги-соседи единодушны: при коммунистах, до распада СССР, жить было лучше. Это мнение арестанты разделяют независимо от возраста, образования, социального уровня, национальности (среди нас немало граждан автономных республик и граждан государств СНГ). И это несмотря на то, что судили в советские времена строже, сроки давали куда более серьезные и шансов соскочить с этих сроков с помощью УДО и всяких прочих штучек было куда меньше. Правда, в нынешнем многообразии партий, лидеров, течений арестанты ориентируются плохо. Доводилось слышать безапелляционные, но не имеющие ничего общего с истиной оценки: будто лимоновцы — это фашисты, демократы есть только на Западе, либералы — это сплошь пидорасы (простите, гомосексуалисты). Очень многие всерьез уверены, что Ельцин до сих пор жив, Горбачев, наоборот, давно погиб и погребен то ли где-то на Западе, то ли аж у самой Кремлевской стены. Особое место среди политических приоритетов нынешних арестантов занимает В.В. Жириновский, в основном, конечно, за счет личного колорита, харизмы.

Много наслышаны мои нынешние соседи и о неравнодушном отношении Владимира Вольфовича к судьбам нашего брата, о случаях, когда лидер ЛДПР конкретно помогал арестантам, предоставлял квалифицированных юристов и адвокатов, ходатайствовал о пересмотре дела

и инициировал отправку соответствующих бумаг в Верховный суд, Генеральную прокуратуру. «Он наш», «он может», «он помогает» — часто говорят в нашей среде о В.В. Жириновском. Верно, поэтому и ношение белых маек с аббревиатурой ВВЖ считается здесь большим шиком. Поэтому и календари, плакаты, открытки с символикой ЛДПР и портретами его лидера, что прислал мне сюда мой друг, близкий к делам этой партии, моментально осели на тумбочках и в карманах моих соседей по бараку. При всем при этом о политических целях и задачах либеральных демократов никто толком понятия не имеет.

Странная методика принятия пищи у Паши Катастрофы, что сидит за одним столом со мной за завтраком, обедом и ужином. Наполненную ложку он быстро подносит к лицу, на мгновение задерживает ее в нескольких сантиметрах от носа, то ли изучая, то ли гипнотизируя ее содержимое, потом делает движение вперед всем корпусом и с невероятным хлюпаньем втягивает в себя это самое содержимое. Не удивительно, что Пашу можно услышать и за соседним столом. О том, что Катастрофа ест, можно узнать человеку издали с завязанными глазами. Недавно после прослушивания очередной порции чавканья и бульканья, я все-таки не удержался и почти деликатно поинтересовался: «А что, Паша, не пытался ли ты когда-нибудь кушать бесшумно?» Мой визави округлил глаза, задумался на долю секунды и изрек недоверчиво-обиженно: «Гонишь!» Последнее слово из тюремного жаргона универсально и может таить в себе множество смыслов и оттенков. «Гнать» — для арестанта и шутить, и горевать, и задумываться, и откровенно врать.

В подобных своих привычках Паша Катастрофа не одинок. Добрая треть моих нынешних соседей может соревноваться между собой в звучности потребления пищи и напитков.

Жара. Беспощадная. Всепроникающая. Превращающая любого из нас в потное, обессиленное и отупевшее подобие человека. Говорят, подобной жары в этих местах не было более ста лет. Сорок и более градусов жары. Странно, но именно в это время на обед в качестве своеобразного десерта-дополнения к лагерному рациону дают соленые огурцы и помидоры. Иногда кажется, что в рассол к ним вместо соли (или в придачу к ней), добавляют известь. Естественная реакция организма на подобное угощение — неимоверная жажда.

У каждой зоны свое лицо и свой характер, свои только ей присущие особенности, свои плюсы и свои минусы. На Березовке (так назывался поселок, где я находился до того, как нас перевели в эту зону) почти все зеки ели, не снимая шапки. В Березовке строго запрещалось выносить из столовой хлеб, тем более самодельные пластмассовые судки с супом или кашей. Здесь зек, выходящий из столовой с едой всех видов в охапку, — явление самое обычное. А вот с посудой на Березовке не было никогда никаких проблем, всем всего хватало. В этом лагере кружек, по-тюремному «кругалей», хронически не хватает, поэтому утренний чай, обеденный кисель и вечернее молоко мы вынуждены наливать в личную, принесенную с собой посуду или чашки, предназначенные для супа или каши. Зайдет посторонний человек в столовую и запросто может увидеть такую картину: шеренги столов, за столами мрачные мужики хлебают то, что пьют обычно из стаканов и кружек. Ладно, если бы на восточный манер держали бы они эту посуду на трех пальцах, нет, исключительно держат двумя руками за края. Иные и вовсе, то ли ради удобства, то ли по причине дремучей лени своей, не отрывая мисок от стола, просто лакают из них на собачий манер. Картина скорее трагическая, чем комическая.

Третий день в зоне выдают заплесневелый хлеб. Почему привозимый нам хлеб, якобы прямо из пекарни, сырой и покрыт когда белой, а когда и черной растительностью — непонятно. Впрочем, это никого не интересует. Главное, что предназначенный для нас хлеб покрыт плесенью. По сути, такой хлеб нельзя считать съедобным. Едим потому, что другого нет. Конечно, едят не все. Общее потребление такого хлеба в зоне резко снизилось. Соответственно, вырос объем отходов. Надкусанные куски, куски с выломанными корками, прочий хлебный брак собирается в мешки, мешки выставляются у входа в столовую. Вонь, которую издает громадная масса заплесневелого почерневшего сырого, а подчас просто разлагающегося хлеба при сорокаградусной жаре трудно даже представить. Старожилы пожимают плечами: «бывало и хуже». Администрация безмолвствует. Молчим и мы, «мужики», рядовые арестанты. Удивительно, что молчат представители так называемого «блаткомитета». То ли они не в курсе, потому что сами употребляют свой, другой хлеб (что заходит к ним правдами и неправдами с воли), то ли откровенно поддерживают администрацию, допустившую подобный косяк. Кстати, о хлебе. Стыдно признаваться, но достойному отношению к этому продукту приходится учиться у кавказцев, выходцев из Средней Азии и прочих нерусских. Для них хлеб — понятие почти религиозное. Его не бросают, не топчут, не вытирают им ложку. Похоже, присутствующий в тюремной жизни обычай — не резать хлеб (это почти одушевленное существо, ему больно), а бережно разламывать его — принесли именно они. Помню, как болезненно отреагировал мой сосед по «хате» в Бутырке девятнадцатилетний Азат, когда другой сокамерник соорудил из хлеба грузик для сопровождения депеши, отправляемой по тюремной «дороге». Он цокнул языком, покачал головой: «Нельзя так, это же хлеб, нехорошо так!»

Случайно подслушал спонтанно вспыхнувший спор на тему, что такое Гондурас. В споре участвовало пятеро зеков. Трое были твердо уверены, что это просто прикол, один считал, что это такое место в Африке. Только единственный участник дискуссии высказал (правда, не очень твердо) предположение, что это государство в Латинской Америке. Комментировать здесь нечего.

Как здорово, как актуально, как злободневно, что я не имею вредных привычек — не курю, равнодушен к картам и прочим азартным играм, прекрасно обхожусь без алкоголя, не страдаю от недостатка сладкого. А еще именно здесь понимаешь, как хорошо, что с малолетства приучен поглощать пищу без чавканья и прочих звуков, что не храплю во сне, что у меня не потеют ноги, что стельки моих ботинок не издают мерзкого запаха. Да и много чего еще начинаешь здесь ценить в себе самом и в окружающих. Понять это человеку, с зоной собственной шкурой не знакомому, невозможно, объяснять — бессмысленно. Именно здесь и осознаешь, какие пласты смысла скрыты, запрятаны, замурованы в простеньком, на первый взгляд, девизе-лозунге, что когда-то кололи на телах своих российские многострадальные арестанты: «Кто не был — тот будет, кто был — тот не забудет...»

Впрочем, понять это дано, повторяю, лишь тому, кто представляет ситуацию не по книжкам, не по сериалам, а по собственным впечатлениям.

Главное событие последних дней — падение забора. На наших глазах, аккуратно во время вечерней проверки, упал забор. Не весь, конечно, но целых три громадных пролета. Событие было встречено диким хохотом, аплодисментами

и прочими проявлениями веселья. Еще бы: один из основных символов нашей несвободы, высоченный кирпичный забор, отделяющий нас от той, «настоящей» жизни, рухнул. Не важно, что этот забор далеко не единственный, что в том же самом образовавшемся проеме видны еще последующие, не менее высокие, не менее крепкие ограды, неважно... Главное — на наших глазах упал забор! Для администрации подобное событие было ЧП серьезного калибра. Сразу же на месте аварии появился усиленный наряд из роты охраны, с автоматами наизготовку, с громадной овчаркой. Более того, уже на следующее утро на своеобразный субботник по ликвидации последствия аварии вышло громадное количество прапорщиков и сержантов сверхсрочников, то есть всех тех, кто выводит нас на работу, поднимает по утрам, проводит шмоны, следит за нашим внешним видом и т.д.

Видеть этих людей, не шарящих в наших тумбочках, а по-настоящему работающих, — еще одна радость для нас. И «радость» это длилась аж несколько дней — все это время «стройотряд», сформированный из представителей администрации, трудился в поте лица. Мобилизованные «мусора» разбирали упавший пролет на блоки и кирпичи, грузили все это на самосвалы, на месте рухнувшего участка каменной стены возводили деревянный забор, не менее высокий, еще более унылый. Сам факт падения забора по своему глубоко символичен. Подобная авария повторяется каждую весну. Из года в год, на протяжении многих лет. Почва здесь болотистая, когда зону строили — поспешили или схалтурили, фундамент сделали неглубокий, без учета особенностей грунта, вот и «плывет» земля каждую весну под символом нашей несвободы, вот и рушатся каменные пролеты, вот и трясут животами сотрудники администрации на вышеупомянутых «субботниках». Очень может быть, что учреждению, в стенах которого мы ныне пребываем, все это даже очень выгодно. Ведь в счет по-

добных ЧП очень удобно «выбивать, клянить, получать» деньги на «реконструкцию», «ремонт», «восстановление», а контролировать расход этих денег в условиях полузакрытой системы практически невозможно. Значит, вечно падать здесь заборам! Вечно их реконструировать нашим начальникам, ну и нам, зекам, значит, вечная маленькая в том радость!

Зона может сломать человека (это общеизвестно, и комментировать здесь нечего), зона может ожесточить человека (это естественно и понятно). Зона может очистить человека, помочь ему разобраться в себе, укрепить характер, просветлеть душой (подобное очень редко, но все-таки бывает). Но не дай бог, если зона воспитает, то есть полностью сформирует, человека. Часто ли такое случается, не беру на себя ответственность определять, но подобных людей встречал я и на воле, и здесь наблюдаю регулярно. Увы, «гомо арестантос» — существо чаще всего откровенно подлое и коварное, лживое и завистливое, падкое на халяву, к труду и созиданию не способное. В нормальной жизни крайне нежелательно не то чтобы сталкиваться в лоб, даже соседствовать с ним. Ну а здесь... выбрать не приходится.

А вот и несколько примеров-иллюстраций, классических образчиков философии жизненного кредо этих самых «гомо арестантос». Вот Слава Жук (две ходки, обе за «жмуров»), возраст ближе к пятидесяти, в общем разговоре про детей с гордостью вспоминал сына, который сел в неполные девятнадцать лет за двух «жмуров». Вот Костя Грек (почти его ровесник, тоже две ходки, последняя по крайне малоуважаемой 132-й УК РФ). В разговоре о будущем долго и живописно мечтал, как отстроит дом в деревне на природе, будет заниматься хозяйством, скотиной и пчелами. Мечтал-мечтал, а в конце добавил очень буднично: «В своем доме жить хорошо, зелень, воздух... и труп зако-

пать, спрятать, прощел...» Вот Рома Мокрый — «шнырь» по тюремным рангам, уже не раз битый за мелкие и средние по здешним меркам пакости. Едва узнав номер телефона родственников одного из своих близких друзей, уже переведенного в другой отряд, сразу стал названивать по этим цифрам и разводить на деньги, обещая помочь в хлопотах по условно-досрочному освобождению своего друга. («Ну, это можно все решить, конечно, стоить будет, я скажу куда перечислить...») Разумеется, представился он перед ними не братом по несчастью, а влиятельным и опытным адвокатом. По сути, хотел обмануть и ограбить родственников человека, с которым два года пил чай (это очень важно по тюремным понятиям), ел из одной чашки, вроде бы делил все тяготы арестантского бытия.

Оказывается, под словом «сирота» представители лагерной администрации понимают вовсе не тех арестантов, что лишились когда-то родителей и воспитывались со злой мачехой или в детском доме. «Сиротами» они называют тех, кто имеет крайне скудную поддержку с воли, «слабый грев», или не имеют таковой вовсе. Можно быть еще более точным: сотрудники администрации под «сиротами» понимают тех, с кого нечего взять. Примеров подобного понимания этого слова у людей в погонах великое множество. Пришла моему соседу посылка. В посылке среди всего прочего спортивный костюм, который согласно существующим положениям и инструкциям иметь арестанту вовсе не возбраняется, но костюм моему соседу не выдают. Прапорщик, досматривавший посылку, буркнув «не положено», передает костюм в отдел безопасности. В отделе безопасности с моим соседом просто никто не захотел разговаривать, а когда тот, проявив неожиданную твердость, продолжал требовать костюм, дежурный офицер отдела позвонил начальнику отряда: «Что делать будем?» Сосед, стоявший

рядом, прекрасно слышал, как снявший трубку на другом конце провода начальник нашего доблестного девятого отряда капитан внутренней службы Васильев (награжденный зеками нелицеприятной кличкой Василиса), пробурчал в свою очередь: «Да обойдется, сирота он». Родители моего соседа были на тот момент живы и здоровы.

В очень похожем положении побывал мой другой соотрядник, узнавший, что поощрение, заработанное им на промке, тормозится, не подписывается уже упомянутым начальником отряда, тем же самым капитаном Василисой. Добившись аудиенции у последнего, арестант стал свидетелем, как начальник не поленился связаться по телефону с мастером, готовившим список на поощрение, и, нисколько не стесняясь стоящего рядом «виновника торжества», спросил: «И что там, сильно надо, что ли? Думаю, обойдется, сирота он...» «Сирота — тогда понятно», — донеслось из телефонной трубки, неосмотрительно отставленной капитаном Василисой на значительное расстояние от уха. Велик и могуч русский язык! Много смыслов может нести в себе одно и то же слово.

Десятки, нет, сотни раз приходила здесь мысль о смерти. И естественной, и даже добровольной, и всякой прочей, с поправкой на окружение, обстановку, обстоятельства. Тема возвращается, правда в ином аспекте. Начинаю понимать, насколько нелепо, дико, противоестественно умереть именно сейчас, когда в моем арестантском марафоне если не грянула финишная стометровка, то уже, во всяком случае, замаячила далекая, но уже видимая финишная ленточка. Когда, оглянувшись назад, могу сказать, нисколько не колеблясь: ни за один день здесь, в этой «совсем другой жизни», мне не стыдно, что все задачи, которые сам ставил перед самим собой, решил, все достойно выдержал. Впрочем, стоп, рано, ох, рано еще поднимать эту тему, а все, что

связано с мерзкими словами «инфаркт», «инсульт», «рак» и т.д., надо гнать из собственного сознания прочь! Спокойствия тебе, Борис Юрьевич, и бдительной мудрости!

В отряде очередная движуха. «Движуха» на лагерном арго — движение, событие, какие-то перемены в устоявшемся порядке. Арестантов по одному вызывает к себе в кабинет начальник отряда и просит, скорее требует, дать расписку, подтверждающую, будто с нами проводится воспитательная работа, большая, регулярная и целенаправленная. Бумажка со стандартной формулировкой об этой самой работе, заготовленная заранее, размноженная на компьютере. Похоже, старался кто-то из «козлов» — холуев начальника отряда, скорее всего, Леха Рыжий. Все расписались. И я расписался. По сути, поучаствовал в коллективном подлоге. Поддержал неправду, встал на сторону несправедливости. Смалодушничал? Если рубить с плеча, то — да, если задуматься, взвесить все плюсы и минусы, то — нет. Не поставил бы я свою подпись под этой липой (даже если кто-то и последовал моему примеру, в чем я сильно сомневаюсь), реакцию начальника отряда в этом случае представить несложно. «Ах, вас не воспитывают! Ну, будем воспитывать!» — и стал бы загонять всех свободных от работы арестантов в КВР-ку^{*}. Часами мучил бы нудными лекциями на правовые и прочие близкие темы. Вспомнив косноязычие начальника отряда, его общий, мягко говоря, невысокий уровень культуры, а самое главное, его патологическую ненависть к нам, арестантам, нетрудно представить, в какую пытку превратилось бы это мероприятие! Выходит, проще поучаствовать в подлоге, чем обрекать себя и многих своих коллег по несчастью на откровенную экзекуцию. Компромисс, вполне

^{*} КВР — комната для воспитательной работы.

оправданный компромисс! А на душе все равно гадкий осадок.

Для кого как, а для меня лично, из всего полуторатысячного населения нашей зоны, самый мерзкий житель — лагерный барыга Петруха. Говорят, эта фигура обязательная и необходимая на всякой зоне, говорят, что это далеко не худший вариант зла на подобном месте. Более того, персонально мне этот человек ничего плохого не сделал, а все-таки все равно он самый неприятный тип в нынешнем моем арестантском окружении. Я мало что о нем знаю, родом он, кажется, с Западной Украины, сидит по 105-й*, баптист. Братья-единоверцы с воли, здорово «греют» его. Однажды видел, ожидая в решетчатой клетке приехавших ко мне на длительное свидание жену и сына, как Петруха общался через ту же решетку с этими самыми братьями, приехавшими к нему, в свою очередь, на короткое свидание. Удивительный этот был диалог. Эдакий духовно-коммерческий винегрет. Молитвы (что-то очень похоже на православное «Отче наш», но с другими словами) чередовались там с фразами самого земного характера («А сколько майонеза привезли, я сто пачек просил, паштет не забыли? Почему сигарет так мало взяли, они тут так хорошо идут» и т.п.). Объем получаемой передачи превышал положенный лимит раза в три (общий вес в шестьдесят килограммов). Удивила и особенность ее содержания — стоблоков сигарет, сто банок паштета, двести тюбиков кетчупа и т.п., не оставалось сомнений — передача чисто барыжная, предназначенная не для себя, а для дальнейшей выгодной перепродажи или не менее выгодного обмена. По существующим тюремно-лагерным правилам каждый месяц Петруха отстегивает какую-то долю (думаю, достаточно скромную сумму) в общак зоны. Что-то

* 105-я статья УК РФ – «умышленное убийство»

он подкидывает локальщикам (это — «козлы», отпирающие и запирающие решетчатые калитки на локалках — локальных участках перед нашими бараками), что обеспечивает ему почти свободное передвижение по зоне; несомненно, что-то платит кому-то из представителей администрации, крышующих его бизнес. Всю остальную прибыль Петруха перегоняет на волю, что-то в семью, что-то единоверцам, выступающим в его коммерции партнерами, а возможно, и хозяевами, руководителями. Чужих денег считать не приучен, но не сомневаюсь, что с оборотом и с наваром у него полный порядок. Каждый рубль, вложенный в его махинации, оборачивается 20 % чистого дохода. Как-то поинтересовался я у него, можно ли обменять полученный в посылке блок сигарет «Честерфилд» (сигареты для зоны редкие и нетипичные, стоимостью более 60 рублей пачка) на «Святой Георгий» (один из самых ходовых в зоне сортов сигарет, столь необходимый для всех внутрилагерных расчетов, пачка стоит около 20 рублей). Естественно, я надеялся на обмен не менее два к одному (и мне удобно, и ему выгодно). Зря надеялся. Петруха заморгал своими светлыми ресницами, зашевелил губами и выдал свистящей скороговоркой: «За блок Честера — пятнадцать пачек Святого, по-другому не получается, иначе какой смысл...» Это к вопросу о чистом наваре, о его процентах, о его плюсах. Выходит, и зона — кому беда, кому — мать родная... Не слышал, чтобы кто-то контролировал аппетиты барыги нашего лагеря, следил за соблюдением им какой-либо порядочности в делах. Ходят слухи, что Петруха не прочь погреть руки на операциях с мобильными телефонами, с алкоголем. В это я не верю, уж слишком он трусоват для столь серьезного в здешних условиях бизнеса, да и кто его туда пустит?

Череп с очень узкими, едва обозначенными лбами. Череп со лбами, скошенными чуть ли не под 45°. Череп

с чрезвычайно выпуклыми надбровными дугами. Просто черепа откровенно дегенеративных форм и конфигураций. Какой обильный материал для кандидатских и докторских диссертаций антропологов, физиологов, криминалистов, психологов и психиатров! Бездна наглядного материала для изысканий в области теории врожденных преступников, концепции прирожденного убийцы. Более того, немалая часть окружающих меня людей имеют серьезные врожденные отклонения в развитии. Разумеется, нуждаются эти люди не столько в наказании, сколько в лечении, наблюдении, прежде всего в изоляции от основной человеческой массы. Еще раз убеждаюсь, что отсутствие разделения на нормальных и ненормальных здесь факт далеко не случайный. Еще раз убеждаюсь, что погружение людей нормальных в подобную среду — дополнительная мера наказания, и мера, похоже, слишком жестокая, откровенно бесчеловечная, ничем не оправданная. Верно, процент умственно отсталых, умственно неполноценных людей здесь велик, но в местной библиотеке то и дело натыкаешься на умные книги. Книги по философии, религиоведению, социологии, психологии, политологии, с рабочими пометками на полях, с удивительно тонко и четко выбранными для подчеркивания фразами. Фрейд, Кант, Ницше, Шопенгауэр, Конфуций, Макиавелли, Карнеги, Климов, Гумилев (тот, что историк, основоположник теории этногенеза), Ильин. В здешней библиотеке, которую посещаю в течение вот уже полутора лет, эти книги я вижу очень редко, почти всегда на руках, они всегда востребованы. Перелистываешь любую из них и понимаешь, что предшественники брали ее не для любопытства, не для пижонства, а для работы, для собственного умственного и душевного совершенствования. Выходит — не только «всюду жизнь», но и всюду разум, всюду биение мысли, работа головы, пусть ее обладатели облачены в арестантскую робу, и, я почти уверен, что процент арестантов мыслящих, читающих куда

выше, чем процент сотрудников администрации, вряд ли вообще когда берущих подобные книги в руки.

Прочитал последнюю запись с недобрыми словами в адрес тех, кто должен нас охранять и воспитывать, и покачал головой: погорячился, нельзя так озлобляться... Но откуда взяться интеллектуалам в персонале колонии, если оклады там более чем скромные, если работа требует присутствия с утра до вечера, если труд этот, мягко сказать, не очень престижен, если... Да что там говорить, снисходительнее надо быть, снисходительнее! Кстати, судя по информации о ситуации в других колониях (спасибо мобильной связи!), «положуха» у нас не самая худшая. Бывает, что и дураков в персонале встречается больше, и дерутся, бьют, наказывают куда чаще и куда более рьяно. Грех, словом, жаловаться, хотя и другое помнить надо: никогда (ни в эпоху ГУЛАГа, ни во времена царской каторги, ни в какие прочие периоды отечественной истории) профессия тюремщика, профессия тюремного острожника почетом и уважением не пользовалась. И не во всех компаниях этим людям подавали руку. Кстати, как коллекционер-фалерист могу привести очень любопытный факт по этой теме. В царской предреволюционной России, в продуманной, взвешенной до мелочей системе государственных наград существовала медаль для службы в тюремной страже. И это в одно время с медалью за службу в полиции. Где-то я читал, что тогда в России служившие в полиции настаивали, чтобы их не путали с теми, кто служит по «тюремной части».

По старым тюремным понятиям «мужик»* — центральная фигура на зоне, требующая уважения, под-

* «Мужик» — арестант, выходящий на работу, ничем себя не скомпрометировавший, поддерживающий общак и т.д.

держки, защиты. Так было в эпоху сталинского ГУЛАГа (подтверждений тому в литературе великое множество), так было и в современных лагерях, по крайней мере до недавнего прошлого. Во всяком случае, «воровские прогоны» (своего рода программные документы, регламентирующие все нюансы жизни криминального мира), с которыми приходилось знакомиться в московских СИЗО еще в 2007—2008 годах, продолжали тиражировать тезис об уважительно-главенствующем статусе «мужика». Теперь ситуация, похоже, радикально меняется. Боюсь, что наш лагерь в этой тенденции лидирует. И примеров тому, во всяком случае в масштабах нашего отряда, великое множество. «Мужикам», многим из которых уже за пятьдесят, спальные места определены на сквозняке в проходной секции (части барака в непосредственной близости от «обиженных»). И это в то время, когда третья секция, куда более теплая и комфортная, целиком отдана «козлам» (арестантам, добровольно вставшим на путь сотрудничества с администрацией, занимающим ставки малоуважаемых должностей завхоза, дневального и т.п.). Зато на каждом собрании отряда «смотрун» и прочие представители блатной иерархии настойчиво призывают «мужиков» «делать взносы», «перечислять», «помогать», «уделять». Речь идет о взносах на общак, на нужды тех, кто в изоляторе, в санчасти, в пользу тех, кто дежурит «на атасе», для тех, кто убирает в бараке, кто накрывает в столовой и т.д. и т.п. Верно, помогать неимущим надо. Правильно, делиться в тюрьме просто необходимо, но разве можно при этом «мужика», центральную персону лагерной жизни, стричь до «синевы», и это при наших зарплатах в сто рублей! Кстати, я просто не слышал о ситуации, когда тот же «блаткомитет» решил бы хотя бы один из актуальных для «мужика» вопросов (зарплаты, поощрения и т.п.).

Моя недавняя очередная свиданка, вместо предусмотренных законом трех суток, составила только двое. Решение принималось начальником отряда, с участием завхоза отряда. Завхоз — уже упоминавшийся персонаж моего нынешнего окружения, часто путающий украинские и русские слова, запоминающийся внешностью — все-таки 200 кг живого веса. Присутствовал и его зам — Алексей («козел», знакомый мне еще по лагерю в «Березовке», где он пытался подвизаться в библиотеке, то ли в качестве дежурного, то ли в качестве «шныря» при главном библиотекаре Василии В., «суперкозле», возглавлявшем актив всей зоны). Мои попытки отстоять свои трое суток с помощью общечеловеческих аргументов (едут издалека не блещущие здоровьем жена и сын и т.п.) приняты во внимание не были. Начальник отряда (также уже ранее упоминавшийся капитан Василиса) не поднимал головы от бумаг. Завхоз начинал клевать носом и откровенно похрапывал. Только рыжий Алексей затараторил отработанные: «Много желающих в этом месяце... на отряд выделили ограниченное количество дней, если не устраивает — можно перенести свидание на следующий месяц, возможно, тогда с днями полегче будет». Скрепя сердце согласился на «обрезанный» вариант встречи с семьей. Проглотил обиду, отчасти смалодушничал, возможно, надо было упираться, настаивать, требовать положенных трех суток. Свидания в полном варианте в этом случае я бы добился, но оно бы перенеслось на месяц позднее, таковы здешние незыблемые правила. Но продлевать на месяц разлуку с близкими не хотелось, да и кто знает, что может стрястись за этот месяц. Переменчива судьба арестанта — вдруг переезд, новый этап или, того хуже, какой-то «залет», по которому так легко угодить в изолятор.

Стоит ли рисковать? Короче, позволил украсть один день своего счастья. А чуть позже выяснилось, что свиданка

ние «козла» Рыжего, выпавшее чуть позже, чем мое, длилось... аж шесть суток!..

Скользнул взглядом по окружающим «декорациям», и только навскидку насчитал четыре вида решеток: фундаментальная, почти двухметровая решетка, отделяющая нашу локалку от прочего пространства зоны, не менее основательная решетка на пути к административному корпусу, решетка на подходе к промке, ажурная декоративная, но все равно железная, но все равно решетка, на окнах барака. Решетка как препятствие по перемещению по и без того ограниченному пространству. Решетка как составляющая часть пейзажа. Решетка как часть бытия. Решетка как составляющая часть наказания. Решетка — символ. Решетка — напоминание. Смысл этого слова для меня отныне будет всегда связан с неволей, насилием, унижением. Еще совсем недавно это слово имело для меня иной смысл. Услышав его, представлял не тюремные «декорации», а что-то историко-художественное. Например: ставшую всемирно знаменитой решетку Летнего сада в Петербурге. Узнаваемую решетку столичного Александровского сада. Решетку Кремлевского сада в Туле (малая моя Родина, город моей юности). Да, обстоятельства вносят в, казалось бы, устоявшиеся представления жесткие, необратимые коррективы.

Еще одна «мордобойная» новость. Двое моих соседей схлопотали по изрядной порции кулачно-пинковой педагоги. Хотя многие в отряде считают это наказание вполне заслуженным, если не сказать сознательно спровоцированным. Эти двое, вечно озабоченные своими телефонно-виртуальными шашнями с представительницами слабого пола, отправились фотографироваться (в качестве фото-

аппарата использовалась камера мобильного телефона) на фоне характерных лагерных достопримечательностей. Естественно, фотосессия была затеяна с расчетом на последующую пересылку дамам сердца. Кадр на фоне лагерной церкви (купола и вышки рядом — круто), кадр на фоне интерьера барака (сюжет спартанской обстановки непременно должен вышибать слезу у слабого пола). А вот кадр на фоне кухонного интерьера (просто экзотика для вольного человека) не получился. Какой-то сверхбдительный прапорщик застал участников фотосессии, что называется, «с личным» — за попыткой сняться на фоне котлов, столов, — и, разумеется, телефон изъял. Любители фотоэкзотики пытались спорить, пытались договориться за деньги. Бесполезно. То ли свидетелей было слишком много, то ли обещанные деньги были слишком малы. Затейный спор плавно перешел на «вахту», где любителей экстремального фотоискусства банально поколотили. Неоприходованный, незапротоколированный телефон, разумеется, остался на вахте как трофей. Скорее всего, через неделю-другую он всплывет в другом отряде как приобретенный кем-то из арестантов «по своим каналам».

Много, очень много можно сказать о человеке, услышав его смех. Не знаю, что говорят по этому поводу психологи и психиатры, но, мне кажется, что особенности смеха позволяют судить не только об уровне образования, воспитания и культуры человека, но и о его характере, психическом здоровье. Вот Леха Фрол смеется в любое время суток (это не преувеличение, он по ночам часто стоит «на атаке», бодрствует), по любому самому пустячному поводу. Расхожее выражение «покажи ему палец, он смеяться будет», кажется, адресовано именно ему. Смех неприятный: сиплый, с нервными перепадами. При смехе обнажаются передние зубы, неровные, желто-коричневые от злоупо-

требления цифирем. Именно когда Фрол смеется — обращаешь внимание, как неестественно велики у него белки глаз, как выпирают надбровные дуги его черепа, как мал и круто скошен участок лба от бровей до волос. Иногда вижу в его руках книги, исключительно в жанре фэнтези. Вот Серега Рыжий, он же Серега-артист. У него совершенно неповторимый смех. Какой-то горловой, почти тирольский, с невероятными переливами, коленцами. Иногда, кажется, что он может подавиться, захлебнуться собственным смехом. Он здорово смахивает на знаменитый персонаж из телевизионной экранизации шедевра М. Булгакова. Не обижается, когда его называют Полиграф Полиграфыч (впрочем, возможно, этого фильма он и не видел). Не обиделся он и тогда, когда я, не выдержав, сказал, что на том свете черти непременно заставят его слушать фонограмму собственного смеха. Возможно, смысл слова «фонограмма» ему просто непонятен. И в его руках достаточно часто бывают книги — исключительно в ярких обложках, с очень похожими названиями («Я — бандит», «Исповедь вора в законе», «Мечь Косого» и т.д.). И у него при смехе обнажаются зубы, правда, не такие коричневые, как у Фрола, но не менее широкие, истинно лошадиные. А еще при смехе у него часто вылетает изо рта слюна. «Ведет бактериологическую войну», «один грамм слюны Рыжего убивает лошадь или двух мусоров», — шутят соседи по проходняку*. Частенько звучит в эфире барака и смех Сереги Круга. Смех на первый взгляд-слух заразительный, по-детски непосредственный, переливчатый, но... когда Круг смеется — верхняя челюсть выдвигается вперед и нависает над нижней, а еще при смехе он часто начинает давать петуха, сбиваясь на фальцет, часто просто не может остановиться. Показательны и причины смеха — чаще всего пустячные, откровенно глупые. Слушаешь подобное и невольно

* Проходняк — участок барака, ограниченный двумя рядами двухэтажных коск.

вспоминаешь, что у Сереги неправильный асимметричный череп и более чем странная походка, не вразвалочку, а враскачку, с громадной амплитудой. Где-то я читал, что подобная походка — верный признак того, что в работе одного из полушарий мозга что-то серьезно неладно. Заодно вспоминаешь, что за все время (почти полтора года) нахождения с ним в одном бараке ни разу не видел в руках ни книги, ни газеты. К месту ли, нет, вспоминаешь, что у Сереги уникальная говорящая наколка, и в плане текста, и в плане места, для нее выбранного. На затылке, чуть ниже макушки, у него набито: «Бойтесь бляди, крыша едет!» Сами догадайтесь, как долго, и как громко, и с какими прочими особенностями может звучать смех человека, «украсившего» подобным образом свой череп. Неподалеку от меня базируется еще один мастер громкого смеха — Андрюха Макар. У него однообразный, очень тоненький, не сопоставимый с его более чем стокилограммовой комплекцией смех «хи-хи-хи-хи». Его смех я воспринимаю очень индивидуально. Почему-то сразу вспоминается, как еще год назад оказался свидетелем его разговора с матерью на коротком свидании (в той же, разделенной решетчатым коридором комнате, где я дожидался встречи с адвокатом). Даже не дослушав рассказа матери о последних семейных и деревенских новостях, он заволновался: «А что так мало сигарет с фильтром привезла? А почему колбаски не купила?» Матери ничего не оставалось делать, кроме как развести руками, нервно поправить платок и тихо спросить в свою очередь: «А ты забыл, какая у меня пенсия?» «Надо было занять, занять надо было, я от “Примы” кашляю, по колбасе соскучился», — не унимался Андрюха.

Самое поразительное, что этот самый Андрюха («хи-хи-хи»), Серега Круг (заразительно-переливчатый), Серега-артист (почти тирольский), Леха Фрол (просто сиплый смех идиота) часто смеются одновременно и очень громко. Не менее удивительно, а возможно, вполне естественно,

что среди людей, ныне меня окружающих, есть и вовсе несмеющиеся. Их я не видел смеющимися никогда, ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, я их понимаю.

На ближайшей к нашему бараку будке локальщика появилась вывеска-табличка: «Пункт Гласности. Открыт с 8 до 19». Что это значит и как это должно отразиться на нашей теперешней жизни, нам никто не объяснил. Домысливали сами. Наверное, предполагалось, что арестанты должны нести свои проблемы и горести в эту будку, чтобы сообщать об этом то ли дежурному (в будке есть трубка прямой связи с дежурным по зоне), то ли в приватной беседе кому-нибудь из пришедших сюда специально для этого представителей администрации. Ясно, что подобное нововведение не могло появиться без «благословения» каких-то больших начальников. Не менее ясно, что родилась эта инициатива не от большого ума. Локальщик на зоне не то чтобы неуважаемая, а откровенно презируемая должность. Да и как могут здесь относиться к зеку, добровольно и целенаправленно избравшему путь сотрудничества с администрацией? Чья лояльность по отношению к администрации доказывается регулярно «сливаемой» информацией о нарушителях всех сортов среди арестантов? Не секрет, что и сама будка всегда использовалась и используется как явочная точка для встреч и переговоров стукачей-арестантов со своими кураторами в погонах. По большому счету будка локальщика — символ всей подлости и гнусности, накопившейся и царящей в зоне, вечное предостережение и т.д. И вдруг — добро пожаловать с наболевшим сюда... в эту выгребную яму. Очень похоже, что автор этого нововведения просто не имеет ни малейшего представления о том, что такое зона, какие нравы и обычаи здесь царят.

Я крещен в младенчестве, в зоне стал еще более верующим, укрепился, как говорят, в вере. В церкви бываю регулярно, хожу туда не по причине стадного инстинкта, не со скуки, не для того, что бы покрасоваться на глазах у других, хожу по внутренней потребности. Именно здесь, за колючей проволокой, я стал понимать, что такое молитва, здесь я выучил несколько молитв наизусть (до этого, к стыду своему, не знал ни одной). Но ни разу за все три с половиной года (общий стаж моей неволи, включая столичные СИЗО) ни вслух, ни письменно, ни в молитвах не произнес слова «смирение». Признаюсь, даже не вспоминал этого слова. Видно, слаба пока моя вера. Или все мои испытания — только вступление к испытаниям будущим, куда более серьезным?

В ассортименте лагерного ларька нет сахара, когда-то был, потом запретили, в целях борьбы с брагоделаньем и самогонварением. Аргумент — глупость несусветная, и в посылках, и в передачах сахар получать можно. Да и что там получать, самое время вспомнить, что второе производство на зоне — меловое. Для расфасовки готовой продукции — мела — в зону регулярно поступает громадное количество мешков, как новых, так и бывших в употреблении. Во многих из последних хранился сахарный песок. Если подобный мешок тщательно вытрясти, можно получить от 100 до 400 граммов сахара. Пусть не очень чистого, пусть с крошками неведомого происхождения, с ниточками непонятной принадлежности, но... всё-таки — сахара! Впрочем, скорее всего, это не глупость, а вовсе наоборот. Меньше будут покупать сахар — меньше будут изготавливать суррогата (браги, самогона), больше будут пользоваться услугами алкогольных и наркологических барыг, бизнес которых в зоне процветает. Похоже, здесь и «зарыта собака».

Чтобы сойти здесь с ума, созданы все условия: предельно монотонный ритм жизни, замкнутое пространство, убогий пейзаж, отсутствие свободы как таковой. Скорее всего, эти условия «для сумасшествия» не просто сложились сами по себе в силу случайного сочетания многих факторов, а тщательно разрабатывались с привлечением самых серьезных, самых знающих и, понятно, самых недобрых специалистов. Эти условия определяют что-то вроде системы жесточайшего отбора на предмет этого самого психического здоровья. Понятно, что в «группу риска» входят в первую очередь люди с уже чуть поврежденной психикой (кто-то чем-то сильно болел, кто-то крепко пил, кто увлекался наркотиками и т.д.).

А результаты естественного отбора налицо. Самый свежий пример — Цыган из второго отряда. Знаю его еще по Берёзовскому лагерю. Тогда был он оглушен своим громадным (сам он считал, совершенно не оправданным) сроком — двенадцать лет (сбыт наркотиков в особо крупных размерах). Но был тогда он все-таки нормальным, выражаясь современным языком, полностью адекватным человеком. Однажды совпали наши долгосрочные свидания. К Цыгану приезжала жена, разумеется, жгучая брюнетка с шикарными кудрями. Я сталкивался с ним на общей для всех «свиданочных» кухне, перебрасывался пустячными фразами. Повторяю, был он тогда совершенно нормальным человеком. Ныне от этой нормальности не осталось и следа. Видел его на днях: полностью отсутствующий, смотрящий мимо всех и поверх всего взгляд, по-покойнически заострившиеся скулы и нос, зачуханная роба, грязные руки с черными ногтями, засаленная, превратившаяся в какую-то кривую нахлобучку ушанка. Последняя, с учетом нынешней сорокаградусной жары, смотрелась совершенно дико. На пятачке возле лагерной столовой Цыган собирал бычки и что-то неспешно рассказывал сам себе. Позднее узнал,

что вот уже несколько месяцев, как у него «поехала крыша». Сначала стал заговариваться, перестал следить за собой, потом начал «полоскаться», то есть активно общаться, вместе есть и пить чай с обиженными. С учетом прежде всего последнего был переселен в «петушину» часть барака. Словом, пропал человек. Ушел туда, откуда не возвращаются. Не первый и последний, разумеется.

Фемида. Богиня правосудия. Женщина с завязанными глазами (признак беспристрастности), держащая в одной руке меч (напоминание о неотвратимости наказания за всякое преступление), в другой руке — весы (этот предмет подчеркивает необходимость взвешенности и справедливости любого судебного решения. Устоявшийся в веках, понятный всем народам, символ Правосудия).

Очень похоже, что для России с учетом нынешних реалий этот образ надо радикально модернизировать. Весы нашей Фемиде, с учетом громадного количества выносимых несправедливых приговоров, просто ни к чему. В освободившуюся руку правильнее будет уложить второй меч, чтобы на манер японского ниндзя с двух рук ловчее было крушить судьбы неправедно осужденных людей. На тунику давно пора пришить пару вместительных карманов — для взяток и прочих подношений, которые в работе многих судей стали такими обычными. Ну и повязка на глазах с учетом всего вышеперечисленного — ныне уже чистой воды архаизм. Хотя ее все-таки можно оставить, ибо, помня о занятых руках, за нее удобно засунуть трубку мобильника (напоминание о телефонном праве, по которому судьи наши получают инструкции от начальства и прочих мира сего, кого карать, кого миловать).

Именно таким отсюда представляется образ отечественной Фемиды. Вспоминаешь об этом всякий раз, когда начинаешь ворошить дела нынешних своих соседей —

российских арестантов ХХІ века — и сталкиваешься то с откровенным нарушением, то с последствиями взяток и телефонного права, то с элементарной некомпетентностью, а то и с букетом всех перечисленных факторов.

Чего стоит одна только история с Пашей Ф., семидесятилетним здоровяком, угодившим на старости лет по стечению очень многих обстоятельств в убийцы. Задумал он в свое время установить в своем частном доме газовое отопление. Для необходимых работ нанял пару местных безработных. Увы, они эти самые работы выполнили из рук вон плохо: и технологию нарушили, и пожелания хозяина проигнорировали. Все это было учтено при расчете с ними. Поначалу все аргументы Паши (которому, кстати, за «специалистами» пришлось потом всю работу переделывать) они приняли, с уменьшенным гонораром, как говорится, «с глазами, к долу опущенными», согласились. Никаких претензий к Паше у шабашников на момент расчета не было.

Через неделю после того, как полученные деньги были пропиты, ситуация радикально изменилась. Работяги-халтурщики начали требовать вернуть якобы недоплаченные за якобы выполненную работу деньги. Еще и оскорбляли и угрожали при этом! Дошло до того, что однажды, уже глубокой ночью, работяги вломились в дом к Паше, подняли старика с постели и начали душить, требуя расчета. «Расчет» не заставил себя ждать. Крепкий старик раскидал нападавших, когда те ринулись в очередную атаку, начал отбиваться от них, используя трехлитровые банки с соленьями, что дожидались своей отправки в подвал. Понятно, голова одного из нападавших оказалась не такой крепкой, как угодившая в нее банка с квашеной капустой.

Конечно, Пашу Ф. арестовали, конечно, было следствие, конечно, был суд, результат которого, конечно же, был предсказуем. Потому что один из нападавших на старика имел очень мохнатую руку в прокуратуре, и в эту руку в нужный момент были вложены очень серьезные деньги. В поселке,

где разворачивалась в этот момент эта трагедия, все об этом знали. Знать-то — знали, да что толку! На суде так никто и не вспомнил, что действовал Паша Ф. в целях самообороны, что спасал не только свою жизнь, но и жизнь маленьких внуков, находившихся в соседней комнате, что нападавшие проникли в его дом без приглашения хозяина. Равно как никто и не вспомнил о трудовых заслугах подсудимого, его почетных грамотах, благодарностях, наградах. Получил Паша Ф. семь лет строгого режима... Для семидесятилетнего, не слишком здорового старика это почти то же самое, что смертный приговор с неразборчивой датой исполнения. Несложно представить, как выглядит Фемида для Паши: никакого намека на правосудие, объективность, беспристрастность... И таких, как он, в лагере великое множество.

Сосед по столу, за которым мы завтракаем, обедаем и ужинаем, обнаружил в утренней каше бритву, точнее, лезвие бритвенного станка разового пользования. Чудом не проглотил. Бритву увидел в самый последний момент уже в ложке, поднесенной ко рту. То ли чья-то нелепая неосторожность, то ли чья-то маниакальная забава. Впрочем, какая разница? Всем видевшим это стало не по себе. Обмена мнениями не последовало, остаток завтрака прошел в угрюмом молчании.

В нынешних условиях и обстоятельствах неряшливые, неопрятные, не следящие за собой люди особенно неприятны. Но более неприятны те, кто демонстрирует нездоровую, патологическую чистоплотность. Типичный пример подобного поведения — Александр М. Хронический алкоголик, убивший по пьяному делу сожительницу, отсидевший уже года четыре, но, похоже, так и не избавившийся за это время от последствий влияния зеленого змия на пси-

хику. В любое время, регулярно, почти круглосуточно, он стирает, полоскает, сушит, рассматривает на свет какие-то неопределенного цвета тряпочки, что служат ему то ли носовыми платочками, то ли полотенцами для ног, то ли еще какой-то гигиенической ветошью. Эту нехитрую работу он выполняет с особой сосредоточенностью, угрожающе посапывая, грозно посматривая по сторонам темными, полными гнева глазами. При этом передвигается мелкими, шаркающими, приставными шажками. Наблюдать подобное день, другой — мило и забавно. Видеть это каждый день (впрочем, и ночью тоже) на протяжении недели, тем более месяца, — реальный повод сойти с ума. Тем не менее терпеть надо и это. Соседей в тюрьме не выбирают. Да и не худший это сосед, в его руках я видел серьезные, заставляющие думать, книги. Доводилось слушать и его вполне здравые рассуждения по насущным проблемам нашего нынешнего бытия. Разумеется, в перерывах между его любимыми занятиями стиркой, полосканием, сушкой.

В отряде очередной шмон, «бессмысленный и беспощадный». Всех, кто не вышел на работу в это время, выводят в локалку. Полтора-два часа бригада прапорщиков-«шмонщиков» переворачивает наши кровати. Они копаются в тумбочках, перетряхивают сумки. Ищут «запреты», главным образом брагу и прочий алкоголь, мобильные телефоны и все, что имеет к ним хоть какое-то отношение (сим-карты, зарядные устройства и т.п.). Правда, не видел ни разу, что бы изъятие последних сопровождалось оформлением протокола, акта выемки и прочих необходимых документов. Зато нередки случаи, когда арестанты, утратившие в ходе шмона свои средства связи, договариваются со «шмонщиками», на коммерческой основе, разумеется. Оплата в зависимости от марки телефона. Тариф колеблется от пятисот до двух-трех и более тысяч рублей.

Похоже, что это специфическая особенность именно этой зоны. В зоне моего прежнего нахождения ничего подобного не практиковалось. Более того, каждый, у кого со шмона изымался телефон и все, что имело к нему отношение, почти автоматически получал от пяти до пятнадцати суток изолятора. Выходит, режим в здешнем лагере — более гуманный, более лояльный и более... продажный. Бывает, что один и тот же телефон изымается, выкупается, снова «отшманывается» и опять возвращается хозяевам по несколько раз. А у меня лично в ходе этого шмона изъяли, или, как тут говорят, «отмели» два кипятильника. Эти приборы не относятся к категории запрещенных, но мои кипятильники уже не раз побывали в ремонте, их внешний вид красноречиво свидетельствует об этом (что припаяно, что подлатано, что привязано). Короче, с точки зрения пожарной безопасности — они уже не безопасны, потому их и отмели. До тех пор, пока родные не пришлют в посылке новые, придется арендовать у соседей.

Оказывается, нынешний российский арестант имеет законное право получать сколько угодно раз в год посылки книжно-канцелярского содержания (книги, газеты, ручки, бумагу и т.п.). Выходит, в Березовке (месте моего прежнего нахождения-содержания) этот факт от меня тщательно скрывали представители тамошней администрации и на все мои вопросы по этому поводу, пряча глаза, бубнили «не положено» или угрюмо отмалчивались. А по закону, оказывается, положено! Главное, чтобы в этой посылке или бандероли не оказалось ничего лишнего: ни пачки сигарет, ни пары носков, ни плитки шоколада и т.д. — и чтобы книги и прочая печатная продукция не несли в себе ничего запретного (пропаганда экстремизма, национализма и т.п.). Правда, как представители администрации моей зоны будут выявлять в печатной продукции приметы этого запретного,

мне даже представить трудно. Слишком малограмотные, откровенно несведущие эти люди. Помню, каких хлопот и нервов стоило недавно объяснить мадам, выдававшей мне мое заказное письмо, что присланный мне номер газеты «Совершенно секретно» не содержит в себе ничего запретного. Помню, как тревожно подрагивал кончик ее носика, как нервно искали место руки с плохо сделанным маникюром, как нелепо звучали ее аргументы: «А вот тут про милицию написано: “Милиционеры — наркодельцы...” Это не положено... Это через отдел безопасности надо... Это...» Впрочем, проблемой кадров, что трудятся сегодня в российских колониях, пусть занимается УФСИН Российской Федерации. Придумывает для них тесты на интеллектуальность, на предельно допустимый уровень невежества, степень культуры, начитанность и т.д.

Прочитав Ломброзо, ощутил впечатление смешанное, интерес и легкое огорчение-разочарование. Последнее — оттого, что выводы, откровения, открытия знаменитого итальянца во многом совпадают с моими выводами, откровениями, открытиями. Выходит, мои откровения, открытия — уже не открытия. Обо всем этом Ломброзо уже сказал, написал, напечатал более ста лет назад. Обидно по-детски. Я наблюдал-наблюдал, смотрел-смотрел, жил-переживал — оказывается, все уже давным-давно сформулировано, разложено по полочкам. Удивительно, но среда, которую итальянский ученый избрал полем своей деятельности, несмотря на разницу во времени и в пространстве (пользовался он материалами, собранными в странах Западной Европы), и моя нынешняя здешняя среда во многом очень похожи (нравы, привычки, традиции). Принципиальная разница только в месте и статусе исследователя. Итальянец изучал все это со стороны в качестве ученого, а я сам — часть этой среды, плоть от плоти, кровь от крови...

Еще совсем недавно каждый арестант в России... имел свой номер. Об этом вечно будет напоминать знаменитая, растиражированная в невиданных масштабах фотография Александра Солженицына в эковском прикиде (на переднем плане, на груди — нашивка с этим самым номером). Тогда номер заменял арестанту имя, фамилию и все прочие характеристики.

Потом номера отменили. Скорее всего, на волне очередной «гуманизации» и «либерализации» под лицемерным предлогом, будто они обезличивают заключенных. У нынешних арестантов номеров нет. Нашивки остались. На нашивке положено указывать (наносится обычно расщепленной спичкой, макаемой в раствор хлорки) фамилию и номер отряда. Вроде бы... шаг навстречу личности. На самом деле — та же самая обезличка, о которой столько написано в мемуарах людей, прошедших ГУЛАГ. И насколько ее по отношению к нам, зекам XXI века, не уменьшилось. Редко кто (я имею в виду, конечно, представителей лагерной администрации, других людей мы здесь не видим) к нам обращается по фамилии. Вместо конкретной фамилии — абстрактное «осужденный...». Именно с ударением на втором слого. Вопреки элементарным нормам русского языка. «Осужденный, подойдите...», «Осужденный, встаньте в строй...» и т.д.

И все к этому привыкают. И всех это устраивает, как будто по-другому и быть не должно. Очередная иллюстрация к сформулированному системой и адресованному арестанту ярлыку: «Ты есть никто, и звать тебя никак...»

Та же тема иллюстрируется и табличкой, что украшает спинку каждой койки. Табличка несет чуть больше информации, чем нашивка. На табличке указывается не только фамилия-имя, но и отчество, год рождения, статья, по которой человек осужден, дата начала срока, дата

окончания срока. Впрочем, содержание надкроватной таблички и реальной биографии арестанта никто, похоже, не сравнивает. Потому и ошибок в крохотных этих текстах хватает. У кого-то буква в фамилии перепутана, кому-то срок неправильно указан и т.д. У меня лично, например, неверно указана дата окончания моего срока. При ее определении не учтено, что до дня суда, все время, пока длилось следствие, а это целые полгода, я так же был лишен свободы — сидел сначала в московском изоляторе на Петровке (знаменитые «Петры»), потом опять же в столичном изоляторе в районе Водного стадиона (не менее знаменитая «Пятерка»).

О неверной информации, содержащейся в тексте таблички, я как-то напомнил проходившему по бараку отряднику, печально известному всему лагерю своей тупостью, капитану Василисе. Тот равнодушно пожал плечами: «Никто здесь никого лишнего держать не будет, спецчасть за всем следит, а какие цифры указаны в табличке — без разницы...»

Ему, конечно, без разницы. Для меня же те цифры — лишние полгода моей и без того незаслуженной неволи, еще один символ произвола, жесткое напоминание о той липкой гадости, в которую не по своей воле угодил и от которой не просто будет отмыться.

В соответствии с нормами, инструкциями и положениями специальным распоряжением лагерной администрации нас перевели на зимнюю форму одежды. Собственно, вся зимняя одежда — это воспетая блатным фольклором ушанка («а я ушаночку поглубже натяну...») редкой по уродливости формы, рукавицы, телогрейка. Последнюю в связи с неминуемым приближением зимы оглядел и ощупал еще раз. И в очередной раз... поблагодарил судьбу за то, что свой срок отбываю здесь, в регионе почти южном,

где зимы куда добрей, чем зимы в Томске, Мурманске или Сыктывкаре.

Парадокс: климатических поясов в России немало, в каждом поясе, понятно, есть свои лагеря-зоны, а тип арестантской телогрейки... единый, без поправки на то, где теплее, где холоднее. С точки зрения больших начальников главного тюремного ведомства страны, некогда утверждавших образцы зимней тюремной одежды, зима у нас везде ласковая, одинаковая и для Краснодарского края и для Архангельска. Обрядить бы этих начальников в эти телогрейки и отправить зимовать куда-нибудь за Урал. Для более основательного изучения темы, что является главной в их службе и работе.

Важная и отрадная примета — в зоне есть свой православный храм. Деревянный, уютный, очень похожий на миниатюрные храмы-близнецы, что появились в последние годы возле многих станций столичного метро. Иногда, по пятницам и в кануны больших церковных праздников, здесь служит настоящий батюшка, видимо «прикрепленный» сюда церковным начальством из какого-то близлежащего «вольного» храма. Во все прочие дни делами здесь заправляет арестант. Читает по церковным книгам что положено, повторяет вслух, напоминает, согласно православным календарям, особенности каждого дня.

Не знаю, как можно охарактеризовать его деятельность с точки зрения церковных канонов, но, по сути, он «работает батюшкой», служит. Разве что не исповедует и не причащает. И это несмотря на то, что в священники его никто не рукополагал, что вместо облачения на нем тюремная роба, да и подробности его «делюги» (убийство с отягощающими обстоятельствами) таковы, что каяться ему самому, кажется, надо еще очень долго. Тем не менее здесь он на своем месте и польза, которую он приносит лагерю,

несомненна. В положенное время храм всегда открыт для всех желающих, внутри чисто и уютно, собранные книги и журналы духовного содержания имеют все основания называться библиотекой.

Конечно, кто-то приходит сюда просто за компанию, кто-то от избытка свободного времени, кто-то из любопытства, но гораздо больше тех, кого приводит строгая внутренняя необходимость. Верно, в душу каждого не заглянешь, зато можно заглянуть в глаза, в лица. Много светлого и высокого можно увидеть там. При этом мало кто из постоянных прихожан храма согласится поучаствовать в разговоре на тему веры и религии. Наверное, так и должно быть, ибо «вера», «грех», «раскаяние» — понятия для любого человека очень сокровенные. Для арестантов они сокровенны вдвойне. Верно, у каждого своя дорога к храму. И прямых дорог в этом случае не бывает.

Удивительно, что среди посетителей лагерной церкви я ни разу не видел представителей администрации зоны. Удивление более чем обоснованно, потому что в месте моего прежнего пребывания — в Березовском лагере — как минимум полдюжины офицеров и прапорщиков регулярно заходили в местный храм, ставили свечи. Прикладывались к иконам (иконы там были замечательные, в основном резанные из дерева, сделанные руками мастеров-арестантов). Не думаю, что тамошние мусора набожнее здешних. Просто в Березовке тон задавал замполит полковник У., а прочие, по сути его подчиненные, просто обезьянничали, зарабатывали лишние очки в его глазах в соответствии с новыми веяниями времени.

Кстати, березовский замполит переступал порог храма, брал в руки свечку и прикладывался к образам, максимум через пять минут после того, как в тех же руках держал «матюгальник», через который всякий раз обращался к построенному на плацу «спецконтингенту» (арестантам, населению лагеря) с традиционными «эн-

цикликами». В старом моем блокноте сохранились тексты некоторых из них. Вот одна из них, вполне типичная, вполне показательная: «Курите, б..., где угодно, бычки бросаете, где хотите, увижу, б..., кого, застану, б..., эти бычки, б..., жрать заставлю!...»

И почти следом — в храм. Благоговейное топтание икон, почти влажные умильные глаза, вдохновенное бормотание. Церковный «шнырь» услужливо подает свечечку. Свечечка торжественно возжигается и устанавливается у подсказанного тем же «шнырем» образа. Такая вот административно-матерная «симфония»! Дивный синтез из политико-воспитательной работы и православия с учетом специфики обстановки и аудитории.

В здешней же администрации фигуры типа полковника У. пока не обнаружилось. Потому и «дорогу к храму» никто из местных «мусоров» просто не знает. Правда, крестики на крепких шеях некоторых из них я видел. Впрочем, крестик и вера — далеко не для каждого составные части единого целого. Хорошо, что эти люди хотя бы не мешают нам, арестантам, посещать тот же храм.

Иногда (особенно ночью, когда не спится, когда внезапно просыпаешься, когда возвращаешься после второй смены) ощущаешь удивительную способность смотреть на себя самого и на обстановку, в которой пребываешь, со стороны. В такие моменты пространство барака представляется чем-то очень материальным (где материальны даже запахи и звуки), плотным, слоеным: слой мата, слой табачного дыма, слой табачного дыма — слой мата. А еще этот «пирог» щедро пропитан... бедой — тяжелой, черной, липкой, вечно здесь присутствующей и постоянно о себе напоминающей. Беда — тоже материальна, осязаема, она исходит от каждой присутствующей, сидящей, лежащей, двигающейся фигуры. Существовал бы прибор типа «бе-

дометр», позволяющий замерять концентрацию беды в отдельно взятом помещении, его в нашем бараке точно бы зашкалило, заклинило, разорвало...

Мужской гигиенический набор, который раз в месяц нам выдают, — это не просто прозрачный пакет, в котором кусочек мыла, тюбик зубной пасты, набор одноразовых станков для бритья и рулончик туалетной бумаги. Это — свидетельство и доказательство. Свидетельство малочеловеческого отношения к нам со стороны государственных структур (а значит, и всего государства), регламентирующих жизнь нашего лагеря. Доказательство недалёковидности и откровенной тупости людей, руководящих системой, в недрах которой мы, российские арестанты, ныне по тем или иным причинам пребываем.

Впрочем, стоп эмоции! Чтобы доказать два вышеозначенных тезиса, не надо демонстрировать мастерство владения логикой, выстраивать системы аргументов. Достаточно просто описать содержимое упомянутого пакета.

Итак, в набор входят:

Мыло туалетное 25 г, это приблизительно такой же по объему и массе кусочек, что в зарубежных, а ныне и в российских отелях выдают постояльцам на сутки. Самое время вспомнить, что мы — не праздные гостиничные гости, а арестанты, потеющие и пачкающие руки, а еще мы выходим на работу, и, как бы плохо ни была она организована, душ с мылом после нее просто необходим. С учетом всего этого двадцатипятиграммового кусочка мыла хватает в лучшем случае на два дня.

Зубная паста в бело-голубом тюбике, 30 г. Не берусь судить о ее качестве (кажется, вполне нормальная паста, хотя приходилось слышать оценки, будто очень «ядренная»). Другое дело — объем. По сути 30 граммов — это менее одной трети стандартного тюбика зубной пасты, которого средне-

статистическому взрослому человеку при двухразовой (как рекомендуют специалисты) чистке зубов хватает менее чем на месяц. Здесь и комментировать нечего.

Туалетная бумага. Рулончик 25 метров. Сказать, что этих двадцати пяти метров хватает на месяц для человека, обладающего даже сверхздоровым желудком (таковых среди арестантов, отсидевших хотя бы год, не наблюдается), — значит ничего не сказать.

Венчает содержимое гигиенического набора — упаковка разовых бритвенных станков, кто пользовался ими — знает, что туда вместо лезвий, похоже, вставлены нарезанные на аккуратные прямоугольники, но при этом вовсе не заточенные кусочки консервной крышки. Конечно, при большом желании можно побриться и такими станками. При еще большем желании можно побриться и осколком стекла. Вот только для чего подобные эксперименты? Разве не XXI век с айфонами и инновациями на дворе?

К тому же в упаковке этих самых станков-живодеров всего шесть. Даже если этот разовый (!) станок использовать дважды и бриться через день, что в условиях строгого режима чревато наказанием (за неопрятный внешний вид), — все равно этих станков на месяц никак не хватает.

О чем и чем думали, чем руководствовались оч-чень серьезные люди в погонах, определявшие содержание и содержимое этих наборов, я даже представить не могу. Непременно сберегу пару подобных комплектов, сделаю все, чтобы в целости и сохранности передать, вынести, переправить их на волю. Там они очень пригодятся. Как убийственный материальный аргумент в разговоре о гуманизации и либерализации современной тюремно-лагерной системы. Точнее, как доказательство отсутствия подобных процессов в этой самой системе. Если подобный разговор состоится, не надо будет произносить речей, подбирать аргументы, вообще не потребуется говорить никаких слов. Достаточно будет обмотать собеседника двадцатью пятью

метрами причитающейся нам ежемесячно туалетной бумаги, вложить в одну руку этому человеку обмылок, гордо именуемый мылом туалетным, в другую руку сунуть микроскопический тюбик пасты, а в довершение ко всему попросить этого собеседника сию же минуту попробовать побриться одним из упомянутых выше станков — уверен, разговор на этом и закончится!

Кстати, за этот самый живодерно-лилипутский комплект у арестанта, выходящего на промку, вычитают (выворачивают — говоря сочным тюремным языком) из и без того куцега заработка пятьдесят с лишним рублей. Разумеется, в принудительном порядке, согласия арестанта на это никто не спрашивает. Словом, вот она, демократизация, вот она, либерализация!

Уверен, на том свете чиновников из главного тюремно-лагерного ведомства, утверждавших содержание и содержимое подобных наборов, непременно отправят в... ад. И обяжут вечно пользоваться тем, что вошло в подобные наборы. Представляю, как черти будут брить толстых «полканов» и генералов из Российской федеральной службы исполнения наказаний станками-живодерами!

Помог соседу в написании «подметного» письма. Впрочем, почему «подметного»? Он готов поставить свою подпись под этим документом, в нем ничего не придумано, просто я помог человеку изложить ситуацию в соответствии с нормами русского языка, подсказал правовые акценты, которые он самостоятельно в силу своего весьма скромного образования и последствий хронического многолетнего алкоголизма никогда бы не смог расставить. Содержание документа, адресованного начальнику колонии полковнику внутренней службы Чесалину говорит само за себя:

«20 октября 2010 года начальник 9 отряда капитан внутренней службы Васильев в присутствии свидетелей, без

объяснения причин сорвал со стены бумажную икону с изображением Иисуса Христа, скомкал ее и бросил на пол.

Прошу Вас:

а) объяснить Вашему подчиненному неправомерность и недопустимость подобных действий;

б) оградить меня и моих соседей от повторения подобных действий, грубо противоречащих существующим конституционным и правовым нормам;

в) принять во внимание, что в случае повторения подобных действий, я буду вынужден в установленном законом порядке обращаться за помощью в соответствующие инстанции и учреждения».

Число, подпись.

Согласно существующему регламенту эту бумагу сосед отдал в руки вышеупомянутого начальника нашего отряда капитана Васильева. Так положено, и соблюдение этого положения от нас требуют неукоснительно. Реакцией последнего была откровенная, почти женская, истерика. Он то вызывал к себе автора документа и выкрикивал ему в лицо вопросы: «Ты? Чего хотел? Кто тебя научил? Кто это писал?», то отправлял его обратно, потом вызывал его снова и повторял вопросы уже в обратном порядке. Увы, довести дело до конца и добиться, чтобы указанное послание попало в руки главного адресата — начальника зоны, у моего соседа духа не хватило. Годы активного алкоголизма бесследно для волевых качеств не проходят. Благородный порыв добиться справедливости сменился в нем более привычной, сонной безвольной апатией («Куда идти? Чего требовать? Зачем? Ведь и так уж не все так плохо»). Зато отрядник моментально этим воспользовался, составленную при моем деятельном участии бумагу моментально «потерял». Правда, наш проходняк он стал обходить стороной. К великой радости всех там обитающих. И формального автора известного документа просто перестал замечать. К еще большей радости последнего. Это победа! Велика сила не только печатного, но и рукописного слова!

Тысячу раз прав тот, кто когда-то заметил, что для зека хорошей погоды не бывает. Для него в любое время года любая погода — плохая, любая погода приносит болезни, страдания, хлопоты, унижения. Кончающееся лето было отмечено жарой. Небывалой! Бьющей все рекорды! Соответственно, жаре сопутствовали мухи, духота, и та особенная тюремная вонь, что непременно присутствует в помещении, где собирается много людей, лишенных свободы, независимо даже от того, как часто они посещают баню. К тому же эти люди привыкли курить в помещении, где спят, там же с удовольствием харкают себе под ноги, порою забывают своевременно стирать свои носки. Другой неразлучный спутник жары в наших условиях — простудные заболевания всех видов. Причина проста, как меню арестанта: оглушенные жарой зеки хлебуют почем зря воду из-под крана, обливаются той же далеко не теплой водой, подставляют разгоряченные тела под сквозняки, которых в любом бараке более чем предостаточно, понятно, столь резкие перепады температуры оборачиваются ангиной, гриппом и всякими ОРЗ. В санчасть обращаются только самые настойчивые, самые терпеливые, наиболее привыкшие к унижению, хамству, незаслуженным обвинениям и упрекам. Да и как иначе, ведь в каждом приходящем туда арестанте лагерные медики видят исключительно симулянта, стремящегося во что бы то ни стало выхлопотать себе освобождение от работы. Другая причина тщетности обращения к лагерным медикам за помощью — отсутствие в санчасти медикаментов. «У нас этого нет, мы этого не получали, у нас это уже кончилось», — дежурные объяснения по этому поводу. Всерьез подобные аргументы никто не принимает, по зоне давно гуляют слухи, что все поступающие сюда медикаменты разворовываются, сбываются налево. Так это или нет, никто из нас, наверное, никогда не узнает, но факт остается фактом: лечить в местном лаза-

рете, где нам никогда не рады, по сути, нечем. Лучшее универсальное лекарство в наших условиях — собственная воля, самовнушение. Так и выживаем!

Верхнюю койку справа от меня занимает узбек Эркин, имеющий привычку скрипеть зубами во сне. Подобные звуки к категории тихих, тем более приятных, никак не относятся. Такое впечатление, что зубы его сплошь из нержавеющей стали и жуёт он часов по 15 в сутки (во сне он проводит все свободное от работы, построений и приема пищи время) исключительно гвозди и колючую проволоку. Койка под Эркеном принадлежит Сереге Н. Хороший парень. Вот только чай пьет (скорее заглатывает) с невероятным клокотанием, присвистом и бульканьем. На верхней койке, прямо надо мной, располагается Саша Морячок, у него непреодолимая потребность сморкаться едва ли ни каждые пять минут, справедливости ради замечу, что сморкается он в платок (а не в два пальца, как многие мои нынешние соседи), к тому же регулярно стираемый. Но звуки, издаваемые при этом, от этого более приятными не становятся. Еще рядом обитает Костя Боцман. У него уникальная способность, едва коснувшись подушки, начинать храпеть в какой-то агрессивно-звериной манере с рыканьем, вибрирующим рокотом и злобным шипением. По соседству живет еще один узбек, настоящее его имя мало кто способен произнести, но сам он охотно отзывается на русское имя Федя. И за ним пунктик. Забывает вовремя сходить в баню и стирать свою одежду, потому и попахивает откровенно... мочой. Чуть дальше занимает «пальму» (так на тюремном арго называется верхнее место двухъярусной кровати) Паша К., человек почти интеллигентный, но очень часто ужинающий среди ночи со всеми вытекающими звуками (скрежет открываемых консервных банок, хруст кусаемой луковицы, плюс до боли знакомое раскатистое чавканье),

которые он выдает за признаки недюжинного аппетита. А еще добрая половина моих близких соседей предпочитает курить, не покидая своего спального места, двое спят, не раздеваясь и забывая регулярно стирать носки, один кричит по ночам, один разговаривает во сне на родном гор-танном языке. Вот уж действительно: великое искусство жить и уживаться среди людей и умудряться видеть в них не только то, что в первую очередь бросается в глаза!

Психолог колонии, женщина в звании майора, тестировавшая моего знакомого чеченца, позволила себе в разговоре с ним бесцеремонное откровение: «Вот после Отечественной войны 60 с лишним лет прошло, а немцев мы до сих пор не любим. А у вас там, в горах, война и не кончалась, русских почему зря режут. За что вас любить?» Очень похожую позицию занимают и многие представители администрации зоны. Моему соседу, опять же чеченцу, Мусе М., пытавшемуся добиться хотя бы каких-то разъяснений по поводу собственного зачисления в разряд «склонных к побегу» (так называемых носителей красной полосы, чьи фотографии на специальных стендах, чье местонахождение проверяется регулярно и т.д.), высокий лагерный чин ровным, без всякого раздражения голосом пояснил: «А ты родом откуда? Ага! А по национальности ты кто? Вот тебе и все ответы на все твои вопросы по поводу полосы и всего прочего». Удивительная откровенность! Действительно, цинизм — высшая форма искренности.

Уже не раз замечал, что в неволе совершенно иное ощущение времени, оно течет не по календарному, а по какому-то совершенно иному руслу. И вехи его отсчета совершенно другие, ни с временами года, ни с днями недели ничего общего не имеющие. Недель с традиционны-

ми выходными, с субботами-воскресеньями здесь не существует. Какие выходные, какие субботы-воскресенья, когда все подчиняется графику работы. Четыре дня с утра — выходной, четыре дня с пяти — выходной, четыре дня в ночь — выходной, разумеется, день и ночь при таком графике — понятие совершенно условное. А главные приметы недельных циклов здешней жизни — крутое яйцо и кусок жареной рыбы на ужин по субботам, микроскопическая, диаметром аккурат в пятак советских времен, котлета в обед по средам. Дни бегут, недели мчатся, месяца проносятся, но стоит сопоставить прошедшее время с оставшимся до конца срока — понимаешь — время стоит на месте. Мистическая чертовщина! Происки «князя мира сего». Разумеется, есть здесь другие вехи отсчета времени — свидания (раз в четыре месяца), посылки (раз в три месяца), но... не ко всем сюда приезжают и далеко не всех «греют» с воли. По всем признакам календарь для арестанта — вещь условная.

Крысятничество* по тюремным понятиям — тяжкий строго порицаемый и жестоко наказуемый грех. То ли времена наступают другие, то ли наша зона — особенная, но крысятничество здесь не просто существует, оно процветает, им пронизан весь наш быт. Воруют в первую очередь продукты и сигареты. Воруют из «общакового» (предназначенного для общего пользования) холодильника, что стоит в комнате для приготовления пищи, воруют из наших сумок, что хранятся в кладовой, воруют из прикроватных тумбочек. Вот и у меня из баула, что находился, согласно существующему здесь порядку, в кладовой, исчезли пакет растворимого кофе, плитка шоколада, несколько пачек сигарет. Я не курю, но без сигарет в здешних условиях не

* Крысятничество — воровство у своих, у заключенных.

обойтись. Они необходимы для регулярных взносов в «фонд общего потребления», для оплаты хлопот заготовщиков (то есть тех, кто накрывает на стол к завтраку, обеду и ужину), уборщиков (тех, кто подметает и моет наш барак), «атасников» (тех, кто круглосуточно дежурит у входа в барак и предупреждает о появлении всякого сотрудника администрации). Материальные потери ощутимы, но терпимы (сигареты придется у кого-то занимать до «ларька», без шоколада обойдусь, кофе придет в ближайшей посылке). Куда серьезнее потери морального плана. Всякое воровство в условиях, подобных нашим, в условиях ограниченного пространства, в условиях «закрытого» мини-коллектива чревато осложнениями внутреннего климата. Всякий пострадавший начинает подозревать кого-то из окружающих. Последние, так же страдая от чьих-то «проворных» рук, платят ему взаимностью и т.д. Словом — цепная реакция, итогом которой — тяжелая атмосфера всеобщей подозрительности, недоверия, недоброжелательности. На всякий случай пытался что-то узнать по поводу пропажи у Рыжего Лехи («козла», что просиживает в этой самой каптерке, где хранятся наши сумки, едва ли не сутки напролет). Тот только развел руками и произнес обтекаемое: «Ну что же, мне за каждым баулом персонально смотреть?»... Конечно, за каждым баулом смотреть невозможно, но в прежней зоне моего нахождения подобных случаев не было, за это там спрашивали. За это там наказывали. Проблема крысятничества всплывала на регулярных собраниях «порядочных» (не запятнавших себя сотрудничеством с администрацией) арестантов нашего отряда, на коллективном чае-, точнее чифиропитии. Реакция «смотрюна» (неформального лидера отряда, ставленника «блаткомитета» зоны, призванного смотреть за порядком во всех его видах) была, «мягко сказать», сдержанной. «Нехорошо это, смотреть надо, ловить надо, давайте повнимательней будем, я же за всем этим не услежу»... Тут же один из его подручных предложил упол-

номочить кого-то из «козлов» персонально понаблюдать за шкафами, стеллажами, баулами, холодильником и т.д. На это, разумеется, придется в следующий раз скинуться на чай и сигареты. За хлопоты, так сказать. Почти как в басне про щуку, которую бросили в реку...

Мобильный телефон прочно и необратимо вошел в жизнь современного зека. С его помощью общаются с родными, близкими, любимыми, знакомятся с будущими женами, узнают новости из других зон, корректируют усилия адвокатов, выбивают образовавшиеся еще до посадки долги, да много чего еще делается с его помощью в нынешней арестантской жизни. Правильнее сказать, без мобильного телефона в этой жизни вообще уже ничего не делается. Потому и слух о грядущей кампании по глобальному изъятию у заключенных средств мобильной связи, план которой якобы давно созрел в недрах главного российского тюремного ведомства, не на шутку всех взбудоражил. Наивные российские зеки! Неужели они забыли, что «затягивание» мобильных на зону, равно как и возвращение изъятых в ходе «шмона» телефонов, для многих сотрудников тюремной администрации остается важнейшей статьей дохода, по сравнению с которой официальная зарплата со всеми надбавками, премиями, пайковыми и т.д. выглядит весьма бледно. Известно и другое. Для «оперов» прослушка разговоров, что ведутся по мобильной связи (как с использованием современных технических средств, так и с использованием услуг многочисленных помощников-стукачей), была, есть и, несомненно, еще долго будет очень важным источником информации о всех настроениях в арестантской среде, о возможных планах побегов, случаях массового неповиновения и прочих нарушениях. По сути, мобильный телефон на зоне играет двойную роль. С одной стороны — это объект охоты для людей в погонах с эмб-

лемами УФСИН на рукавах. С другой стороны — их же неоценимый помощник и надежный рычаг во многих делах и заботах.

В одиннадцатом «инвалидно-стариковском» отряде очередная смерть. Умер бывший завхоз, казалось бы, еще очень крепкий старик. Не знаю его имени и фамилии, но хорошо помню, как регулярно приходил он к нам на барак к кому-то из земляков, звонил по мобильному, разговаривал с родственниками. Помню его властный голос, которым он отдавал приказы-рекомендации по содержанию очередной посылки. Помню удивительную гремучую смесь русских и украинских слов, на которой он изъяснялся («сала не трэба, еще есть, мед — обязательно, чай — маю, есть пока, чеснок, как всегда, возьми у Нинки-соседки, у нее в этом году уродился гарный...»). Говорят, что было ему уже слегка за семьдесят, что была у него на воле любовница вдвое моложе, что до последнего дня он надеялся что-то разрулить в своей «делюге», «откусить» часть срока, куда-то писал, кому-то жаловался. Отписался, отжаловался... Умер он легко. Во сне. Заснул и не проснулся. Уже остывшее тело обнаружили после подъема, перед проверкой, вынесли на брезентовых носилках, а ближе к обеду на его опустевшей койке уже сидели соседи. Пили чай, говорили о чем угодно, но к бывшему хозяину никакого отношения не имевшее. Еще в Березовке, еще два года назад я обратил внимание, как поразительно безучастно относятся зеки к смерти себе подобных. Вот еще один пример подобного явления. Что за этим? Очередное свидетельство тюремного оскотинивания или особая форма проявления инстинкта самосохранения в нынешних непростых условиях (не надо тратить эмоции на потусторонние, второстепенные факторы, все оставить для себя, дорогого)? Не берусь судить!

На работе каждый день мы имеем дело с мешками, пакетами, нитками, пленкой. Полипропилен, полиэтилен, прочие, неведомые мне синтетические материалы. Сплошная химия! Сырье, с которым имеем дело, издает специфическое амбре. От этого запаха першит в горле, слезятся глаза. А еще обратил внимание, как подозрительно долго заживают царапины, порезы, потертости у тех, кто работал с этим сырьем. Надо непременно нарезать мелких кусочков-образцов всех этих мешков, пакетов, перенаправить их на волю, попросить друзей организовать экспертизу образцов сырья. Не удивлюсь, если химический состав этих материалов входит в перечень вредоносных компонентов, вызывающих ряд таких страшных заболеваний, как астма, рак, туберкулез. И по всем санитарно-гигиеническим нормам работа с такими материалами должна сопровождаться строжайшими требованиями безопасности или запрещена вовсе. Самое время вспомнить, что даже нормальной вентиляции в нашем цехе нет. Впрочем, все это вполне логично. Официально признать производство, в котором мы работаем, вредным — значит менять систему оплаты нашего труда, менять нормы нашего питания, менять много еще чего. Администрации, понятно, все это невыгодно.

Начинает казаться, да что там казаться, я уверен, абсолютно уверен в этом: для нормального, думающего, совестливого и волевого человека время, проведенное в тюрьме, в лагере, на зоне, вовсе и не вычитается, не вычеркивается, не вымарывается из жизни. Оно просто раздвигает эту жизнь, по сути, эту жизнь продлевает. Пример для ясности и наглядности: предписано человеку прожить, скажем, семьдесят лет, но в пятьдесят он огребает «по беспределу» пять лет этих самых лагерей. Разумеется, общая продолжительность его жизни после этого непременно должна

составить уже семьдесят пять лет. Правда, нельзя забывать, что подобное правило распространяется только на нормальных, думающих, совестливых и волевых.

Новость, неожиданная и грустная. Мусора* избили Кирюху Белого. Москвич, девятнадцати лет, из хорошей семьи, спутался с дурной компанией, закрутился, запутался, в итоге — ст. 111 УК РФ, 8 лет строгого режима. Вечером, за час до отбоя, его вызвали на вахту (так называется здесь комната дежурного), где он получил изрядную дозу лагерной прикладной педагогики. Пятеро прапорщиков били его руками, ногами, резиновыми дубинками. Били старательно, тщательно, изобретательно, профессионально — чтобы было больно, но не было синяков. Возвращался Белый шатаясь, опираясь на плечо соседа-семейника, специально отправившегося его встречать. Поводом для экзекуции стал инцидент несвоевременного построения отряда на ужин. Когда построение почти закончилось, двум прапорщикам, оказавшимся поблизости, приспичило проверять наш внешний вид. Те, у кого обнаруживалось что-то, не соответствующее лагерным нормам (вязаные шапки вместо казенных ушанок, кроссовки вместо гулаговских башмаков), отправлялись в барак на переодевание. Понятно, процедура построения из-за этого здорово затянулась. Ожидание без движения на морозе с ветром — удовольствие сомнительное, вот и сдали у Кирюхи Белого неокрепшие нервишки, психанул, как здесь говорят, крикнул из гущи рядов отряда: «пидорасы!» Разумеется, добровольные информаторы его почти тут же и сдали. Уже через полчаса Белого выдернули на вахту, где и состоялся «сеанс вразумления». Любопытно, что делегация из «кремля» (отряд № 2, где базируется местный «блаткомитет») во главе со

* Мусора — сотрудники администрации колонии.

смотрящим за лагерем, по сути приняла позицию мусоров. В коротком разговоре с теми, кого удалось на тот момент собрать в КВРке*, звучали вкрадчивые фразы о том, что «не надо провоцировать», вдруг это «вредно общаку», «зачем выпендриваться». О синяках и ушибах, полученных Белым в тот вечер, никто не вспомнил. Похоже, нынешний блаткомитет в этой колонии — всего лишь послушное орудие в руках администрации. Вывод горький, но очевидный. А красивые слова об арестантском братстве и солидарности — это для юнцов, заглотивших наживку блатной романтики.

Когда человека, попавшего в тюремную беду, кто-то попытается жалеть, самая правильная, самая мужская реакция на это — стремление продемонстрировать, что у него все нормально, что никакой трагедии в случившемся нет. И наоборот, когда он сталкивается с тупо деревянным непониманием особенностей его нынешнего бытия, в нем непременно просыпается желание получить всю дозу сострадания и жалости. И это так, кто бы ни пытался говорить или демонстрировать что-то обратное. Своеобразная иллюстрация закона единства и борьбы противоположностей. В этом — и слабость человеческая, и проявление особой формы способности человека приспособливаться к новой обстановке, выживать в экстремальных, сверхэкстремальных условиях. Наверное, и я здесь не исключение. Впрочем, ощущение и восприятие тюрьмы — процессы все-таки индивидуальные, очень личные, почти интимные.

По пути на работу (на входе в промку) и по пути с работы (на выходе с промки) каждого из нас обыскивают. Не то чтобы очень тщательно, но основательно. Перед контро-

* КВР — комната воспитательной работы.

лерами мы должны предстать в расстегнутой телогрейке с поднятыми руками. Содержимое карманов — пачка сигарет, носовой платок (очень у немногих имеется в наличии), расческа (еще более редкий предмет лагерного обихода), «замутка» чая и т.д. Все это мы должны предъявлять добровольно — высыпать в шапку или даже просто в ладони — в противном случае все, что имеется в карманах, производящий обыск контролер очень даже может выбросить в приспособленный под урну стоящий рядом железный ящик. Лагерная этика строго-настрого запрещает подбирать любые выброшенные в мусорку предметы. Контролеры и прочие представители администрации болезненно настаивают, что эти процедуры называются не обыском, а досмотром. Нам же от этого — ни жарко ни холодно. Что обыск, что досмотр — те же ощупывания, те же охлопывания, та же паскудная возня чужих недобрых рук по твоему телу. Арестанта, показавшегося подозрительным, подвергают более основательному то ли обыску, то ли досмотру: просят снять обувь, иногда даже носки, могут попросить снять любой предмет одежды. Говорят, что так положено, что за всем этим — требования инструкции, что так всегда было и так всегда будет. Очень может быть. Вот только как соотносится эта самая инструкция с элементарным здравым смыслом? Что можем мы пронести на промку из барака? Ни-че-го. Что можем мы вынести с промки? Полипропиленовые пакеты? Обрывки синтетической веревки? Прочие фрагменты сырья, с которыми имеем дело каждую смену? Этого «добра», вынесенного в свое время нашими предшественниками, и без того в бараке хватает. Тем не менее... Положено... Инструкция... А значит, снова чужие руки «путешествуют» по твоему телу.

Присматриваюсь, прислушиваюсь к людям, ныне меня окружающим. Часто ловлю себя на мысли: нормальных,

психически здоровых, с уравновешенной нервной системой и предсказуемым поведением, адекватными поступками здесь в лучшем случае половина. Конечно, все они проходили комиссии, тесты, собеседования, обследования. Все они в итоге признаны нормальными, психически здоровыми, но... Почему Леха Малыш (ростом он действительно не вышел) то и дело безо всякой на то причины закатывается дебильным смехом (это при его немалом сроке и при полном отсутствии поддержки со стороны близких родственников)? Почему Серега Сила, сидя за швейной машинкой смены напролет, разговаривает сам с собой, отчего он то жмурится, то кивает кому-то невидимому, то улыбается сам себе? Я уже не вспоминаю своего соседа сверху, что всякую свободную минуту, днем и ночью, грозно сопя, с хищным выражением лица стирает, полоскает и сушит свои уже легендарные тряпочки. А сколько моих нынешних соседей кричит, мечется во сне? Срывается на истеричный крик в споре по совсем пустячному поводу? Ни с того ни с сего впадает порою в жуткую меланхолию и начинает поговаривать о готовности свести счеты с жизнью?

Отдельная, еще более показательная тема — подробности и детали событий, после которых эти люди оказались в зоне.

Вот — Володя Палач, пятидесятилетний, розовощекий. С виду очень благодушный толстяк. Такому только с внуками гулять в скверике. Убил ножом собутыльника, говорит, в целях самообороны, утверждает, что другого выхода у него просто не было. Пусть так, но зачем надо было наносить ножом аж шестнадцать ударов? А зачем надо было укладывать труп в ванну, накрывать одеялом и сидеть возле него десять дней? И это в середине жаркого мая, когда уже через три дня собутыльник начал, мягко говоря, попахивать?

Вот знаменитый на весь лагерь узбек Раджай из соседнего барака. Кажется, здравый, давно вступивший в пенсионный возраст, старик. Убил жену. Вроде как довела

мелочными придирками, спровоцировала. Преступная, но все-таки логика. Но зачем было кромсать труп на множество мелких кусочков, и кусочки эти старательно закапывать в разных частях огорода? А как понимать, что голову трупа этот «здравый» старик засолил в кастрюле и изобретательно спрятал эту кастрюлю на кухне?

Вот совсем еще юный Вова Дьяк, что некогда был на нашем отряде. И он убил жену. За измену. Опять очень сомнительная логика. Об измене жены он узнал незадолго до преступления. Узнал и тщательно разрабатывал сценарий мести. Накануне убийства пригласил в квартиру друзей, организовал вечеринку с обильным угощением. Что там происходило в деталях, представить непросто, но в итоге сперму этих самых друзей патологоанатомы обнаружили и в желудке, и везде, где только возможно, в теле убитой. Ныне Дьяк прилежный прихожанин местного храма (отсюда, возможно, и кличка). Он охотно принимает участие в разговорах на темы морали и нравственности. Правда, иногда будто тень набегаёт на его лицо. Лицо меняется до неузнаваемости, но это лишь иногда...

Нет числа подобным примерам, фактам, историям. Конечно, арестантскую массу надо изучать, сортировать психически «нормальных» (хотя бы относительно нормальных) от «ненормальных», пока те не натворили здесь новых «чудес». Но для этого нужны специалисты, грамотные, специально обученные, опытные. Специалисты, а не медики широкого профиля, что заседают в здешней санчасти.

Оказавшись в неволе, животные очень по-разному ведут себя. Одни утрачивают способности размножаться. Некоторые виды птиц перестают петь. Кто-то теряет аппетит, кто-то вовсе отказывается от пищи и вскоре погибает. Отдельные животные в неволе, наоборот, проявляют необычайную прожорливость, стремительно набирают вес,

жиреют. Обо всем этом вспоминаешь, наблюдая за поведением людей в зоне. Понятно, у каждого своя индивидуальная физиология, понятно, что многие на воле питались куда хуже, чем здесь. Питание в зоне не сильно вкусное, однообразное, но строго по расписанию, с необходимым минимумом белков, жиров, углеводов. И все-таки омерзительно видеть тех, кто на глазах округляется, начинает лосниться, безобразно полнеет. В соседнем проходняке обитают двое подобных, неспроста получивших кличку «опарыши» (жирные белые червяки, личинки мух, обитающие в основном в навозной жиже). Главное занятие для них — еда и ее приготовление. Основная тема разговоров — еда и все, что с ней связано («посылка скоро», «надо тушенки и сала заказать», «в ларьке печенья наберем побольше», «у барыги паштет появился, поменяем на сигареты» и т.д.). Оба уже стали героями местного фольклора после того, как кто-то ранним утром услышал на фоне традиционного шуршания пакетами и чавкания обрывок их разговора: «Кончай есть, на завтрак опаздываем...» Лично я, когда по сравнению с волей скинул пятнадцать килограммов веса, несказанно обрадовался. Но на днях после очередного взвешивания с огорчением обнаружил прибавку в весе в три килограмма. Неужели привыкаю, неужели адаптируюсь к «вольеру»? Как хочется верить, что это — обычное сезонное колебание веса человека...

В штате администрации зоны есть должность «заместитель начальника по воспитательной работе». У него диковинная кличка — Конь-Голова. По понедельникам, путая падежи и склонения, он зачитывает списки нарушителей дисциплины, водворенных в изолятор. В распоряжении каждого отряда есть комната, предназначенная для воспитательной работы. Каждый начальник каждого отряда каждый месяц пишет план воспитательной работы.

Вот только самой этой работы, и ни в каком виде, в нашей зоне не существует. За весь срок нахождения здесь я ни разу не был ни свидетелем, ни объектом подобной работы. Никаких бесед, лекций, встреч. Возможно, и слава Богу! Ибо заставить нынешний штат работников колонии в принудительном порядке вести эту работу — таких дров (извините, судеб!) наломают! Зачастую это малограмотные, закостенелые в своем невежестве, жадные до «халявы», биологически жестокие люди в погонах.

Среди тараканов, обитающих в бараках, часто встречаются альбиносы, абсолютно белые, почти полупрозрачные, особи. Любопытно, какова причина столь необычной метаморфозы? Обычная генная путаница или мутация, связанная с особенностями местного производства? Неужели полипропиленовая химия, с которой из месяца в месяц мы имеем дело на промке, так влияет на этих живучих тварей? И чем же для нашего здоровья скажутся проведенные здесь годы?

Уже которую неделю традиционную в нашем вечернем рационе рыбу перед «приготовлением» не чистят. Слово «приготовление» без кавычек здесь употреблять нельзя. Очень похоже, что рыбу (чаще всего худосочную салаку), просто обваривают кипятком, прежде чем подать на наш стол. Вроде как «паровая обработка», согласно санитарным нормам. Понятно, эффект этой меры весьма относителен. Не один арестант рассказывал мне, да что рассказывал, клялся (и врать им не было никакой корысти, никакого умысла), что натыкались в этой рыбе на маленьких беленьких то ли червячков неведомой породы, то ли личинок неизвестных насекомых. Очень может быть... Большинство из нас поглощает эту ежевечернюю рыбу, не всматриваясь

в содержимое предмета этого поглощения. Похоже, здесь срабатывает что-то близкое к инстинкту самосохранения: чтобы жить, надо есть, что же касается нюансов, то здесь лучше не задумываться, не знать, не вглядываться. Чтобы не расстраиваться... не блевать, на худой конец. И вот теперь, в придачу к ежевечернему риску наткнуться на этих самых «маленьких, беленьких», еще и совершенно очевидная гарантия подавиться крупной (в диаметре что-то очень близкое к диаметру копеечной монеты советских времен) чешуей. Хочешь — давься этой чешуей, что имеет гадкое свойство застревать в горле и пищеводе, хочешь — брезгливо отодвигай эту рыбу в сторону, но при этом, соответственно, оставайся голодным. На подобном фоне особое звучание обретает информация про совсем другую рыбу. Про рыбу куда более крупную, добросовестно вычищенную, которая уходит из столовой налево, что совсем недавно немалое количество таковой изъято из холодильника в ходе планового шмона во втором «кремлевском» (ибо там базируется лагерный «кремль», проживает «смотрун» зоны и большая часть его ближайшего окружения). Что из того же холодильника в ходе того же шмона изъято аж сорок (!) килограммов свежайшего фарша из первосортного мяса, которое перекочевало на отряд из той же самой столовой. Похоже, рыночные отношения наложили неповторимый отпечаток на особенности жизни нашего лагеря. Впрочем, скорее не «отпечаток», а клеймо, что ни отмыть, ни соскрести. Говорят, что в Интернете на сайтах тюремной тематики за точным адресом нашей колонии следует убийственное дополнение: «красная коммерческая зона».

Общепринятое, веками существующее выражение «сидеть в тюрьме» не имеет к нам, по большому счету, никакого отношения. Уж чем мы менее всего здесь занимаемся, так это — сидением. Работаем на промке, выстаиваем на

построениях, валяемся на шконках, слоняемся по куцему пространству локалок, словом, делаем что угодно, только не сидим. Да и не на чем в бараке сидеть. Табуреток здесь практически нет. Да и просто даже поставить их здесь некуда. Вся площадь барака целиком и полностью занята рядами почти вплотную сдвинутых двухъярусных шконок. В последнее время у всех на слуху идея-мечта-тезис, будто на каждого российского арестанта, согласно существующим нормам, должно приходиться 3,5 кв м (три с половиной квадратных метра) жилой площади! Заоблачная, сказочная перспектива, которую в нашем нынешнем сознании и смоделировать-то сложно. Сюжет от братьев Гримм и Христиана Андерсена... Только по самым грубым, самым приблизительным подсчетам, в нынешних условиях, по крайней мере в нашем лагере, на каждого зека приходится 0,7 кв м (ноль целых семь десятых квадратных метра!). Откуда же взять эти самые три с половиной квадратных метра? Строить новые бараки с европланировкой? А деньги? Бюджет многострадального нашего Отечества не потянет. Выпустить большую часть зеков на волю, а освободившуюся площадь разделить на оставшихся? Чтобы получились заветные «три с половиной»? А вот это — уже революция, на которую в государстве нашем никто не отважится. Недобрая российская Фемида, судя по всему, добреть совсем не собирается. Так что дефицит жилой площади для отечественных арестантов, похоже, сохранится. Впрочем, на фоне дефицита истинного правосудия, справедливости, милосердия подобный дефицит едва ли не самый безобидный, самый безболезненный.

Приметы двадцать первого, электронного, сверхцивилизованного века тесно переплелись в окружающей меня обстановке со свидетельствами массового невежества, невероятной дикости. С одной стороны — плазменный архи-

современный телевизор в КПРке, с другой стороны — широко распространенная привычка спать, не раздеваясь, не менее массово распространенная манера сморкаться «в два пальца» в самое неподходящее время в самых неожиданных местах. С одной стороны — мобильники последних моделей почти в каждом проходняке, с другой — вопиющая неграмотность даже при попытках переписать с уже готового образца элементарное заявление на прием к начальнику или на свидание с близкими. С одной стороны — Интернет, необратимо вошедший в жизнь моих соседей (спасибо тем же самым мобильникам!). С другой стороны — воинствующее нежелание приобретать в ларьке туалетную бумагу. В общем итоге зачастую можно оказаться свидетелем, как кто-то из моих нынешних «коллег по строгому режиму», громогласно рыгнув, прихлебывая с бульканьем и чавканьем чай, рассказывает, употребляя с невероятным смаком местоимение «евонный» и глагол «разлаживать», как он всю ночь «лазил» в Интернете, что-то «скачивал», «обновлял» и куда-то посылал свои анкеты, с кем-то знакомился, кому-то отправлял свои, сделанные мобильником, фотографии и т.д. Удивительный симбиоз каменного и постиндустриального веков!

Недюжинным мужеством, немалым умом и кристальной искренностью обладал человек, некогда заметивший, будто в личных дневниках этого личного мнения меньше всего. Перевариваю все грани смысла этого афоризма все время, сколько веду дневник, а значит, весь арестантский период своей биографии. Кажется, здесь дневник — мой единственный, мой самый сокровенный собеседник, но разве до конца наизнанку выворачиваю перед ним я свою душу — безусловно, нет. Что-то оставляю недоговоренным, недорассказанным, недообнаженным, что-то припрятаваю в более потаенные уголки, перекладываю на дальние,

более темные полочки. С одной стороны, мой дневник — это искренность, сокровенность, прямота. С другой — он же, этот дневник, — строгий фильтр, жесткий цензор. Вот и выходит, что какие-то факты, мысли, чувства благодаря ему «предаются гласности», тиражируются на возможно немалую аудиторию. А что-то (опять же факты, мысли, чувства) окончательно закапывается внутри, передается забвению и небытию. Вот такая штука, этот личный дневник... Может быть, зря, что никогда раньше не вел дневник. А может быть, это и к лучшему. Все, что долгие годы копилось, отстаивалось, собиралось, теперь, с учетом нынешних условий, впечатлений от необычной обстановки выплескивается на бумагу, формируется, шлифуется.

Кажется, я уже отмечал, что второе производство в нашей зоне, а может, и первое по объему производства производимой продукции и числу занятых зеков — меловое. Мел, который выгрызают с помощью бульдозера и экскаватора прямо из склона холма, что является частью территории нашей зоны, арестанты дробят, сушат, упаковывают в мешки, загружают в вагоны. В цехе, где это самое меловое производство, я ни разу не был, в тонкости таинств, происходящих за его стенами, не вникал. Зато своими глазами я вижу каждый день (точнее, в любое время суток, ибо «меловики», как и мы, работают в три смены), как из трубы, что торчит из крыши этого самого цеха, вырываются белые клубы, разумеется, того же самого мелового происхождения. Эти самые клубы вижу, понятно, не только я и прочие арестанты, но и жители домов, расположенных рядом с зоной. Понятно, не только видят, но и... страдают от всего этого. Меловая пыль оседает на свежeweыстиранной сохнувшей одежде, проникает в жилые помещения, оседает на мебели и прочих предметах быта, попадает в глаза, в носоглотку и т.д. Говорят, что окрестные жители завалили всевоз-

можные инстанции просьбами прекратить «меловые выхлопы», прекратить отравлять, губить, уничтожать и т.д. Словом, начали хлопотать о закрытии нашего «производства номер два». Хлопоты возымели определенный успех. Трубу, ту самую, из которой круглосуточно вырываются белые клубы, развернули в другую сторону... в сторону наших барачков. Теперь эта самая белая пыль, что не давала покоя местным жителям, целиком и полностью остается на территории лагеря, на наших вещах, наших носоглотках, наших легких... Мудрое и гуманное решение!

Точен лагерный язык. Безжалостны арестантские характеристики. Всякая рожденная в зоне кличка всегда выхватывает самые важные, самые показательные качества личности. Не в бровь, а в глаз, в самую цель... В яблочко! В десяточку! Взять лагерного замполита. Увы, не запомнилось имя сверхнаблюдательного зека, некогда припечатавшего его былинно-чеховской кличкой: Конь-Голова. В этих двух словах клички учтено, сконцентрировано то, что самым исчерпывающим образом характеризует этого человека. Внешность — голова действительно лошадиной формы, еще более лошадиного контура шея. Да и содержание, суть образа — особенная, опять-таки нечеловеческая тупость (не повернется язык сказать — «лошадиная»), как следствие — косноязычие и откровенная нелепица в любой его попытке что-то сказать.

А чего стоит четкая и короткая кличка «Ганс»? Она некогда раз и навсегда прилипла к одному из офицеров администрации. Блондин с белыми ресницами и безукоризненными по меркам Третьего рейха пропорциями лица, черепа. Да что там пропорции! В манерах и привычках страсть к дисциплине, порядку, особая любовь к формулировкам «положено не положено» — словом, сплошной железный «орднунг». Он любому трижды истинному арийцу

даст фору сто очков вперед. Разумеется, нам от этого не легче. Беда, когда Ганс приходит к нам на барак со шмоном. Все вольное, все «неположенное», все «цветное» уходит тогда вместе с ним.

Понятно, что у каждого прапорщика на зоне своя говорящая кличка. Вот Щетка. Он же прапорщик Черноус. О щетинистом и черном предмете обихода напоминают в нем и черные, торчащие, почти негнущиеся усы, и особое рвение, с которым он на шмонах (ну и впрямь как щетка) выметает из наших тумбочек, с наших спальных мест, из наших карманов все, внутренним распорядком не предусмотренное.

Другой его коллега — Чифир. Снова говорящее «погоняло». Лицо у него коричневое, будто, действительно, в чифире вымоченное, и глаза ошалелые (будто чифира этого он изрядно перебрал). И поведение, соответственно, как у любого, этим напитком злоупотребляющего.

Еще один прапорщик — Дося. Круглолицый, розовый, вылитый поросенок с рекламы моющего средства, что когда-то маячила на экранах телевизоров. Даже вполне человеческий нос на таком лице представляется не чем иным, как пороссячьим пяточком.

Понятно, что при выборе клички не щадят арестанты и своего брата. И опять, что ни «погоняло», то перл острословия, наблюдательности, а то и тонкого психоанализа.

Обнаружили в свое время двое моих соседей особую страсть к чревоугодию (по-лагерному это называется «кишкoblудием»). Получили почти ласковую лагерную кличку «запарики». «Запарик» в переводе с того же лагерного означает порцию лапши (обычно китайского производства) быстрого приготовления, которая перед употреблением не варится, а всего лишь заливается горячей водой (запаривается). Время шло, «запарики» демонстрировали все большую приверженность упомянутому пороку. Оба заметно округлились, отяжелели, теперь в проходняке между дву-

мя кроватями передвигались они не иначе, как бочком, вра-скачку. И темы их разговоров сузились до предела исключительно о еде. Что в очередной посылке пришлют, какие новые продукты в ларек завезли, чем барыга торгует, почему «левое» мясо в столовой и т.д. А что стоит обрывок одного из утренних диалогов «запариков», случайно подслушанный соседями и сразу же ставший анекдотом, частью золотого лагерного фольклора? То самое, знаменитое — «кончай есть, а то на завтрак опоздаем...». Вот и вышло, что вскоре почти доброжелательное «запарики» было заменено на презрительно-омерзительное — «опарыши». Словом, получили мои соседи за свое чревоугодие столь неблагозвучную кличку.

Кличка кличкой, но лично у меня всякий человек, сохранивший в тюрьме избыточный вес, тем более стремительно полнеющий, вызывает подозрение, неприязнь, а то и откровенное отвращение. Но это, конечно, очень личное.

В бараке очередной приступ административной суеты. «Козлы» в пожарном порядке снимают с наших кроватей железные таблички с нашими фамилиями и прочими данными (дата рождения, статья УК РФ, по которой осужден, начало срока, конец срока) и срочно заменяют их на новые, аналогичного содержания, но — картонные. В других отрядах та же самая судорожная, нервная, бестолковая «движуха». А причиной всему — прошедший вчера в теленовостях сюжет, посвященный главе УФСИН. Оказывается, главный российский тюремный начальник, инспектируя какую-то новосибирскую зону, обратил внимание на таблички, аналогичные тем, что еще недавно украшали наши койки. Те, кто видел этот сюжет, рассказывали, будто, повертев в руках одну из таких табличек, начальник всех тюрем всея Руси обронил то ли раздраженно, то ли удивленно: «Это же оружие, его заточить можно!..» Брошенную

вскользь реплику администрация лагеря восприняла как приказ, требующий неукоснительного исполнения. Впрочем, не это удивительно! Уж кто-кто, а начальник всех тюрем всея Руси должен бы знать, что среднестатистический отечественный зек заточить и превратить в оружие может что угодно, от алюминиевой ложки и консервной крышки до гвоздя, вытащенного из тюремного забора. Исключить из среды арестантского обитания все на этот счет опасные предметы, просто невозможно! Куда актуальнее и социально важнее исключить причины, по которым этот самый среднестатистический зек хватается за эту самую заточку.

Вроде и неприлично подслушивать чужие почти интимные разговоры, но лагерная жизнь организована так, что эти разговоры ты просто вынужден, обязан, приговорен выслушивать чуть ли не круглосуточно. Уникальный материал для социологов, психологов и прочих специалистов-«человековедов». Вот Серега Н., воронежский парень, некогда отслуживший срочную службу в ВДВ, ехавший из армии домой и «заехавший» на долгие восемь лет в зону, «охмуряет» очередную телефонную «заочницу» — девушку, видимо, более чем скромно образованную, мало эрудированную и откровенно глуповатую. Рассказывает, что скоро, очень скоро на волю (это при оставшихся пяти недосиженных годах срока). Что после освобождения сразу, даже не заезжая в родное воронежское село, рванет в Москву, к дяде, более чем состоятельному («стоит крепко», через день то в Думу, то в Кремль), который сразу устроит его, Серегу, на работу в какой-нибудь столичный банк (это при его неполном среднем образовании, невзирая на то что через слово у Сереги «ложи» и «шо», что наколки характерной лагерной тематики начинаются с фаланг пальцев). Более того, не чающий в племяннике души, добрый дядя

обязательно подберет Сереге добротную иномарку, на которой он, Серега, обязательно прокатится по всей Европе, включая... Канаду. Одергивать соседа в приступе «хлестаковщины», уличать в незнании элементарной географии, напомнить, что Канада — это уже Северная Америка, отделенная от Европы многими тысячами километров, — значит нарушить неписаную лагерную этику. Смысл ее прост и почти гуманен: да, врет человек, а разве кто от этого страдает, разве кому-то от этого хуже? Так ему, бедолаге, легче свой срок вынести. Все равно не удерживаюсь и деликатно интересуюсь: «А как же ты, Серега, в Канаде объясняться будешь, ты же по-канадски ни в зуб ногой?» Не уловив подвоха, Серега соглашается: «Да, по-канадски я не знаю, но самоучитель возьму, да сейчас, говорят, русских везде понаехало, во всех странах уже по-нашему понимают». «А заграничный паспорт? А права международного класса?» — только на мгновение в есенинских синих глазах Сереги вспыхивает что-то похожее на оторопелый испуг. «Да сейчас все решить можно, дядя все порешает...» Хорошо, конечно, иметь подобного дядю. Похоже, в его существование Серега сам верит. Не говоря уже о его заочной избраннице по ту сторону мобильного эфира. На фоне грядущих перспектив (Серега настырно и почти искренно повторяет ей о своей влюбленности и предлагает расписаться) просьба «кинуть» на телефонный счет пятьдесят рублей и прислать «скромную» посылочку с чаем и сигаретами представляются совершенно логичным пустячком. И комментировать здесь нечего. Разве что вспомнить расхожее, часто здесь звучащее: «В тюрьме си-ди-и-им». И еще более актуальное: «Без лоха жизнь плоха». Понятие «лох» в данном случае пола не имеет

Снова лето, опять жара. Снова духота с характерным горько-химическим привкусом на промке, снова коварные

сквозняки и хищные мухи на бараке, снова едкие, будто мочённые в извести, соленые зеленые помидоры в качестве витаминной прибавки к обеденному столу. Понятно, все это — пустяки, мелочи арестантской жизни. Среди этих «пустяков» особняком стоит проблема водоснабжения лагеря. Воду постоянно отключают, иногда на несколько часов, иногда сразу на половину дня. Соответственно — ни попить, ни помыть руки, ни умыться. Ну а в какое состояние приходят лагерные, и без того далеко не образцовые, туалеты, описывать просто неприлично! По этой же причине, похоже, и посуда в столовой моется отвратительно, на мисках слой жира такой, что на этих мисках можно чертить, рисовать. Кто-то не обращает на это внимания, кто-то приносит с собой в столовую бумагу, чтобы протирать миски (кто побогаче — туалетную, кто победнее — обрывки газеты). Вытирают посуду бумагой. Известно, что брезгливость — качество очень личное, но существуют еще и санитарные нормы. Остается только удивляться, как в этих условиях не грянула в зоне какая-нибудь кишечно-желудочная беда, повальная. Массовая. Наверное, нам просто везет! Пока везет.

Легко, ох как легко теряют здесь люди и себя, теряют и свое человеческое достоинство. И ладно бы толкала бы их на это смертельная опасность, угроза здоровью, угроза жестокого голода или страшных унижений, а то ведь порою почти добровольно и по самым пустячным, ничтожным поводам. Величайшее, омерзительное извращение! Тем не менее с подобным сталкиваешься на каждом шагу. Еще по Березовке помню массу историй-судеб — иллюстраций на эту тему.

«Поднялся» (прибыл) в свое время на отряд Андрей Ц. Парень как парень, вроде разумный, кажется самостоятельным. Спросили у него в углу*: «Как жить будешь? Ка-

* Угол — лучший, красный угол барака, занимаемый «смотрюном» и прочими чинами блатной администрации отряда.

кие планы на срок?» Никакой хитрости, никакого подвоха в вопросах не было, и ответ подразумевался простой и ясный: «Мужиком жить буду, на промку выйду...» Только никто ничего подобного не услышал. Засуетился Андрей, замялся. Признался, что работать, «горбатиться» ему не хочется, заодно вспомнил, что на воле кулинарному ремеслу обучался, на торговом флоте успел коком поплавать. «А готовить сможешь? Продуктами обеспечим, плитку дадим, забот немного — двоих, троих накормить. Все в тепле, и сам сыт будешь...» С последним не обманули. И тепла и сытости Коку («погоняло» ему нашлось как-то сразу само собой, в соответствии с прошлой биографией и нынешним занятием) теперь хватало. И потому и щечки округлились, и брюшко конкретно обозначилось. А вот мужиком признавать его почти перестали. Кто-то еще заступался — «пользу, мол, приносит». Только таких единицы были. Большинство рукой махнуло: «Шнырь он, шнырь добровольный, что с него взять...» Вскоре уже зеки шархаться стали от его приглашений «чая попить», и к нему с подобными предложениями никто не обращался. Да и те, кому Кок готовил («смотрун» отрядный и пара его приближенных), уже совсем по-иному к нему относились. Все чаще разносилось на весь барак: «Кок, а чего посуда у тебя грязная?», «Кок, жрать тащи!», а то и того похлеще: «Давай шустрее, Кок!», «Тряси горбом, Кок!», «Давно не получал, Кок?». Бывало, что и получал Кок. Видели, как он то фингал под глазом таскал, то губу разбитую зекам показывал. Только обратного хода уже Коку не было. Вроде он и спохватился, кажется, и на промку вышел, а статус посудомойки-стряпухи все равно за ним так и остался. Соответственно, и отношение прежнее. Зайдет в кругу арестантов о нем речь, говорящий о нем в лучшем случае вздохнет да руками разведет, а то и сплюнет брезгливо: «Да шнырь он, по жизни шнырь».

А вот и другая «шныриная» история, другого Андрея. История Андрея Пограничника не менее поучительная. На

моих глазах «поднялся» он на барак. Угрозило его едва ли не в первую ночь за катран сесть*, в картишки перекинуться. Под интерес, разумеется. Вроде бы по мелочи, по пустяку, «по пачушке» (в смысле — по пачке сигарет на кон). Что-то выиграл, что-то проиграл, потом вернул, потом — все сначала. К утру выяснилось, что общий минус Пограничнику уже две тысячи составил. Говорят, что в зоне на большую сумму играть не разрешается, но... это только говорят. В любом правиле исключения есть, и порою исключения становятся столь частыми, что меняют коренным образом и само правило. Стоит ли удивляться, что на следующую ночь сидел Пограничник за катраном снова и снова... проигрывал. То же повторялось через день, и через два, и еще, и еще... Соответственно, долг Пограничника только рос. Когда перевалил «за десятку», позвали Андрея в угол. Только и спросили: «Должен?» «Должен», — обреченно кивнул Пограничник. «Когда?» Понятно, что к этому полувопросу не добавлялось ни уточнений, ни пояснений. «Ну, не знаю, звонить надо, отца попрошу, тетке напишу, друзей напрягу...» «Два дня тебе»... Денег за это время Андрей не нашел, и еще один коротенький разговор вышел в том самом углу, и был тот разговор еще короче предыдущего. Только и спросили: «Когда?» «Да вот отец обещал, от тетки ответа жду, до друзей дозвониться не получается...» «Еще тебе два дня...» А поиск в течение этих двух дней, когда снова Пограничник показался в том же самом углу и услышал вполне предсказуемые в этой ситуации вопросы, выяснилось, что... Да что там говорить, пересказывать... Получил Андрюха, возможно, не столь болезненную, но очень обидную и по-тюремному зловеще-знаковую затрепщину. И объявлен был Андрюха «фуфлыжником». Приговор в его ситуации типичный и вполне справедливый. При том, что поиск денег для выплаты долга продлевается, одновременно должник этот долг начинает отрабатывать —

* За катран сесть — сесть за стол играть в карты.

«конячить» (то есть прислуживать, готовить, убирать) для блатной верхушки отряда. После этого как-то само собой поменялось у Андрухи «погоняло»: вместо Пограничника (память о срочной службе в знаменитых элитных войсках) стали звать его Сыгчём (в напоминание об изменившейся конфигурации физиономии). И отзывался Андруха на новую кличку, и исправно выполнял кулинарно-хозяйственные обязанности, и уже совсем не удивлялся, когда никто не звал его принять участие в затеваемом чифиропитии с душевной беседой на сокровенные арестантские темы. А кто в этом виноват, кроме него самого?

Мой тюремно-лагерный стаж недавно перевалил за три года (если быть совсем точным, то он составляет на сегодня сорок месяцев). За это время я все еще не утратил способности удивляться, возмущаться, недоумевать, как молодые, здоровые, лишенные физических недостатков и умственной слабости, мужчины добровольно избирают делом всей своей жизни профессию, основной смысл которой — обыскивать, ощупывать, обнюхивать, подслушивать, подглядывать. Речь идет о немалой армии сержантов-сверхсрочников, прапорщиков и даже офицеров, составляющих штат учреждения, в стенах которого мы пребываем. Возможно, очень искренний, очень неожиданный и очень циничный ответ на этот вопрос дал в свое время старший мастер швейного участка нашей промки лейтенант внутренней службы Мальцев, известный в зоне под кличкой Подлец. Кличка универсально характеризует профессиональные и человеческие качества этого индивидуума. «Я в сельское хозяйство возвращаться не хочу...» — так четко сформулировал он линию своей жизни. Это откровение было адресовано лично мне в ответ на серию моих вопросов по поводу «пропавших» представлений на поощрения, неправильно закрытых нарядов и по-

просту украденных денег за выполненную нами, зеками, работу. Очень, очень похоже, что местные молодые, здоровые мужики просто не хотят заниматься созидательным, тяжелым, но благородным трудом своих предков-крестьян и напрямую подаются в тюремные структуры. Здесь — стабильная, (пусть и небольшая, но дающая возможность кормить себя и семью) зарплата, форменная одежда, гарантирующая некий социальный статус, «ускоренный» производственный стаж, позволяющий раньше выйти на пенсию. И ко всему этому — плюс масса возможностей, разумеется, непорядочного, понятно, откровенно криминального приработка. Тут и манипуляции с мобильными телефонами, и мародерский «улов», выпадающий по итогам шмонов, и взятки за хлопоты по УДО и т.д. и т.п. Только разве все это правильно? Разве это не противоречит самой мужской сути? Разве это не свидетельство серьезного, если не сказать смертельного недуга, поразившего наше общество, гражданами которого мы являемся?

Удивительно, но далеко не все письма, что отправляю я своим родственникам и друзьям, доходят до своих адресатов. Что за этим? Обычное разгильдяйство почтовых работников? В это как-то не верится. Следствие особого рвения цензуры и всех структур зоны, за ней стоящих? Но какой в этом смысл? Что-то «неположенное» цензура имеет законное право просто вымарывать. Кому-то понадобились образцы моего эпистолярного творчества? Но зачем изымать письма, когда достаточно просто снять с них копии? При современном изобилии множительной техники это вовсе несложно. И все-таки, куда делись мои письма с поздравительными открытками с днями рождения, адресованные сыну, сестре, некоторые письма друзьям и дочери? Теряюсь в догадках... Кстати, до меня так и не добралась посылка с книгами, отправленная с места моей прежней работы. Но здесь все более прозрачно. Та редакция,

откуда отправлялись книги, принадлежит к патриотическому лагерю, соответственно и книги были аналогичного содержания. Похоже, люди, определяющие, что нам «положено» получать, читать, знать, просто не смогли классифицировать содержание предназначенной мне посылки. Не хватило эрудиции, политической культуры, не хватило элементарного ума. Бог им судья!

«Козий день» — это, говоря лагерным языком, понедельник. Еще его называют «хозяйским» (хозяйин — начальник зоны) днем, «днем позора», «дурным днем», просто «дурдомом». В этот день команда «подъем» (подает кто-то из «козлов» — ночной дневальный, заместитель завхоза и т.д.) сопровождается добавками — «заправка по-белому», «баулы в каптерку». Последние добавки могут прозвучать и в любой обычный день (когда ждут комиссию с проверкой; когда хозяин ходит по баракам, когда просто взбредет «отряднику» вследствие плохого настроения или желания испортить настроение нам, арестантам), но в понедельник они просто обязательны. Без этих команд понедельник — не понедельник.

С командой «баулы в каптерку» все ясно. Все вещи положено хранить в каптерке, просто нам удобнее держать их под кроватью. По крайней мере, меньше шансов, что украдут что-то из этих баулов. Вот и храним до поры до времени, а по команде — берем эти сумки (у одних они необъятные, как у базарных «челноков», у других тощие, сродни портфелю двоечника, третьи вовсе обходятся целлофановым пакетом или картонной коробкой) и несем в эту самую каптерку.

Команда «заправка по-белому» требует отдельного разъяснения. Она подразумевает особую заправку наших шконок, наших спальных мест. Говорят, будто порядок этот утверждали аж в самой Москве, аж в самом главном тюремном ведомстве. Подразумевает он туго натянутую на матрас простыню, по особенному фасону сложенное одеяло

и еще более по-особенному обернутую вокруг этого одеяла вторую простыню. Впрочем, описать это невозможно. Это можно только видеть, но и в этом случае понять все премудрости подобной процедуры крайне трудно. Усвоить этот навык можно только после многократных кропотливых тренировок. Какую цель преследовали московские тюремные начальники, придумавшие «заправочный сценарий», сказать трудно, но здравым смыслом здесь уж точно не пахнет. Лучше бы следили, чтобы здесь вовремя меняли приходящее в негодность постельное белье на новое! Но это уже совсем другая история.

Кстати, старики зоны еще помнят времена, когда заправка «по-белому» считалась стопроцентным «мусорским наворотом», придуманным исключительно чтобы прессовать, гнобить и унижать арестантов. Выполнять эту команду считалось грубейшим нарушением кодекса порядочного зека, за что запросто можно было схлопотать затрещину от «смотруна» или прочих представителей блатной иерархии. Нынче дуют совсем иные ветры. За плохо заправленную в «козий день» койку тот же «смотрун» уже сам может сделать замечание арестанту, упрекнуть его, что он этим «провоцирует мусоров», а то и наказать. Иные времена, иные установки! А разработанный в недрах главного тюремного ведомства эталон заправки арестантской койки — все равно образец идиотизма.

Еще одна необходимая составляющая «козьего дня» — общее построение. Все отряды выстраиваются на плацу и выслушивают короткое сообщение замполита, знаменитого своим косноязычием, полковника Конь-Головы: за прошедшую неделю составлено рапортов за различные виды нарушений столько-то, отправлено в штрафной изолятор столько-то. Потом оглашается «разблюдовка» нарушений по отрядам: первый отряд — столько-то рапортов, столько-то получили изолятор и т.д. Потом традиционный призыв не хранить продукты в прикроватных тумбочках, не на-

рушать форму одежды, не пользоваться самодельными электроприборами. Я уже отмечал, что среди перечисляемых нарушений — только самые банальные — «нарушил режим дня», «самовольно покинул локальный участок», «курил в непопозволенном месте». Про употребление наркотиков, спиртных напитков и прочие «истинные нарушения», за которые реально чаще всего попадают арестанты в карцер, ни слова. Так, понятно, удобнее администрации: грубые нарушения, статистика которых — показатель ее работы, не попадают в отчеты, не уходят наверх. По большому счету, это возведенный в систему многолетний, осознанный и регулярный подлог. Еще один штрих к характеристике стиля и метода работы тех, кто является нашими начальниками, руководителями, воспитателями.

Не удивляюсь, не ужасаюсь, просто отмечаю для себя, возможно, для будущего, более глубинного, осмысления. Среди арестантов есть немногочисленная, но заметная и даже бросающаяся в глаза категория почти твердо уверенных, что здесь они не в последний раз. За подобной уверенностью — сверхтерпимое отношение к зоне, к неволе, к разнице между свободой и несвободой. Выходит, для этих людей эта самая «неволя-несвобода» вполне естественна. Вот откуда корни пресловутого: «я здесь дома». Разве это нормально? Разве подобное свойственно нормальному человеку? Или здесь мы имеем дело с особым человеческим типом — эдаким «гомо арестантус», представители которого не ощущают ни вкуса, ни значения, ни ценности понятия свободы. Какая-то иллюстрация к затасканному идиотскому выражению «что воля, что неволя...». Как, когда, под воздействием каких социальных, природных, а может быть, космических факторов появился или сформировался подобный тип? Передаются ли подобные качества по наследству? Способны ли эти качества накапливаться

в генах? Заразно ли это по отношению к окружающим? Способно ли породить эпидемии? Любопытно, а что могут сказать по этому поводу «яйцеголовые» специалисты всяких там «человековедческих» наук? Изучалось ли вообще наукой подобное явление? Наконец, существуют ли подобные социальные типы в других странах?

Вспоминаешь в связи с этим и другое, весьма характерное для арестантской среды, то ли явление, то ли проблему, то ли просто деталь статистики — среди отбывающих наказание как минимум процентов десять попали сюда «ни за что», за преступления, которые никогда не совершали, за преступления, к которым никакого отношения не имеют. Конечно, чаще всего за подобными фактами «мусорской» беспредел (произвол следователей, прокуроров, судей и т.д.), «проколы», а то и полное отсутствие адвокатской защиты, но иногда у этого явления совсем иная природа.

Очень часто те же самые мусора — правоохранители, люди в погонах — сталкиваются на своей работе с людьми ранее упомянутой категории «гомо арестантус». Теми, кто почти всегда готов «сидеть»; для кого переход с воли в неволю ни трагедией, ни потерей, ни унижением не является (опять это ненавистное — «в тюрьме я дома»), кто по сути своей еще и склонен к совершению серьезных преступлений, вплоть до убийства. Зачастую в этой ситуации люди в погонах начинают размышлять приблизительно так: стоит ли ждать, когда подобный человек совершит это преступление, а затем, соответственно, искать его по городам и весям, чтобы, задержав, доказывать его вину? Не проще ли, не дожидаясь, пока потенциальный «гомо арестантус» совершит свое (возможно, даже очередное) убийство или разбойное нападение, изолировать его от общества, искусно «вляпав» его в историю, по итогам которой пять или семь лет он будет находиться «за колючкой»? Жуткая логика. Бесчеловечная, по сути, аргументация. Но все-таки логика. Все-таки аргументация. Еще одна грань или еще

один отголосок некогда вброшенного в общество и очень прижившегося в этом обществе очень смелого снаружи и очень трусливо-подлого изнутри лозунга «Вор должен сидеть в тюрьме». Кто его только ни повторял, ни цитировал, ни провозглашал с тех пор! И, похоже, никто из тиражировавших его не задумывался, что, расписываясь под ним, он становится беспредельщиком, переходит черту гуманизма, попирает понятие человечности.

Жизнь большинства моих соседей настолько однообразна, что все их занятия можно сосчитать по пальцам одной руки: сон, еда, работа, игра в нарды, сидение у телевизора. И при этом среди них немало тех, кто во всеулышание открытым текстом признается: здесь неплохо, здесь хорошо, здесь не хуже, чем на воле. Конечно, большинство так считающих понимает скорее подсознательно, чем осознанно, что неволя для них не столько наказание, сколько чуть ли не благо, обстановка, предохраняющая от соблазнов (наркотики, алкоголь). Грустное откровение! Жуткое откровение! Достойные жалости люди! Хотя и алкоголя и наркотиков здесь хватает. Были бы деньги или имелись бы таланты «разводить» на деньги других. И все-таки ситуация, когда зона, несвобода, неволя для человека спасение (чаще все-таки отсрочка от падения в бездну, от гибели, от более серьезных преступлений) — ненормальная, неестественная. Как же можно было уронить себя, в какие жизненные перипетии угодить, чтобы, попав в зону, за «колючку», вздохнуть с облегчением?

На промке воспользовался электронными весами. Табло высветило — 81 киллограмм. Это в одежде в тяжелых зековских ботинках (привет из ГУЛАГа). На воле весил 96—98 килограммов. Разница между моим весом нынеш-

ним и весом прошлым пока в радость. Это избавление от лишнего груза, профилактика многих недугов, свидетельство оздоровления, возможно, даже омоложения организма. За подобные «подвижки» на воле люди платят бешеные деньги, на этой теме не просто зарабатывают, а жируют, процветают тысячи диетологов, инструкторов лечебной гимнастики, владельцев фитнес-клубов. А тут без изнурений себя голоданием, без потения на тренажерах, без поглощения таблеток, имеющих, как правило, побочный эффект, — такой результат! За какие-то два года. Замечательно! Завидуйте, ожиревшие, переедающие, обремененные лишними килограммами! Однако если этот процесс будет развиваться дальше такими же темпами — хорошего мало. Это уже повод для грустного беспокойства — то ли скрытый недуг развивается, то ли просто прогрессирует банальное ослабление организма, что-то вроде дистрофии. Эдак скоро и ноги еле таскать буду. Одно другого не лучше. Впрочем, до окончательных выводов надо подождать, по крайней мере, полгода.

Где-то я читал, будто всякая среда, всякий мини-социум поднимает или опускает человека до своего уровня. Принцип, хорошо известный философам, социологам, психиатрам. Общеизвестная истина, чей смысл аукнулся в русской поговорке про «свой устав» и «чужой монастырь». Переносить эту истину на мое нынешнее положение, на мою нынешнюю ситуацию — тогда в очень скором будущем я непременно буду изъясняться исключительно матом, без конца употреблять «ну», «короче», «ложи», сморкаться в два пальца, оглушительно чавкать, поглощая пищу, а все свободное от работы время делить между просмотром порнухи и бездарных сериалов. Незавидная перспектива! Я к ней не готов, я с этим приговором не согласен, я непременно докажу, что это не так! Уверен, перегнули палку уче-

ные мужи, вынося вердикт, что всякая среда поднимает или опускает человека до своего уровня. Человек должен формироваться в ходе противостояния, сопротивления этой среде. Конечно, это удел немногих, лучших, сильных. Очень хотел бы относиться или хотя бы максимально походить на людей этой категории. Удивительно, парадоксально, дико, но доводится встречать немало людей, которых зона, неволя, эта территория, окруженная колючкой, напичканная произволом, идиотизмом, невежеством, подлостью, «поднимает» до своего уровня. Именно здесь они получают, какие-то представления о географии, истории, политике, именно здесь они впервые взяли в руки мобильный телефон, увидели телевизор современной модификации, познакомились с DVD, обрели возможность регулярно курить сигареты с фильтром, спать на пусть застиранных, но все-таки белых простынях. Да много чего еще они здесь впервые увидели, узнали, потрогали. Коля С., арестант нашего отряда, уроженец здешних мелгородских мест, имел недюжинное мужество как-то в этом признаться: «В деревне жил, деревня на отшибе, отца не помню, мать бухала, мы с братьями не каждый день хлеб видели, кроме резиновых сапог, никакой обуви не знали, а здесь три раза в день поесть горячего можно, в баню хоть каждый день...» Жутковато подобное слышать на фоне бесконечного трепача с самых высоких трибун о компьютеризации, нанотехнологиях и всяких там фьючерсах.

Почти в продолжение предыдущей темы. Вот человек, проживший двадцать и даже более лет, но ничего, кроме грязи, нищеты и пьянства, не видевший, никуда далее райцентра не выезжавший, попадает с немалым сроком в зону. Здесь его кругозор, эрудиция, мироощущение, кажется, расширяются, но очень специфическим образом. Исключительно за счет рассказов соседей и за счет телевизора,

где чуть ли не сутки крошечные — то клипы с полуголыми девками, то откровенная порнуха, то сериалы с шикарными автомобилями и яхтами, стрельбой, кровью и т.д. Эдакие крайности, качели, маятник. Как в таких условиях формируется мировоззрение, система ценностей, мораль? Человек, не прочитавший ни одной книги, не побывавший ни в одном большом городе, лишь понаслышке знающий, что такое метро, море, самолет, ни разу не пивший вина из бокала, никогда не евший с помощью ножа и вилки, с головой ныряет в омут телегадости. Плюс специфическое влияние чисто криминальной среды. Словом, из дыры в зону. И что дальше? Можно только фантазировать, но все фантазии на эту тему уж больно мрачные.

Вывод неожиданный, но безупречно аргументированный: наша зона — не голодная, наша зона — сытая, то есть нас, арестантов, кормят терпимо, сносно, даже (вот здесь, правда, испытываешь какой-то внутренний «тормоз», и в горле почему-то начинает подозрительно першить)... хорошо. Главный и единственный аргумент этого вывода — до неприличия немалое поголовье голубей, что обитает на территории лагеря. Голуби — ленивые, малоподвижные, жирные, но их никто не ловит. За ними не охотятся. Их не едят. Значит, сытые в нашей зоне «жители». Значит, хватает им «хозяйской» пайки. В голодной зоне, рассказывали арестанты со стажем еще в Бутырках, голубей не водится. Их пожирают. Кстати, это не худший вариант дополнения к скудному «хозяйскому» столу, у голубя питательное, по сути диетическое мясо. Последнее готов подтвердить лично — употреблял в пору стройотрядовской молодости (когда были задержки с авансом в организации, от которой мы строили коровники в Нечерноземье). Варили голубей на костре в эмалированном ведре. Вкусно! А здесь... не видел, чтобы кто-то покушался на голубей. Наоборот, многие аре-

станты прихватывают со столов хлеб, чтобы покрошить его на «пяточке» возле столовой. Верно, сытая наша зона. И на том спасибо!

В штате администрации женщин совсем немного — все на виду, все с учетом специфики мужской зоны, всегда в центре внимания. А самая заметная, благодаря габаритам, среди них Валентина Н. Ее голос, сильный, немного нервный, с заметным украинским акцентом, мы часто слышим из лагерного репродуктора («Прапорщик Иванов, позвонить в дежурную часть», «Осужденный Петров, срочно прибыть на свое рабочее место» и т.д.). На днях я был вызван в спецчасть для получения заказного письма (сестра регулярно присылает мне газеты, вырезки наиболее интересных публикаций последнего времени). Предстояло отстоять небольшую традиционную очередь, хвост которой заканчивался аккуратно у комнаты дежурного, где рядом с пультом громкой связи (это и есть наше лагерное радио) в окружении полудюжины контролеров-прапорщиков находилась Валентина Н. На этот раз она молчала. Зато говорили окружавшие ее прапорщики. Почти все сразу. Почти все матом. И мой лексикон далеко не стерилен. И я, увы, пока не воспитал в себе способность обходиться без «черных» слов, но однообразный монотонный, с обилием чисто половых терминов, мат даже здесь коробит и раздражает. Велико было желание набраться наглости и обратиться к контролерам с наивно-издевательским: «Ну что же вы, граждане начальники, в присутствии женщины так лааетесь, неужели в русском языке других слов нет?..»

Последствия подобной дерзости могли быть самыми разными. Ее могли молча проглотить (такое уже было совсем недавно в очень похожей ситуации на вещевом складе, где я получал очередные робу-трусы-майку у кладовщицы, в присутствии которой упражнялся в «латыни»

очередной прапор-«златоуст»). Та же самая дерзость могла бы обернуться для меня изрядной дозой неприятностей. Например, рапортом «за нарушение формы одежды», «за неуважительное отношение к сотруднику администрации» и даже «за курение в неполюженном месте» (в последнем случае никого бы не смутило, что на самом деле я некурящий). Пока я «прокручивал» в голове различные варианты сверхблизжайшего будущего, ситуация разрешилась сама по себе. Валентина, женщина, которую так хотелось оградить от воздействия на ее якобы трепетный слух и, как я надеялся, чуткое сознание тяжеловесной и примитивной ругани, посмотрев в окно, обнаружила стайку арестантов, норовящих без предварительного звонка пройти в здание администрации. Скорее всего, они хотели получить очередную посылку или бандероль. На эту попытку Валентина отреагировала так, как принято здесь реагировать. Высунувшись по пояс из окна, крепко уперевшись руками в подоконник, набрав в легкие побольше воздуха, она громогласно выдала фразу из 12 слов, приличными из которых были только три («бараны», «претесь», «куда»). Понятно, прочие девять слов в этой тираде для цитирования непригодны. Хорошо, что не поспешил одернуть коллег Валентины. Насколько нелепо и глупо выглядел бы мой поступок на фоне всего далее случившегося. Обратил внимание и на другое. Материлась Валентина даже не с удовольствием, а с искренним, самозабвенным наслаждением. Как тут не вспомнить некогда где-то вычитанное предположение специалистов, лингвистов и психологов, будто излишняя страсть к матерной брани — не что иное, как свидетельство невозможности реализации половых чувств, косвенный признак склонности к сексуальным извращениям.

Не так давно на страницах этого же дневника я сделал комплиментарный реверанс в сторону лагерного питания — мол, сытая наша зона, коли столько жирных голубей здесь обитает. От этого вывода вовсе не отказываюсь, но сегодня

за обедом поймал себя на мысли, что вся пища, любое блюдо в лагере имеет совершенно одинаковый пресно-картонный вкус. Такой вкус у жеваной промокашки. Помню этот вкус с детства, ибо в то время, на которое оно пришлось, было принято забавляться стрельбой из трубочек шариками из этой самой жеваной промокашки. Такой же вкус имеют здесь каша, макароны, картошка, все прочие блюда нашего крайне небогатого арестантского меню. Даже кисель ядовитого зеленоватого оттенка, что завершает каждый наш обед, и тот обладает тем же самым «промокашечным» вкусом. Может быть, это — моя, чисто индивидуальная, слишком личная, возможно, не очень здоровая особенность восприятия здешней действительности? Если бы... Пресно-бумажный привкус лагерной пищи признают все, кто эту пищу потребляет. Потому и принято здесь любое казенное блюдо сдабривать перцем. Потому и в кармане каждого арестанта всегда миниатюрная емкость (обычно пластмассовая цилиндрическая баночка из-под витаминов с закручивающейся крышечкой). С перцем. Красным или черным. Иногда оба вида перца перемешиваются. Иногда к ним добавляются какие-либо прочие специи (сухая петрушка, сушеный укроп и т.д.).

Разумеется, регулярное употребление перца могут позволить себе только те, кто материально обеспечен, у кого регулярный «грев» с воли (посылки, бандероли, переводы). «Сироты» (подобной поддержки лишённые) в те же самые баночки насыпают обыкновенную соль. Благо в столовой ее в избытке. Со стороны, кажется, и разницы особой нет: садятся два арестанта за обеденный стол, чинно вытаскивают свои «баночки», сыпят их содержимое в «хозяйские», пресные, как жеваный картон, макароны-щи-кашу. И не каждый разглядит, обнаружит, поймет, что у одного в той баночке шикарная «колониальная» смесь (перец плюс всякие прочие, порою экзотические, приправы, что продаются ныне во многих магазинах свободно, но являются

серьезным дефицитом на «зоне»), а у другого в аналогичной баночке крупная серая казенная соль. Главное, чтобы можно было сдобрить казенную преснятину, да и выглядеть не хуже, чем сосед. А само содержимое этой самой заветной баночки — своеобразное свидетельство определенного арестантского статуса, да и наглядное напоминание о серьезном расслоении нынешнего российского общества, специфической ячейкой которого наша зона, несмотря на все заборы и вышки, все равно является.

Сегодня поминали цифирем умершего днем ранее тридцатилетнего парня с первого отряда. Официальная версия — отказала печень. Неофициальная, моментально распространившаяся по лагерю, — передоз. В принципе обе версии друг другу не противоречат, умерший — наркоман со стажем, говорят, что его полуразрушенная печень работала в лучшем случае на 30 процентов, а тут дорвался до «лекарства», что-то не рассчитал, увлекся. Ситуация самая типичная и для наркоманов вообще, и для лагеря этого в частности. Но почему формулировку, явно рожденную в недрах административного корпуса, доносит до нас, причем совершенно безапелляционно, наш «смотрун» — ставленник «блаткомитета», призванного ни на какие «мусорские штучки» не вестись? Вопрос, впрочем, чисто риторический. Не знаю, где как, а здесь очень часто неформальный лидер отряда ведет себя как номенклатура администрации. Говорят, что ни одно выдвижение, утверждение арестантов на подобную должность не проходит без рекомендации и контроля лагерного начальства. Похоже, должность «смотруна» (в идеале — заступника и вождя арестантов в масштабе барака) стала своего рода придатком, дополнительным щупальцем администрации. Для стариков-зеков, воспитанных на правильных арестантских традициях, подобная ситуация — величайшее кощунство, за которое можно

поплатиться, если не жизнью, то уж здоровьем точно, но...
Иные времена, иные нравы!

Помню случайного собеседника в бутырской «транзитке» — старика, с которым и познакомиться-то толком не успел. Отсидевший, без преувеличения, две трети своей жизни, знавший все нюансы кодекса каторжанина, едва разговор зашел о нововведениях тюремной жизни, раздраженно плюнул: «Все ушло, все забрали, все мусора под себя подмяли». К числу разговорчивых и очень откровенных людей мой случайный сосед не относился. Тем не менее из его, составленного из междометий и проклятий, короткого монолога я понял, что у необратимого процесса забвения правильных воровских традиций три причины: повальная наркомания, рыночные и коммерческие отношения, мобильный телефон. Продолжить разговор на эту тему мы не успели («коридорный» увел меня на встречу с адвокатом), но откровения случайного собеседника глубоко врезались в мое сознание и не раз напоминали о себе порою в самые неподходящие моменты, заставляя думать, сопоставлять, удивляться и снова думать. Ну, с наркоманией все понятно. Наркоманы — люди больные, не самостоятельные, зависимые. За дозу на многое, очень на много готовые (это давно когда умело, когда грубо используется всеми кому не лень — от администрации мест лишения свободы до коллег-арестантов, преследующих самые разные цели). Еще более понятно с коммерческими отношениями (о черном рынке продовольствия в лагере я уже писал, систему продажи свиданий для жен и «не жен» упоминал, о прочих базарно-продажных «штучках» еще расскажу). Чуть позднее начал понимать и немалый смысл, что скрывается в третьем факторе, факторе мобильной связи. Выходило, до недавнего прошлого, арестант был более ответственным, жестче себя контролировал, строже отвечал за слова и поступки, в любой конфликтной или предконфликтной ситуации рассчитывал прежде всего на себя самого. После

повального распространения в зонах мобильных телефонов, все изменилось. Влезет зек в какие-нибудь «бигуди» (на тюремном аргю — это проблемы: не отданные долги, не исполненные обещания и т.д.) — потянут его в угол на объяснение — он сразу за «трубу» — когда влиятельного заступника из «авторитетов» на воле сможет найти (а тот опять с помощью того же мобильного телефона выйдет на «блаткомитет» лагеря и «все решит»), когда срочно денег у родных выклянчит, когда еще какую-нибудь палочку-выручалочку найдет. Получается, прогресс, техническая революция, необратимые социальные процессы в обществе в пух и прах разрушили, казалось бы, незыблемую систему тюремно-воровской морали, камня на камне не оставили от кодекса арестантской чести. Впрочем, это мое, очень личное мнение, основанное на впечатлениях от двух отдельно взятых зон, одного относительно близкого к столице региона. Очень может быть, что там — дальше, на Севере, в тайге, в глуши все сохранилось в первозданном виде, в девственной чистоте: и арестантская порядочность, и уважение к «мужику», и принципиальное отношение к «козлам», и много еще чего здесь, в мелгородских зонах, так не хватает.

Население нашего лагеря, как, впрочем, и любой прочей российской зоны — интернационально. Заметны цыгане, киргизы, грузины, чечены, армяне. Присутствуют дагестанцы, таджики, узбеки, азербайджанцы и так далее. Вроде ни драк, ни затяжных выяснений отношений. Со стороны — заповедник национальных отношений, результат практической реализации советских, некогда чуть ли не победивших идей о «единой общности» и «новой формации». Идей, сильно перекликающихся с бытующими в тюремно-лагерной среде тезисами, будто арестант арестанту — брат, независимо от национальности и вероисповедования (что,

кстати, здорово аукается с родившимся в совсем другой среде тезисом-лозунгом: у преступника нет национальности).

Вроде бы все так, все верно. Часто видишь, как из одного «кругаля» тянут по кругу чифир русский и узбек, армянин и азербайджанец, белорус и дагестанец. Кажется, вот оно, торжество, если не мудрой национальной государственной политики, так, по крайней мере, торжество здравого смысла и элементарных правил человеческого общежития в непростых условиях отсутствия свободы. Но так только кажется. Метастазы межнациональных распрей, терзающих наше Отечество, проросли (возможно, что эти распри там присутствовали всегда, то затихая, то обостряясь) и в арстантскую среду. Благо не видел и даже не слышал, чтобы это послужило причиной серьезных конфликтов, не говоря уже о рукоприкладстве и кровопролитии, но нездоровое напряжение, то тлеющее, то чадящее, то искрящее мелкими, но едкими искрами, присутствует сплошь и рядом.

Вот участвуют в коллективном чифиропитии в соседнем «проходняке» вместе с узбеком, русским и украинцем чечен и ингуш. Общая беседа идет на русском, но они позволяют себе то и дело обмениваться фразами на родном языке (ингушский и чеченский языки предельно близки друг другу — это почти одно и то же). Это не очень правильно, даже по тюремным обычаям, но вполне допустимо. Невтерпеж людям пообщаться на родном языке — пусть общаются. Трудно предполагать, о чем они говорят, но выражения лиц у них благостные, интонация речи — благожелательная. Однако, едва ингуш покинул «проходняк», чечен сокрушенно качает головой: «Не надежные эти люди — ингуши, всегда продать могут, нельзя на них положиться, у них так давно, с древних времен...» «А дагестанцы?» — осторожно интересуюсь я, уже, кажется, догадываясь о грядущем ответе: «У-у-у, и дагестанцы тоже... — еще более сокрушается мой сосед, — они ради денег на что угодно пойдут, у меня столько раз овец угоняли».

Днем позднее тот же ингуш в разговоре о нынешней ситуации на Кавказе не менее сокрушенно качает головой, характеризуя особенности национального характера чеченов: «Да, они — братья, да, они — близкие, но совсем дикие, вся цивилизация — мимо, им только людей красть, скот угонять»....

Терпеливо слушаю, не соглашаясь и не возражая, в очередной раз убеждаюсь, какое болезненное и даже капризное это дитя, что называется казенным термином «межнациональные» отношения. А что касается степени дикости и меры цивилизованности, то эти понятия представляются мне, по крайней мере отсюда, сверхинтернациональными. Убедиться в этом несложно. Достаточно провести... хотя бы один день в нашем бараке и обратить внимание, что в течение этого времени шныри-уборщики как минимум трижды подметают полы в бараке и всякий раз выносят громадные совки, полные сигаретных окурков, смятых бумажек и прочего мусора. То есть всего того, что обитатели барака регулярно, методично, глубоко осознанно бросают себе под ноги рядом со своими койками. Это не считая устранимых так же регулярно с помощью мокрой тряпки плевков и немалого количества сигаретного пепла. А население нашего барака более чем на девяносто процентов — славяне, мои братья, братья по вере, по историческому прошлому, по генной памяти. Все-таки, действительно, дикость — понятие сверхинтернациональное, запредельно интернациональное, гиперинтернациональное, и никаких комментариев и никакой полемики по этому поводу быть просто не может.

Только вчера на страницах этого дневника (дневник — сказано громко, с учетом обилия любопытных глаз стукачей, частых шмонов и прочих специфических причин записи делаю в общей тетради, озаглавленной «Дневник

прочитанных книг») позволил себе вывод, что обе зоны, с которыми связана моя арестантская биография, — «не совсем правильные». Будто в подтверждение этого узнал на соседнем отряде любопытные новости о судьбе представителей «блаткомитета», что являлись неформальными руководителями лагеря в Березовке, в котором я, до переезда сюда, отбыл более года. Оказывается, почти на каждого из них по возвращении на волю обрушились серьезные, очень серьезные неприятности. Толя Брызгун — «смотрун» за тем самым лагерем (как нам говорили — видный представитель подмосковного криминалитета), едва вышел на волю, был избит самым жестоким образом, угодил в реанимацию, находится там до сих пор, и трудно сказать, чем все это для него окончится. Аналогичная судьба постигла и Любера, одного из ближайших его помощников. А вот казначей Березовского лагеря (освободился в аккурат перед тем, как я туда прибыл) просто убили. Слухи вокруг этих фактов ходят разные, но самые распространенные и самые логичные: эти люди запятнали себя сотрудничеством с администрацией, руководили лагерем неправильно, в разрез с воровскими традициями, в нарушение всех норм и правил воровской жизни. Хотя, повторяю, это только слухи, от которых лично мне, человеку, к блатной романтике, мягко сказать, равнодушному, ни жарко ни холодно.

Паша Катастрофа — редкий тип откровенно, до дикости невежественного, но способного к активному сопротивлению, целенаправленному отстаиванию своих прав, арестанта. Немало способствуют этому и сами обстоятельства его «делюги». Однажды среди ночи Паша услышал доносившиеся со двора подозрительные шорохи, возню под окном. Вышел, прихватив оказавшийся под рукой топор. В темноте скорее угадал, чем увидел контуры двух человеческих фигур, поймал обрывок диалога: «А если

выйдет?» — «Выйдет — вали...» Паша не стал уподобляться в этой ситуации солдату, который, руководствуясь параграфами Устава караульной службы, должен спросить «Стой, кто идет?» три раза и только после этого применять оружие. Он шагнул вперед и махнул топором. В итоге — труп. Убитый (умер он не сразу, а спустя несколько дней) — один из местных, неоднократно судимых ханыг, промышлявших кражами и грабежами, более того, в руках у незваного гостя был нож. Последнюю деталь и сам факт проникновения (через забор) двух известных всему поселку откровенно криминальных личностей, и попытки их попасть непосредственно в чужое жилище ни следователи, ни судьи во внимание не приняли. В итоге Паша получил аж двенадцать лет строгого режима! Вот тебе и право на самооборону! Вот тебе и неприкосновенность жилища! Вот тебе и элементарный здравый смысл! Сам он уверен, что жестокость его приговора определили два фактора. Первое — убитый, несмотря на пышную криминальную биографию, был рьяным помощником, штатным осведомителем местной милиции, которая не могла простить потери столь ценного кадра. Второе — в ходе следствия милиция (теперь, извините, полиция) просила, требовала, вымогала с Паши деньги за облегчение его судьбы, на что он всякий раз отвечал решительным отказом. Приговор поверг его в шок. Кассационная жалоба, составленная наспех, с помощью таких же малограмотных в юридическом отношении сокамерников (о чудо!), имела результат — приговор сломали, срок снизили с двенадцати до десяти лет. На этом Паша останавливаться не намерен — обзавелся юридической литературой, консультируется со всеми, кто хотя бы немного разбирается в правовых вопросах, без конца возится с какими-то вырезками, копиями, брошюрами, справочниками. Что-то читает, шевеля толстыми губами, что-то выписывает, мучая в пальцах-сардельках ручку. Часто обращается ко мне: «Фактор и вектор — это одно и то же?

А тенденция — это как? Объясни, что такое “призумция”?». Чем могу — помогаю, что знаю — поясняю. Мне симпатична его настырность, клещеобразная хваткость, последовательная упертость. Уж лучше корпеть над бумагами, заниматься собственным юридическим ликбезом, чем по полдня валяться на шконке или до одурения стучать кубиками нарда. Еще немного, и я буду готов простить ему свинскую манеру приема пищи (сидит он в столовой за одним столом, напротив меня, и все эти хлюпанья, чавканья и бульканья я вынужден выслушивать и наблюдать трижды в день). Успехов тебе, Паша, в борьбе за справедливость, скорого тебе освобождения! Но кушать все-таки надо бесшумно.

Колония наша расположена на окраине города. По словам местных, знающих окрестности арестантов, вплотную к ней с одной стороны примыкают болота. Об этом напоминают часто пролетающие очень низко над нашими бараками дикие утки, реже гуси, иногда даже лебеди и еще какие-то голенастые болотные птицы. С другой стороны к нашему «дому» подступает лесной массив. Об этом соседстве напоминают и другие птицы, какие-то неведомой мне породы многоцветные красавцы с хохолками. Каждое утро свистящей и щелкающей толпой они нападают на ближайшую к нашей «локалке» цветочную клумбу, шуршат начинающими увядать стеблями, выклеывают что-то вкусное из головок цветов. Вольные птицы в зоне — это хорошо! Это не чета местным глупым голубям, донельзя раскормленным сердобольными арестантами. Это привет из свободы, напоминание о другой жизни, иных запахах, декорациях, напоминание о воле. Между прочим, зона моего предыдущего нахождения так же располагалась на окраине города, и к ней так же примыкали и лес и болота, но никаких птиц над ней никогда не пролетало. Маршруты движения пернатых обходили ее стороной. Старые зеки находили этому

соответствующее мистическое толкование — мол, столько беды и горя сконцентрировано на этом пяточке, что рождает все это немереное количество отрицательной энергии, и будто поднимается эта энергия столбом над колонией, потому и облетают ее птицы, натываясь на невидимую, но мощную преграду. Пусть миф, но красивый и очень логичный. А еще над зоной моего нынешнего нахождения напоминанием о близких лесах часто разносится однообразная песня кукушки. Автоматически несколько раз пытался считать эти монотонные «ку-ку». Цифры повергли в изумление. Если столько осталось жить — очень мало. Если столько осталось сидеть — до жути много.

У прапорщика, выдающего посылки, диковинная кличка — Маринка. Плохая кличка. Женскими именами в зоне называют представителей самой низкой, самой презираемой касты «обиженных». Благо подобная традиция на представителей администрации не распространяется, да и ни в чем постыдном, «антимужском», Маринка не замечен, а кличку получил из-за пухлого круглого лица и постоянно детского выражения глаз. Наблюдаешь его за работой, когда получаешь положенную посылку, понимаешь: он — уникальный тип, привычки и манеры которого описывать только Н. Гоголю. Вежливый, мягкий, вкрадчивый, манеры плавные, голос бархатный, ручки пухлые. Дашь ему пачку сигарет, угостишь чем-нибудь сладким и вкусным из содержимого посылки — обязательно поблагодарит, быстро произведет досмотр, сам поможет переложить присланные гостинцы в пакет или сумку, еще раз поблагодарит, стыдливо покачивая пушистыми ресницами. А вот если не захочешь поделиться с ним содержимым посылки — не сомневайся, досмотр будет произведен с пристрастием — все лимоны разрежет чуть ли не на четвертинки, сигареты высыпает из пачек (благо не переломает), консервы вскры-

ет, точнее, пропорет, специальным штырем (не исключено, что до этого им лазили в банку с гуталином) — словом, праздничное настроение будет смазано.

А с отцом прапорщика Маринки я был знаком по месту прошлого своего нахождения, в зоне, что располагалась в поселке Березовка. Не менее колоритный тип. Правда, колорит иного толка. У отца Маринки (кличка Шкиля) «ходок» было, что у дурака махорки, почти все одна и та же 158-я статья УК РФ. Кражи. Кражи. Кражи. Сроки смешные — от года до двух с половиной. То из магазина что-то прихватит, то у собутыльников, то из гаража, то с балкона — мелочевка. Выходит, что отец, с учетом общего объема отсиженного, был типичны «арестантом по жизни». Ровно таким же, каким махровым, типичным «мусором по жизни», был его сын. При мне Шкиля досиживал свой традиционный микроскопический срок и освободился, при мне же «заехал» снова и снова, естественно, на какие-то смешные полгода. Уже сюда, в Свинушки, по беспроволочному арестантскому телеграфу донеслось известие, что Шкили больше нет, не смог перезимовать последнюю зиму, на воле где-то выпил лишнего, заснул, замерз. Не уверен, приезжали ли на его похороны сын. Отцовской темы в разговорах Маринка настойчиво избегал.

Устал пытаться объяснять своим соседям, что хроническая нехватка курева и постоянный дефицит чая у многих из них — не случайность, не следствие социальной несправедливости, а закономерный результат прежней жизни, расплата за прежние грехи, за неуважение и невнимание к людям, на воле их окружавших. Очень типичная ситуация, когда человек, на свободе не сделавший добра, ни разу и никому никогда не помогавший, оказавшись в неволе, начинает писать и звонить всем родственникам и знакомым, слезно просит помочь и страшно удивляется,

обижается, а то и попросту приходит в ярость, получая отказ. А с какой стати люди, для которых этот человек, прожив тридцать, а то и сорок лет, пальцем не ударил, со всех ног кинутся слать ему в зону переводы, собирать посылки, отправлять бандероли с чаем, сигаретами и шоколадом? К сожалению, подавляющее большинство героев подобных ситуаций просто не понимает, о чем идет речь, все их размышления на эту тему укладываются в куций стереотип: «Я сижу — значит, мне все обязаны, а насколько я сам был добр, отзывчив, доброжелателен к этим людям до этого — совсем не важно». В итоге приходится то и дело наблюдать в поведении окружающих меня людей болезненное проявление озлобленности, зависти, мстительности, а прежде всего воинствующего агрессивного иждивенчества, хронической приверженности к «халяве». Возможно, здесь речь идет о так называемом синдроме арестанта, суть которого спрессована в формуле: «Сижу — ни за что, сижу — вместо вас всех, а вы все — мне по гроб жизни за это обязаны». Понятно, это мои доморощенные наблюдения. Наблюдения вовсе не специалиста, любопытно, готовы ли что-то сказать по этому поводу специалисты, психологи, психиатры, изучающие поведение человека в неволе.

До Москвы отсюда километров шестьсот. Всего одна ночь в поезде. Вроде бы недалеко, но дыхание юга здесь куда ощутимей, чем в центре России. Лучшее красочное тому подтверждение — замеченная вчера на решетке локалки... бабочка. Бордово-красно-фиолетовая, с переливами бабочка на фоне черных прутьев локалки и прочих лагерных декораций, скудную палитру которых я совсем недавно отмечал. Трепетный контраст! И это в двадцатых числах февраля, когда весна в Центральной России обычно едва-едва напоминает даже не о себе, а о перспективах своего приближения! Конечно, и здесь сейчас ночью минус,

и нестаявшего снега еще хватает, тем не менее вот оно — неопровержимое доказательство близости теплых краев.

А контраст, действительно, удивительный! Порхающий кусочек самого яркого фрагмента радуги на фоне угрюмого торжества черно-серого и серо-черного. Известно, на кого этот контраст больше работает: то ли усиливает яркость и великую праздничность наряда бабочки, то ли подчеркивает убогий спектр окружающего пейзажа. Ту самую диктатуру черного цвета, о которой уже говорил и проявления которой ощущаю лично на себе в большом и малом ежедневно и ежечасно.

Очередная месячная зарплата взбесила — всего 80 рублей. При самом приблизительном подсчете, с учетом выполненной работы и расценок, которых никто не отменял и не снижал, это в лучшем случае — 30—40 процентов от ожидаемой суммы. Попытка обратиться за разъяснениями к мастерам промки уже традиционно окончилось ничем. Мастер нашей смены майор Р. (кличка Наркоман), отведя глаза в сторону, понес знакомую чепуху о перепутанных нарядах, ошибках бухгалтерии и т.д. Старший мастер лейтенант М. (кличка Малец, он же Подлец) даже и глаза не прятал. Нагло глядя в упор, процедил: «А че, там разве что не так, вроде все по документам...»

«Бесполезно здесь права качать», — абсолютно уверены по этому поводу те, кто сидит здесь хотя бы три-четыре года. Поясняют, демонстрируя знания многих нюансов, что заработать что-то на промке, по крайней мере, на нашем участке, даже теоретически невозможно. Львиная доля заработанных нами денег от нас отчуждается, проще сказать, воруются на текущие нужды администрации. «Текущие нужды» — отдельная тема. Здесь и минимальная, чисто формальная зарплата «мертвым душам» — тем арестантам, кто вообще на работу не выходит, проплачивая

целиком свою принадлежность к рабочему отряду, столь необходимую для грядущего УДО, и деньги, необходимые для задабривания членов проверяющих комиссий всех калибров, что регулярно появляются в зоне, и добавки к официальным весьма скромным зарплатам тех же самых мастеров «промки». Последнее — пожалуй, фактор наиболее достоверный — ведь зарплаты у них действительно небольшие, а объемы расходов, даже тех, что видны нам, зекам, у них с этой зарплатой ничего общего не имеют. У того же Наркомана шикарная иномарка, в традиции регулярный выезд в отпуск за границу. У Мальца (даром что зовут его за глаза Подлецом) — вилла-хоромы, замечательная крыша которой по злой иронии судьбы видна даже с территории промки (зона расположена в низине, а ближайšie дома, усадьбы, особняки лепятся на склонах ближайших холмов и возвышаются над зоной). Не говоря уже о дорогуших сигаретах, золотых печатках, мобильных телефонах последних модификаций и прочих видимых атрибутах шикарной жизни. Система изымания наших денег, как и последующий их «распил», складывалась годами и, разумеется, имеет не один уровень защиты: там и тройная бухгалтерия, и тщательно подогнанные наряды, и манипуляции с нашими выходами-невыходами на работу. Все это заставляет чувствовать и руководство промки и всю администрацию зоны абсолютно уверенными: у нас все хорошо, у нас все правильно, у нас все по закону.

Ничего конкретного и даже просто вразумительного по этому поводу не удалось выяснить и представителей «блатобщественности» — «смотрунов» всех калибров («смотрун» за сменой, «смотрун» за швейкой, «смотрун» за участком и т.д.), комментарии каждого из них укладывались в универсальную формулу: «Ну, здесь так принято, не нами заведено, ты один здесь ничего не изменишь».

Все равно решил написать письмо на имя начальника зоны, напомнил, что зарплата моя ничего общего ни с вы-

полняемым объемом работы, ни со здравым смыслом не имеет, просил разобраться, в случае невозможности последнего заявлял о готовности перечислять всю зарплату в УФСИН РФ для дальнейшего распределения между особо нуждающимися сотрудниками ведомства.

В конверт письмо запечатывать не стал, зачем тратить конверт, если вся корреспонденция наша внимательно читается специально уполномоченными сотрудниками. Реакция руководства не заставила ждать. Через пару дней вызвали на вахту. Сам дежурный, знаменитый гроза всей зоны, майор Юрич, тщательно нервно охлопал меня, отобрал ложку (по вековой зековской традиции с ней лучше не расставаться в силу очень многих, очень разных причин), буркнул: «Тебя к “хозяину”». Окончив шмон, он не удержался и полюбопытствовал: «А зачем тебя к нему?» Я пожал плечами. «Писал что-то?» «Писал, писал» — кивнул я. «Давай по коридору, последняя дверь налево».

Уж так случилось, что, отбыв на этой зоне уже восемь месяцев, «хозяина» я ни разу не видел. Теперь, переступив порог кабинета, увидел малорослого, крепкого, бесцветного мужчину в «вольных» серых старомодных брюках (была суббота, и полковник Гребнев был в гражданке), подпоясанных нелепым ярко-желтым ремешком. Вошел, поздоровался, представился, как положено, больше ничего и сказать не успел. Коротышка за столом грозно сдвинул светлые брови: «Чегой-то ты там написал?» Кажется, у меня в этот момент что-то замкнуло, говоря языком этих мест, «заштоторило»: «Не ты, а вы, не написал, а написали». Брови полковника еще больше сдвинулись к переносице. Только на мгновение в глубоко спрятанных под этими бровями глазах мелькнула почти детская растерянность: «Ну, эта... а с какого ты года? Ага, у нас разница в два года, могу я и на ты обращаться». Пусть минутная, но растерянность в подобной ситуации — все-таки победа, и я имел полное право очень спокойно ответить: «Если вам так удобно, если

вы так привыкли, если вы так настаиваете, с учетом разницы в нашем положении» (здесь я многозначительно указал на зековскую нашивку — табличку на груди с фамилией и номером отряда). Контакт, судя по всему, состоялся, подробно пересказывать дальнейший разговор нет смысла. Я, по сути, еще раз изложил содержимое своего обращения. Полковник Гребнев слушал не столько внимательно, сколько настороженно. Не задал ни одного вопроса, только в самом конце произнес дежурное для начальников всех «рангов и времен»: «Разберемся». Потом не удержался и обронил виновато: «Но а в Москву-то, наверно не надо». «Возможно, не надо», — миролюбиво поддержал я тему.

Разбирался полковник Гребнев с моим заявлением весьма своеобразно. Понятно, в соответствии с традициями системы и собственными понятиями, что такое хорошо, и что такое плохо. Уже на следующий день меня вызвал начальник отряда. Взвинченный, взъерошенный. То орал, то бубнил. Смысл его нервного речитатива был таков — зачем ходил к хозяину через его, начальника отряда, голову, когда можно было все решить здесь в отряде, не вынося сор из избы. Еще через день на нашем швейном участке появился начальник промки всей зоны — полковник с запоминающейся внешностью, этакая чуть похудевшая копия нашего завхоза Вия (квадратное туловище, коротенькие ручки, нелепо торчащие с боков этого туловища, голова без шеи, плюс хриплый, надтреснутый голос). Через силу, с громадной натугой он был вежлив («Чего вы хотите? Не устраивает зарплата? А сколько бы вас устроило?»). Он ничего не обещал, но предложил: «Может, вам в ткачи перейти?» Ткачи на промке — профессия суперэлитная, заработная плата у них более тысячи рублей, для нашей зоны это деньги свеххорошие. Другое дело, что чаще всего выдвигают на эту работу люди из администрации, люди в погонах — потому и с душком она, эта профессия. Соглашаться на подобный переход было бы просто неприлично.

В последней посылке среди продуктов и прочих важных в арестантской жизни вещей ко мне «приехал» зубной эликсир — жидкость веселого ярко-зеленого цвета в прозрачном пластиковом флаконе. Тот самый, что приятно освежает рот и десны после чистки зубов. Плюс, как утверждают изготовители, является эффективным профилактическим и дезинфицирующим средством, что в нынешних условиях совсем не лишнее. Разумеется, эликсир изготовлен на спиртонесодержащей основе, иначе ко мне в руки он просто не попал бы. Естественно, что выдававший посылки легендарный прапорщик Маринка, руководствуясь то ли ведомственной инструкцией, то ли личной инициативой, флакон вскрыл, шумно понюхал содержимое, почти ввернув при этом его горизонтально в свою лохматую ноздрю. Более того, затем он выплеснул на ладонь зеленую капельку, лизнул ее и почти разочарованно чмокнул, что следовало понимать как подтверждение всякого отсутствия там спирта.

После этих вполне понятных, хотя и не очень объяснимых с точки зрения здравого смысла, процедур флакон занял свое место в моей прикроватной тумбочке рядом с мыльницей, бритвенным станком и прочим нехитрым арестантским скарбом.

Уже через два дня содержимое флакона убавилось почти вдвое.

Двойственное чувство одолело по этому поводу. С одной стороны — забавно, если представить физиономию человека, так от души хлебнувшего, а возможно, и даже проглотившего столько этой весьма специфической не только по цвету, но и по вкусу жидкости. С другой стороны — брезгливо, досадно, ибо за подобным фактом очередное свидетельство масштабов распространения такого постыдного для арестантской среды явления, как крысятничество, главное гнусное последствие которого, разумеется,

не материальные потери, а создание благодатной среды для всякого рода подозрений, упреков и прочих видов недоброжелательности.

Так кто же мог отлить, отпить, отхлебнуть зеленой жидкости из моей бутылочки? Ведь мое спальное место расположено так, что случайному человеку (обитателю соседнего проходняка, жителю другой секции и т.д.) попасть сюда почти невозможно. Что же касается моих ближайших соседей... Кажется, здесь все приличные, все порядочные люди. Люди-то порядочные, но флакон-то ополовинен... Кто же на это решился?

Сосед сверху? Саша Морячок, бывший алкоголик (хотя, бывших алкоголиков, как и бывших наркоманов, почти не бывает)? Не думаю. Не замечал. Не похоже. Возится он со своими тряпочками-сопливничками, то сморкается, то стирает, то сушит... и ладно! Никогда ни в чем нехорошем замечен не был.

Сосед сбоку? Серега? Исключено вовсе. Мы с ним семейничаем уже почти год, его привычки, повадки, манеры во всех нюансах я знаю. Не могу даже представить, чтобы он хлебал из моего флакона, к тому же без спроса взятого из моей тумбочки.

Есть еще один сосед — узбек Эркин. Однако у него серьезное наркоманское прошлое. Алкоголя за свои тридцать с изрядным хвостиком лет он так и не «раскушал». Да и не было случая, чтобы каким-то поступком он давал основания подозревать себя в нездоровом интересе к чужому.

Чуть более отдаленные соседи? Дед Василий и чеченец Муса? Опять исключено. Потому что и тот и другой, несмотря на разницу в вере, возрасте, образе прежней «допосадочной» жизни предельно щепетильны в моральных вопросах и позариться на что-то чужое никак не могут.

Кажется, все. В итоге все — свои, все — порядочные. А полфлакона — как не бывало! В этой ситуации лучший выход — вовсе забыть «крысиный» аспект случившего-

ся и попытаться посмотреть на все имевшее место через призму... юмора. Опять же попытаться представить выражение лица человека, хлебнувшего зеленого пойла, да посокрушаться, какой, мол, нынче наивный арестант пошел — верит, допускает, что у соседа среди белого дня в тумбочке что-то спиртосодержащее, градусоемкое, пусть для питья и не предназначенное, вот так откровенно может стоять. Хорошо, что еще никто не проверил опытным путем наличие спирта в шампуне, что стоял почти рядом и цвет имел не менее яркий, не менее привлекательный, чем жидкость для полоскания рта после чистки зубов.

На том и закроем «эликсирную» тему.

«В тюрьме си-ди-и-им», — часто повторяют по любому поводу многие из моих нынешних соседей. «В тюрьме си-ди-и-им!» — удобная ширма, за которую можно спрятать все: бескультурье, граничащее с дикостью, пещерное невежество, подлость. «В тюрьме си-ди-и-им», — гнусавит «брат мой каторжанин» и харкает рядом с собственной койкой. «В тюрьме си-ди-и-им», — вторит ему другой и настойчиво клянчит у новичка курево, которого тому самому до ларька не хватит. «В тюрьме си-ди-и-им», — тянет третий и подставляет под неминуемые неприятности соседа, задвигая во время шмона за его тумбочку свою канистру с брагой. И как тут не вспомнить, что другое, такое же часто употребляемое, такое же скотское, по сути, выражение, здесь: «Без лоха — жизнь плоха».

Отрядные «козлы» избили узбека У. От события двойственное впечатление. Конечно, «козлы» хозяйничать на бараке не вправе. Ясно, что они действовали, получив, скорее всего, «добро» от «отрядника». Выходит, «козлы» осуществили акцию мусорского беспредела. Тем более что по-

водом к экзекуции стали какие-то претензии отрядника по отношению к узбеку (то ли пререкания на построении, то ли невыполнение команды «подъем»). С другой стороны... Самое время вспомнить, что этот узбек — законченная сука. Стучал еще в Березовке. На всех и вся. По любому поводу, порою даже привирая и домысливая. Гадкое свое занятие продолжил и здесь, в Свиноушках. Да и сидит узбек У. по сверхгрязной «делюге»: изнасиловал и убил малолетку. Трудно предсказать, какие последствия будет иметь этот инцидент, да и сама судьба «главного героя» труднопредсказуема. И персона своеобразная, и зона специфическая. Поживем — увидим!

Жду развития ситуации с последствиями моего письма на имя хозяина, с претензиями по поводу невыплачиваемых денег, украденной зарплаты и т.д. Возможны различные сценарии. Сценарий первый — почти «силовой». Самый типичный для этой зоны, самый привычный для этой администрации. Меня начнут прессовать. За каждый пустяк — выговор. За более серьезное нарушение (разумеется, спровоцированное) — изолятор. Потом списание с промки, перевод из рабочего барака в нерабочий. Сценарий, повторяю, для этого учреждения почти фирменный (ноу-хау, «а-ля Свиноушки»), но кто сказал, что я все это буду глотать? Существует прокуратура, обязанная надзирать за соблюдением законности, в том числе и в местах отбывания наказаний, существуют вышестоящие чиновники тюремного ведомства, также что-то обязанные, существует, наконец, суд. Словом, дверей, в которые я готов стучаться, немало.

Есть еще одна разновидность силового сценария — настраивание на меня других арестантов, использование потенциала «мурчащих» (приблатненных), возможности «блаткомитета», который все чаще выступает в зоне в виде

придатка администрации. И здесь надо быть готовым ко всему: от душеспасительных бесед в углу до банального лобового наезда. И эти варианты я обдумывал, просчитывал. Соответственно, я предупрежден, значит, я вооружен.

Кстати, на днях нынешний «смотрун» нашего отряда Виталий К., столкнувшись нос к носу со мной в барачном коридоре, будто спохватившись, спросил: «А чего ты к “хозяйину” ходишь — жалуешься?» Этого вопроса я ждал, к этому вопросу я был готов: «Во-первых, не жаловаться, а пытаться решить чисто мужицкую проблему, которую ты, кстати, игнорируешь», — кажется, здесь я наступил на одну из «мозолей» нашего «смотруна». Исходить из классического тюремного кодекса решения проблем мужика — главная сфера деятельности «смотрунов» всех калибров. На нашей зоне (красной, коммерческой, как охарактеризована она в Интернете) эти вопросы из деятельности «смотрунов» полностью выпали, вот и «смотруну» моего отряда в этой ситуации ответить мне было нечего. Он и не ответил, разве что буркнул: «Ну ладно, если что — подходи».

Возможен в этой ситуации и второй сценарий развития событий — «покупной», точнее продажный. Меня попытаются купить, бросить какой-то кусок, заглотив который я замолчу, заткнусь, успокоюсь. Возможно, это будет достойная зарплата в течение одного-двух месяцев, возможно, какие-то перемещения по работе (что-то вроде того, что озвучил полковник Вий, приходивший ради меня в наш швейный цех). Только неужели из того, что администрация сможет мне предложить, что-то меня устроит? Да и стоит ли здесь торговаться?

А третий, самый вероятный, сценарий развития этой ситуации — элементарная попытка отмолчаться, спустить все на тормозах, на авось. Заболтать и замолчать проблему всегда проще, чем ее решить. Скорее всего, именно так и будет, тем не менее «заточку» на магните на нижней стороне койки (распространенная форма хранения самодельных

ножей на зоне) я передвинул ближе к изголовью — легче достать, проще дотянуться. На всякий случай!

Жара. По-прежнему жестокая, рекордная, испепеляющая жара. А в жару все типичные, давно прописанные в зоне запахи отчетливее, сильнее, жестче. Главных из них два. Первый — амбре ближайшего болота. Второй — вонь лагерной помойки. Похоже, что роза ветров складывается здесь так, что стоящие один другого запахи не выветриваются, а накапливаются, прессуются, увеличиваясь в своей гадкой концентрации. Они пропитывают нашу одежду, намертво въедаются в кожу и волосы. Не помогает ни стирка с порошком, ни баня с мылом и шампунем. Эти запахи — как временное тавро, напоминание каждому из нас от зоны: «Ты — здесь, ты — мой, пока ты здесь, это запах будет сопровождать тебя, будет частью тебя самого».

Продолжаю удивляться примерам на тему «как легко здесь себя потерять». Очередная иллюстрация — Эрик К., москвич, в недалеком прошлом бакинец, перебравшийся еще в середине 80-х в столицу и основательно там закрепившийся. Нет смысла пересказывать основные карьерные вехи его биографии, скажу одно — судимость застала Эрика в должности чиновника важной административной структуры одного из районов Москвы. Судили его за мошенничество (что-то мухлевал с покупкой и перепродажей земельных участков в ближнем Подмосковье и других сопредельных со столичным регионов). Знаю Эрика еще по Березовке, по прибытию в лагерь застал его в должности завклуба. Должность откровенно «козлиная» (на зоне эта должность — всегда аванс от администрации, который надо отрабатывать). Но не бесполезная: каждый вечер в клубе репетировал лагерный вокально-инструментальный

ансамбль, на базе клуба проводились какие-то концерты, тлела чахлая лагерная художественная самодеятельность — словом, происходило то, что скрашивало наши тамошние будни (справедливости ради замечу, что ничего даже близкого к подобному здесь, в Свиноушках, не существует, не проводится, не осуществляется). Потом с клубной работой у Эрика что-то не заладилось. И вынужден он был с привилегированного «козьего» отряда (облегченный режим содержания, льготы по посылкам и свиданиям, койки в один ярус и т.д.) переехать на самый обычный барак, где бывших «козлов» не жалуют и «козьего» выбора не прощают, о чем и напоминал громадный черно-свекольный фингал, что таскал на своей физиономии Эрик больше недели. Ему бы одуматься да пойти на промку, освоить пару операций на швейной машинке и... строчить до конца срока. Да не тут-то было. «А он, мятежный, ищет грязи!» Вот и всплыл Эрик на очередной «козлиной» карьерной ступеньке в лагерной санчасти то ли дневальным, то ли помощником санитары — словом, шнырем. Бегал с журналом записи больных, что-то прибирал, что-то переписывал. Только и в санчасти у него не сложилось. Случилась там какая-то невнятная история со шмоном, с телефоном, что «отмели» с «курка», о котором знали только самые посвященные, и еще что-то мутное и нехорошее, имеющее самое прямое отношение к Эрику. Опять были у него неприятности, и снова эти неприятности носил он на своем лице в виде ссадин и кровоподтеков.

Почти в одно время со мной переехал Эрик из Березовки в Свиноушки, и... опять за старое. Объявился на кухне в качестве что-то вроде помощника повара, видели его в проеме окошка «Раздача пищи» в белом колпаке и в не очень белой, точнее, грязной тужурке, рядом с котлами и кастрюлями, в облаках «кухонного» пара: что-то он там помешивал, подсыпал, подливал. Окликал он порой меня из этого окошка с дежурным банальным вопросом: «Как дела?» То ли по наи-

вности, то ли от избытка наглости полагал, будто мне есть что ему ответить, будто было о чем мне с ним разговаривать. Больше того — пару раз из этого своего окошка («Раздача пищи») делал царственно-призывный жест и протягивал тарелку с кашей и мясом, где каши было куда меньше, чем мяса, и очень удивлялся, когда я мотал головой по этому поводу. То ли не понимал, то ли прикидывался непонимающим. Неужели не задумывался, как мог я на виду у всех взять эту тарелку и тем более на глазах у всех есть из этой тарелки, где мяса было больше, чем каши, когда всем этого мяса положено было по одному-единственному кусочку размером с половинку спичечного коробка? Эх, Эрик, Эрик! Вроде бы грамотный, вроде бы читал много, вроде бы рассуждать мог по любому поводу!

И по кулинарной части у него не получилось. Вылетел он из поварской обоймы в «столотеры» («козлиная», малоуважаемая должность, заключающаяся в регулярной уборке обедков со столов и протирании этих столов вечно грязными, вечно сальными тряпками). Вот и видим теперь мы Эрика практически в любой свой приход в столовую неразлучным с ведром для обедков и этими самыми тряпками. Арестанты, что позлей да поехидней, одним и тем же его вопросом мучают-корябают: «Что, Эрик, не вышел из тебя повар?» Произносится это с той же интонацией, с которой в фильме по сказам Бажова вопрошала Хозяйка Медной горы: «Что, Данила, не выходит каменный цветок?». Угинается Эрик, делает вид, что не слышит, и еще быстрее возит тряпкой по поверхности стола. А ведь ответить ему действительно нечего.

Расхожий стереотип-трафарет. Труд в концлагерях Третьего рейха как символ унижения, как орудие убийства, как вид сверхжестокого наказания. Образ, вколотый в сознание многих поколений, образ, усвоенный

генной памятью миллионов, образ, ставший обязательной составляющей частью идеологии и политики сотен государств. Образ-эталон, не допускающий и толики сомнения, исключаящий сам факт полемики, дискуссии, элементарного уточнения. Если свести все ранее сказанное и все абсолютно понятное к более лаконичному, получается что-то вроде: труд-унижение, труд-казнь, труд-пытка. Кажется, предельно насыщенная смыслом формула использования труда в тех самых ужасных лагерях того самого людоедского Третьего рейха.

А если попробовать перенести эту формулировку из той страшной эпохи, из того античеловеческого государства в наше время — время торжества гуманизма и демократии, в наше государство — государство победившей (иногда так и хочется сказать — беснующейся) демократии? Интересные получаются параллели.

Унижение? Этого здесь хватает. Каждую смену, каждый выход. Унижение и обыск на входе и выходе с промки, и бесконечное тупое ожидание, связанное то с подвозом сырья, то с ремонтом станков. А еще едкая духота летом (на вентиляции, понятно, сэкономили), лютая стужа зимой (цех, по сути, не отапливается), хамство со стороны мастеров (чего стоит уже ставшее почти анекдотом высказывание одного из них: «Вы здесь не по договору, а по приговору»). Самая концентрированная порция унижения — получение зарплаты, точнее, знакомство с ее размером, которое происходит, когда мы расписываемся в зарплатной ведомости. Узнавая о сумме начисленных денег, кто-то истерично хихикает, кто-то отчаянно матерится, в лучшем случае, брезгливо морщится. Я еще не встречал ни одного арестанта, кто бы принимал определенную ему зарплату как должное. Самое время вспомнить, что труд здесь — дело добровольное. С учетом этого и горечь от всех унижений, получаемых в процессе этого самого труда, особенно ощутима. Плюс постоянный риск угодить в чис-

ло списанных с промки (списывают легко, восстановиться очень трудно).

По большому счету речь идет не о разовых унижениях, которые можно считать (пусть для этого пальцев двух рук будет мало). Речь идет о глобальной стереосистеме, бездонной емкости унижений, в которой барахтается каждую смену всякий, выходящий на промку.

Труд как казнь. И тут все понятно, все близко, все на поверхности. Достаточно зайти в ангар, что считается нашим рабочим местом, и вдохнуть воздух, которым мы дышим каждую смену. Этот воздух настоен на запахах пленки и мешков, изготовленных из полипропилена, полиэтилена и прочей химической гадости. Не уверен, можно ли вообще работать с этими материалами без особого снаряжения (респираторов, спецодежды и т.д.), но уверен на двести процентов — в любом случае работа с этими материалами здоровья не прибавляет. Чем не казнь, медленная и методичная? Разве есть статистика, какие хронические болезни приобретают работающие здесь люди, чем они болеют сразу по выходе на свободу и от чего часто умирают, едва получив эту самую свободу?

Труд как пытка. Никаких сенсаций, никаких открытий. В ситуации, когда труд выступает и как медленная казнь, и как изоциренное унижение, пытка тут как тут. Концентрированное унижение (о котором уже сказано) — разве не пытка? И медленная, растянутая на весь срок с переходом на вольный период биографии, казнь — разве не пытка?

И ладно (не боюсь повториться), если бы все это относилось к труду обязательному, принудительному, на который поднимали бы пинками и гнали палками. Напоминаю и подчеркиваю, речь идет о труде добровольном, к которому стремятся, за право на который борются (а как иначе, ведь без трудоустройства и условно-досрочное освобождение практически невозможно, да и в четырех стенах барака без выхода на работу попросту с ума сойти запросто можно). Кста-

ти, здесь все, что касается труда и работы, еще не так плохо. В других лагерях, судя по просачивающейся сюда информации, еще хуже. Выходит, надо радоваться тому, что имеем.

Слово «дай» — пожалуй, самое употребляемое, самое востребованное слово в лексиконе арестантов. Даже плохо знающие русский язык таджики и узбеки («Я по-русски, эт-та, плоха-а-а знаю...», «Я твоя совсем не понимаю...») произносят его безукоризненно чисто, без всякого акцента. У этого слова здесь масса нюансов в интонации (от рабски заискивающей «да-а-а-ай», до агрессивно угрожающей «да-й-й-й!»). Крайне редко это слово сопровождается традиционной в обычной обстановке прибавкой «пожалуйста». Похоже, что о существовании последнего люди, столь часто употребляющие «дай», просто вообще не знают. Впрочем, ничего удивительного. Удивительно другое. Те, кто часто употребляет это слово, точнее сказать, злоупотребляющие этим словом, быть еще точнее, постоянно изощренно насилюющие этим словом, не относятся к категории брошенных, утративших связи с волей, утративших поддержку друзей и родственников в виде переводов, посылок и передач, людей. Это совсем другая категория категория захребетников, халявщиков, имеющих главной задачей каждого дня (правильнее сказать, часа) набить брюхо. Пустячная, но очень говорящая, очень характерная деталь — поведение этих людей при ежемесячном посещении ларька (двадцатые числа каждого месяца), где арестанты тратят свои скудные заработки, получаемые с воли переводы. Очень немногие из курящих покупают здесь спички, рассуждая: «Зачем тратить здесь лишние копейки, когда можно прикуривать у соседей, а на сэкономленные деньги купить пряник или шоколадку?» Да что там спички! Те же курящие предпочитают тратить свои деньги зачастую вовсе не на сигареты, а на те же сладости и прочую жратву, будучи твердо увере-

ны, что сигарету всегда можно «стрельнуть». Тем более что в тюремном лагерном этикете вроде как существует правило на просьбу помочь в «насущном», в первую очередь в чае и куреве, не отказывать. А уж что касается несъедобно-некуриТЕЛЬНЫХ мелочей арестантского быта, то многочисленны мои нынешние «коллеги» просто уверены, что эти якобы мелочи, вроде конвертов, открыток, ручек, сапожного крема и т.д., должны приобретать, просто обязаны приобретать кто-то из соседей, но только не они сами. Эдакий первобытно-тюремный коммунизм под лозунгом «Без лоха жизнь плоха», большевистско-неандертальская модель общества с криминальным привкусом.

Хуже, гораздо хуже стали кормить. Еще год назад в нашем рационе присутствовала гречка (пусть редко), рис (достаточно часто), пшено (по несколько раз в неделю), ощущалось наличие мяса (пусть в виде микроскопических, но все-таки исключительно натуральных котлет по средам), порционного мяса на второе и т.д. Ныне — ни пшена, ни риса, ни гречки. Знаменитые котлеты по средам лепятся исключительно из сои. Мясо вообще заменено желтыми кусочками сала в подливке непонятного и весьма сомнительного происхождения. Молоко на ужин напоминает помой, что образуются в результате поспешного ополаскивания емкостей от сгущенного молока. Основа нашего рациона ныне сечка, перловка, редко макароны, сухая картошка. Последний продукт свертотвратительного качества. Добрая половина его почерневшая, испорченная, то ли сгнившая, то ли пораженная каким-то грибом. Качество рыбы, ежедневно подаваемой на ужин, уже описывалось. Жаловаться? Во-первых, это просто не принято, как здесь говорят, «не приветствуется». Во-вторых, это просто бессмысленно. Подобные жалобы просто не выходят за пределы лагеря, зато реакция лагерной администрации будет незамедлительной.

Арсенал знаком до боли. Это может быть и серия ударных, беспредельных «шмонов» в отряде, где содержится автор жалобы. И натравливание на него «блатных» соседей. И бесконечные дисциплинарные придирки к нему по всякому ничтожному поводу (за самовольное оставление локального участка, за «недолжным образом» запроваленную койку и т.д.). Вполне объяснимо, что «блаткомитет», местный «кремль», заседающий и проживающий на втором отряде, на самую насущную проблему нашего питания никак не реагирует. Ведь лагерный «порцион» они совсем не потребляют, а обостряют лишний раз отношения с администрацией из-за голодающих «мужиков» в их планы, разумеется, не входит. Придется подзатыгивать пояса...

Иногда начинает казаться, что самая неприятная, самая опасная категория населения лагеря — не те, кто попал сюда за то, что отобрал у кого-то жизнь (убийцы), и не те, кто целенаправленно укорачивал жизнь других (наркодельцы), и не те, прочие, угодившие сюда за совершение чего-то нехорошего, социально опасного. Опасны те, кто, оказавшись лишенным свободы в лагере строгого режима со всеми вытекающими последствиями, признаются, что несвобода их вполне устраивает, что здесь даже лучше, чем на свободе. Объясняя подобную позицию, эти люди оперируют, прежде всего, санитарно-бытовыми аргументами (кормят трижды в день, в баню водят, белье меняют, телевизор смотреть можно почти круглые сутки). Немногие признаются, что зона помогает им воздержаться от алкоголя и наркотиков, тем самым предохраняя от больших бед. И только совсем немногие, самые наглые, самые циничные, соглашаются, что в зоне куда более благоприятные условия для халавы, для захребетничества, для существования за счет других. Разумеется, оказавшись на воле, они не испытывают ничего похожего на страх по по-

воду возможности вернуться на зону, вновь оказаться за решеткой. Понятно, отсюда и высокий процент рецидивов (повторных преступлений для этих людей). С точки зрения социологии, криминологии и прочих наук эти люди особенно опасны для государства, для общества. В очередной раз вспоминаешь, как, на какие категории разделяются животные, оказавшиеся в неволе. Кто умирает, кто перестает размножаться, кто радуется аппетитом, стабильно набирает вес, всегда готов к размножению. Конечно, всякая параллель хромает, конечно, «человек» звучит гордо, но...

И сам не знал, не догадывался, что оптимизм, волю, веру в лучшее будущее можно черпать из прошлого. Из собственного прошлого. Из очень личного прошлого, из прошлого двухгодичной давности. Тогда, чтобы преодолеть шок, что накрыл меня после суда, приговор «восемь лет строгого режима» (и это в то время, когда была прямая надежда на переквалификацию дела, на условный срок, когда вроде бы присутствовала деятельная суэта адвоката, когда из дела торчали во все стороны белые и грязные нитки...). Конечно, вспоминался — да что там вспоминался, не забывался ни один день, — шеф, главный редактор издания, которому я отдал десять последних лет своей жизни, что за день до суда пошел в коридор, почему-то воровато оглядываясь по сторонам, приобнял пухлой рукой и вкрадчиво шепнул: «У тебя все нормально будет, тебе условно дадут два года, я уже знаю, мне так обещали...» А тут восемь лет! И строгого режима! Попав под бутырские своды, первым делом раздобыл лист бумаги, который сразу же стал заполнять строчками-заклинаниями не раскисать, собраться... Тогда мне казалось, это поможет избежать ступора, преодолеть ночь, просто не сойти с ума. Ныне, спустя два года, вспоминаю это время со смешанным чувством. С одной стороны, гордость за себя, что

смог в миг опасности преодолеть себя, сгруппироваться, с другой стороны — что-то вроде внутренней снисходительности, ухмыльнулся про себя: экий неисправимый психоаналитик доморощенный! Тем не менее два года с тех пор минуло, и прожил я их с учетом нынешней специфики достойно, не сошел с ума, не вошел ни в какие конфликты. И по кассационной жалобе год «откусил», и на результаты надзорной жалобы надеюсь, и, слава богу, жив, здоров и читать-писать не разучился, и думать...

Поймал боковым слухом отрывок разговора соседей. Речь шла о плачевном состоянии общества, повальной коррупции, продажности верхних эшелонов власти — словом, обычном нашем национальном «куда катимся?». И вдруг свеженькое предложение одного из участников разговора: «Есть выход, есть возможность все проблемы решить, надо президентом — вора в законе поставить, понятно, самого достойного из достойных. Он все по понятиям сделает, все нормально будет, порядок будет, все довольны будут». Говорившего никто не поддержал, но никто ему и не возразил. А минутой позже участники того же разговора подарили мне дивный образец местного юмора. Очень типичный и по теме, и по форме изложения: «А чего-то Андрюха так часто в баню ходит?» — «Да, наверное, на задницы посмотреть». — «Да нет, не посмотреть, а свою показать. Видел, как гарцует». Своеобразный, очень своеобразный юмор. Впрочем, каким еще быть юмору в этих местах?

Особенность расположения нашего барака я уже отмечал: с одной стороны — болото (потому и характерное амбре летом, отсюда и пролетающие над зоной гуси-лебеди весной и осенью), с другой стороны — меловые крутобокие холмы. Именно к подножию одного из таких холмов привле-

пился наш барак. Его окна в упор смотрят на склон холма. Поэтому — ни горизонта (совсем), ни неба (почти) из этих окон не увидеть. Не лучший пейзаж! Круглосуточное ощущение нахождения то ли в окопе, то ли в подвальном помещении. Неужели и эта особенность нашего быта — тщательно продуманное дополнение к нашему наазанию?

Опять вспоминалась случайная экскурсия в тюрьму американского города Сиэтла, где оказался в редакционной командировке еще в начале девяностых годов прошлого века. Показательно, что все камеры там расположены были так, что окна их обязательно выходили на живописный лес (на переднем плане) или на не менее живописные горы (на дальнем плане). Открывающийся пейзаж можно было рассматривать часами, открывая все новые, ласкающие глаз, детали. Неужели Америка своих арестантов любит больше, чем Россия своих?

Заодно вспомнились и пейзажные панорамы, что открывались из окон камер московских изоляторов, с которых начиналась моя арестантская биография. Из окон камеры «на Петрах» (так на тюремном языке называется изолятор на Петровке) благодаря глухим жалюзи не было видно ничего. Единственное окно (размером с не очень большую форточку) в камере «Пятерки» (пятый московский изолятор, расположенный в районе Речного вокзала) упиралось в глухую стену то ли сарая, то ли гаража (соответственно ни солнца, ни неба — ни-ни!). Скромное окошко в Бутырской камере выходило на кирпичную стену соседнего тюремного корпуса, и, чтобы увидеть лоскуток неба, надо было залезть на «пальму» (второй ярус двухэтажной тюремной койки) и под определенным углом очень сильно вывернуть голову.

Очень похоже, что карательная система российского государства обладает уникальным опытом наказания «пейзажем из окна» для окончательного расплющивания-размазывания человеческого достоинства. Эдакое ноухау.

И еще один шмон. Разумеется, как и все предыдущие, «бесмысленный и беспощадный». Мои потери на этот раз — ножницы и заточка. Заточку за несколько пачек «фильтровых» сигарет можно будет заказать местным умельцам на промке (еще лучше прежнего сделают в самое ближайшее время). С ножницами — сложнее. Скорее всего, их придется украсть на промке и пронести в барак в ботинке под стелькой. Правда, если при выходе с работы будут не просто формально охлопывать по карманам, а шмонать с фанатизмом, используя металлоискатель, то неприятностей не избежать, но... авось обойдется!

Удивительно, но оба ушедших в ходе шмона предмета до сих пор относятся к разряду запретных, т.е. предметов, которые иметь в зоне запрещено. Ситуация сродни секрету Полишинеля. Все знают, что эти вещи — запрет, но у всех они есть (да и как без них обходиться?), специально их никто не ищет, но если они появляются на глаза представителям администрации — их изымают. Понятно, при полном осознании, что через считанные дни они снова появятся.

У соседей потери куда более ощутимей — спортивные костюмы, кроссовки, теплые «вольные» вещи. Между прочим, арестантам разрешается иметь одежду и обувь, необходимые для занятий спортом. Значит, впереди утомительные процедуры обивания порогов у отрядника, начальника оперчасти и прочих представителей администрации. Если повезет, то кое-что из пропавшего будет где-то и обнаружено и возвращено, но скорее всего, эти вещи исчезли бесследно. Разве что всплывут в ассортименте товаров у лагерного барыги (в обмен на другие вещи, за сигареты, за наличные деньги и т.д.).

Впрочем, материальные потери от шмонов, как правило, уступают потерям моральным. В ходе каждого подобного «мероприятия» многие наши вещи не просто меняют место своего нахождения, а разбрасываются, портятся, ло-

маются, пачкаются. После предыдущего шмона на любом обнаруженном под кроватью полотенце красовался отчетливый отпечаток рифленой подошвы башмака кого-то из контролеров. На добрую, так сказать, память!

А еще в ходе шмонов принято извлекать и выбрасывать картонки (развернутые коробки для продуктов) из-под наших матрасов. С их помощью мы пытаемся выравнить наши продавленные койки. Дело в том, что конструкция нынешних арестантских кроватей (возможно, это только в нашей зоне) весьма специфичная — ни панцирных сеток, ни пружинного плетения — днища у них образуют приваренные крест-накрест хлипкие железные полосы, имеющие особенность или прогибаться до самого пола, или отрываться вовсе. Почему-то никого, кроме нас, эта проблема не интересует. Решаем ее как можем (самое реальное — договориться с лагерными сварщиками за сигареты), в том числе и с помощью этих самых картонок, которые в ходе шмонов столь безжалостно изымаются.

Кстати, пока доверял дневнику подробности последнего шмона, выяснилось, что в ходе его я лишился не только заточки и ножниц. Заодно с «запретами» исчезла нераспечатанная стограммовая пачка растворимого кофе и три пачки сигарет с фильтром, приготовленных на текущие нужды (пачку — уборщику барака, пачку — заготовщику пицци и т.д.). Ситуация более чем типичная. Когда же они накурятся и когда же чужой кофе начнет вызывать у них рвотный рефлекс?

Конечно, я могу написать «телегу» с описанием случившегося на имя начальника колонии, я даже имею право обратиться в суд. Вот только как я смогу доказать, что эту кражу совершили люди в погонах, для которых шмон — главная составляющая часть их работы, а результаты этого шмона (и сигареты, и кофе, и много чего еще) — важная прибавка к основному жалованью (как бы даже не наоборот), а не мои соседи? Кажется, здесь я бессилён, и бессилие это изначально запрограммировано в состав всех ощущений, что

я призван здесь испытать, как важное дополнение к самому факту (не важно, заслуженного или нет) моего наказания.

Почти в продолжение некогда затронутой национально-интернациональной темы с чеченским уклоном. Своего соседа-«семейника» (с ним мы вместе пьем чай, помогаем друг другу в мелочах арестантской жизни и т.д.) чечена Мусу я поздравил с днем рождения весьма оригинальным образом. Уверен, так его никто никогда не поздравлял в прошлом, не поздравит в будущем. Кроме традиционной в этих условиях по этому поводу пачки хороших сигарет («Мальборо» в твердой пачке) вручил заранее заказанную на воле и в срок присланную (спасибо дочери!) копию-распечатку отрывка из «Архипелага ГУЛАГа» А. Солженицына, посвященного...чеченцам. Известный, уже хрестоматийный отрывок, в котором автор в самом комплиментарном виде отдает должное волевым и свободолюбивым особенностям чеченского национального характера. Виновник торжества долго держал в руках страницу текста — или читал по складам (что скорее всего, ибо я видел, как шевелились его губы, как медленно двигались глаза по строчкам), или тщательно переваривал смысл, скрытый в отрывке знаменитой книги. А еще я обратил внимание, как ближе к концу этой паузы лицо моего соседа просветлело, как сверкнуло в его глазах что-то далекое, влажное и блестящее.

Не видел, чтобы еще кто-то поздравлял Мусу в тот день. Разве что еще один наш общий сосед по проходняку Серега Ч., приплюсовавший к моим подаркам пару новых «хозяйских» хлопчатобумажных носков и маленькое «нулевое» (т.е. абсолютно новое) «вольное» (т.е. присланное, переданное или сохраненное после всех этапов и «транзиток») полотенце. Повторяю, не видел, чтобы кто-нибудь еще поздравлял его в этот день. Ни из земляков-чеченов, ни из единоверцев-мусульман.

Кстати, по первым лагерным впечатлениям, мне показалось, что мусульмане в зоне представляют собой четко организованную и основательно консолидированную группу, мини-общину, почти семью. Делал этот вывод с горечью, испытывая что-то очень похожее на банальную зависть, ибо ежедневно наблюдал, да что там наблюдал, сам оказывался участником, действующим лицом, едва ли не жертвой ситуаций, когда православно-славянское население лагеря представало разрозненной, равнодушной, а то и враждебной по отношению друг к другу массой. «А вот мусульмане-басурмане — другие, человечней, надежней, отзывчивей, вот бы и нам, православным, так...» — сетовал я про себя, видя, как кавказцы и азиаты делят посылки, угощают друг друга сигаретами, которых вечно здесь никому не хватает, отмечают свои праздники.

Поспешил, погорячился я с таким выводом. Оказывается, и в их кругу не все так просто, далеко не всегда общая вера для любого из них — гарантия защищенности и поддержки. Совсем недавно из их круга (по сути это отрядно-мусульманская мини-община — миниатюрная умма) был по сути изгнан узбек Эркин. Верно, он запредельно ленив. Действительно, он способен сутками с незначительными перерывами на употребление болезненно любимого им чифиря спать, но изгнали его не за это. Эркин — «сирота». В переводе с лагерного — человек, полностью лишенный всякой поддержки с воли. Выходило, что лишили незадачливого узбека мусульманского «общака» только за то, что сам он ничего (ни пачки сигарет, ни «замутки» чая, ни плитки шоколада) в этот общак внести не мог. Предельно рационально! Жестко! Цинично!

Догадываюсь, что другой мой сосед, уже не раз упоминавшийся чечен Муса М., так и стал полноправным членом этого мини-сообщества по той же самой причине (с воли никакой поддержки, гол, как сокол). На таком фоне представляется уже более чем логичным факт: лидер мусуль-

ман отряда — мулла Али регулярно «стрижет» со своих «прихожан» что-то вроде подарков-подношений в виде сладостей, чая и прочих продуктов. Видимо, в компенсацию за хлопоты по духовному окормлению и консолидирующее начало. Так что до торжества вселенского «зеленого» братства, райской мусульманской благодати здесь еще далеко.

Между прочим, мулла Али — самый настоящий мулла из ставропольской глубинки. Ногаец по национальности. Служил в местной мечети. Если верить материалам его уголовного дела (сам он все обвинения отрицает, считает их сфальсифицированными), оказался каким-то краем замешанным в убийстве милиционера; тут же органы обратили внимание, что в его проповедях звучали не совсем «правильные» в политическом отношении призывы и выводы; следом выяснилось, что участвовал он в вербовке и отправке в Чечню своих прихожан — местных мальчишек 17—18 лет для участия в военных действиях против федералов на стороне незаконных бандитских формирований, под знаменами полевых командиров, тех самых, которых нынешний официальный лидер Чечни окрестил «шайтанами». В итоге у муллы Али целый букет серьезных статей и немалый срок в 12 лет.

Впрочем, история ставропольского муллы Али — отдельная история, самобытный сюжет. А тезис о мусульманском сверхчеловечном лагерном братстве — всего лишь расхожий красивый миф. Для молодых, не наживших ума, с неокрепшими душами. Яркая блестящая обертка в горькой конфетке с ядовитой начинкой.

Жаль молодых. Тех, кто еще не имеет собственного жизненного опыта, собственного «чутья» на жизненные ситуации. Тех, кто принимает первые впечатления от здешних нравов и обстановки за истинные и окончательные. В итоге — подмена понятий, подмена принципов, подмена

морали, подмена много еще чего очень важного. Шлифовка характера и закаливание воли происходит здесь у тех, кто уже имел эти качества на воле. Если же формирование устоев личности начинается уже «за колючкой», с полузачаточного состояния, тем более с «нуля» — рождается не личность, а монстр — «гомо арестантус» с искривленным сознанием, с извращенными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, что вполне естественно.

У каждой зоны свое лицо, свои приметы, свои традиции. И наша — не исключение. Одна из особенностей ее «фирменного стиля» — восьмой дворик. Спросить через пять—семь лет у человека, сидевшего здесь: «А помнишь восьмой дворик?» — собеседник непременно встрепенется, закивает, возможно, даже улыбнется. Правда, улыбка будет кривой: «Конечно, помню...»

Между тем восьмой дворик — это всего-навсего абсолютно лысый, лишенный и растительности, и всяких сооружений участок рядом со зданием администрации колонии. С двух сторон глухие высокие стены из гофрированной жести, с двух сторон ограда из колючей проволоки. В ограде калитка из той же самой «колючки». На восьмой дворик отправляют нарушителей. Под нарушителями понимают тех, кто действительно что-то нарушил (перепинался с контролерами, курил не там, где надо, без разрешения вышел за пределы локалки и т.д.) или просто не понравился кому-то из представителей администрации. Провинившегося отправляют к дежурному, дежурный посылает бедолагу на этот самый восьмой дворик, где последний может стоять или ходить. Курить и сидеть (даже на корточках) не допускается. Пятачок восьмого дворика прекрасно виден из окон дежурки. Соответственно, поведение узников восьмого дворика бдительно контролируется. Время наказания назначается «от фонаря». Провинив-

шийся может пробыть здесь и час-полтора и три-четыре часа. В хорошую погоду это вовсе не наказание, а прогулка на свежем воздухе, воздушные ванны, променад. В лютый холод, в палящую жару, в проливной дождь — ощущения, соответственно, иные. На «восьмом дворике» ничего, что могло бы спасти от жары, дождя, снега, не предусмотрено. Отсюда — и все вытекающие последствия в виде простуд, солнечных ударов и т.д.

«Восьмой дворик» — это чисто местное изобретение, эдакое папахивающее отсебятиной и откровенным юридическим беспределом ноу-хау администрации. Ни в одном документе, ни в одной инструкции, регламентирующих деятельность колонии, ни о чем подобном — ни слова. Удивительно, что все об этом произволе знают, но никто из «посетивших» восьмой дворик даже не пытался оспорить, опротестовать незаконность самой формы подобного наказания. Понятно, арестанты оправдываются: мол, наказание легкое, это не изолятор, что фиксируется в личном деле и ставит под вопрос перспективы УДО. Конечно, вспоминают, что порядочному арестанту жаловаться просто не подобает. Слабые аргументы. По сути, зеки молчаливо поддерживают администрацию, тех самых ненавистных им мусоров, в насаждении беззакония. Эдакое «молчание ягнят» в масштабах одного исправительного учреждения, одного министерства с населением почти в две тысячи человек. Из года в год! На протяжении многих лет! Как тут не вспомнить, что всякая зона — миниатюрная модель нашего общества. Параллели наглядные, прозрачные, узнаваемые, жуткие...

Всякое минимально свободное пространство стен в нашей столовой занято картинами. Иногда это пейзажи, сладкие, примитивные (квелые березки, облака, напоминающие о полузабытых сметане и твороге, какие-то цветочки), но чаще всего это натюрморты. По исполнению — малярный

бред, по тематике — «старые голландцы». На фоне распластанных окороков и золотых тушек жареных цыплят — готические фужеры и диковинные фрукты. Смотреть на все это и потреблять традиционную сечку или известный перловый суп (комплиментарно называемый рассольником) — сочетать несочетаемое. Тем не менее смотрим и потребляем. А еще в еду нашу стали в последнее время добавлять сою. Кто-то брезгливо вылавливает ее и складывает рядом на столе, кто-то с аппетитом ест. Слышал обрывок разговора: «Сою есть нельзя, там модификация и радиация...» — «Да, ладно, не гони, я ем, и ничего мне...»

Вокруг меня немало добрых, открытых, даже мыслящих лиц. Но куда более заметны скошенные лбы, оттопыренные уши, непомерно выдвинутые челюсти, набухшие надбровные дуги. Иногда кажется, что из громадного людского потока для отправления сюда специально отлавливали отбирали самых скуластых, самых ушастых, самых дегенеративных. Эдакий фейс-контроль наоборот. Типажи, которые встречаются очень часто на картинах Босха и Гойи. Похоже, есть немалая доля истины в словах тех, кто утверждает, что добрая половина населения колонии — дебилы, разбавленные олигофренами и кретинами. Подобные выводы делаются на основании бытовых наблюдений, визуальных оценок, банальных предположений. Прежде чем попасть сюда, каждый арестант вроде как проходит, пусть очень формальное, обследование и получает заключение якобы специалистов, что он нормален, психически здоров. Кажется, что очень часто — это большой аванс, вывод, сделанный на основе беглого взгляда. Как тут не вспомнить, что почти треть «отбывающих» в зоне — убийцы, многие из которых подкупающе откровенно признаются, как на момент совершения преступления на них «что-то нашло», что тогда «замкнуло», «заштормило». Но почему же нас

всех содержат «в одной вольере»? Почему мы работаем на одной промке? Почему спим на соседних койках? Между прочим, слово «дебил» часто употребляется арестантами в качестве обращения друг к другу. Понятно, не в качестве комплимента, но и серьезным оскорблением не считается. Наверное, неспроста...

Прекрасно понимаю, что в обществе не существует ненужных профессий. Осознаю, что любая зона — составная обязательная часто государственной структуры, а коли так, то непременно должны находиться люди, там работающие. Только все равно не могу уложить в свое сознание, как молодые, физические здоровые люди могут сознательно, добровольно, не под страхом за свою жизнь, выбирать профессию, главный смысл которой, главная суть которой — обыскивать, обшаривать, обнюхивать, подглядывать, подслушивать и т.д. Это я о тех, кто работает здесь контролерами. Кто в звании от сержанта-сверхсрочника до старшего прапорщика регулярно приходит к нам на барак со шмоном, кто ощупывает по пути на промку и на выходе из нее, кто в любой момент, в любом месте может остановить любого из нас, чтобы ощупать и охлопать, облазить наши карманы. Да что там карманы! Может, имеет полное право, а иногда и неистребимое личное желание приказать снять обувь, вывернуть носки, вытащить стельки. Надо иметь склонность к подобной работе. Не каждый, ох, далеко не каждый готов к этому и способен на это.

Очередной штрих к характеристике обстановки, в которой я пребываю. Совсем недавно в соседнем бараке имел место инцидент. Один арестант назвал другого полушутя-полувсерьез Квазимодой. Первый был начитан, во всяком случае, имел представление о творчестве В. Гюго. Второй

относился к категории дремучих, книг в руки никогда не бравших. О том, чем знаменит Виктор Гюго и кто являются героями его знаменитого романа, он не имел ни малейшего представления, а имя Квазимодо ассоциировалось у него со страшным, почти непрощаемым по тюремно-лагерным понятиям оскорблением «козья морда». Конфликт едва не закончился кровопролитием. Его удалось погасить лишь с привлечением представителей «блаткомитета». Хорошо, что среди них оказались люди, знакомые с творчеством французского классика.

Характерная и очень специфическая примета времени: понятие «побег» полностью исключено, удалено, вырезано, ампутировано из сознания арестанта начала XXI века. И дело не в том, что зона окружена несколькими линиями забора с «колючкой», что по углам этого забора вышки с охранниками, готовыми стрелять при первой необходимости, что другие охранники с угрюмыми овчарками постоянно курсируют между этими, напичканными всяческой электроникой, заборами. Дело в том, что бежать нынешнему арестанту просто... некуда. Не-ку-да! Велика Россия, а бежать некуда! Современные средства технического контроля непременно засекут, запеленгуют, зафиксируют любого человека в любой точке нашей все еще необъятной страны, стоит ему только воспользоваться телефоном (все равно каким — мобильным, стационарным, междугородним и т.д.). Не сильно грамотные, не очень образованные, не всегда думающие арестанты любой, включая самые отдаленные, российской зоны знают, что-то слышали, просто догадываются, что в масштабах государства давно функционирует доведенная до совершенства система контроля за эфиром. Уже не тайна, что голос, являющийся строго индивидуальным параметром человека, может кодироваться, соответственно легко, «на автомате»

может включаться программа «поиск» в отношении этого самого голоса. Соответственно, обладатель этого голоса будет непременно очень быстро найден, едва только он произнесет несколько слов в телефонном эфире, независимо от того, где бы он ни находился, независимо от того, как бы он ни пытался изменить свой голос (поджимая язык, сдвигая челюсти, закрывая телефонную трубку платком и т.д.).

А еще уже давно существует и давно действенно помогает отечественным правоохранителям (по-лагерному все тем же мусорам) всех мастей система автофейспоиска. Видеокамеры, которых хватает уже везде (аэропорты, вокзалы, магазины, офисы, подъезды жилых домов и т.д.), также могут быть настроены на поиск определенной физиономии, и с этой задачей, естественно, они отлично справляются. И куда, повторяюсь, бежать? Рисковать, напрягаться, подставляться под пули, чтобы в итоге очень долго прятаться, отсиживаться, «сухариться» в подвале или на чердаке? Но чем тогда подобная форма бытия будет отличаться от пребывания в пределах лагерной территории? В принципе это та же зона, но в подвально-чердачном варианте. Вот она, другая сторона научно-технического прогресса, вот она, изнанка тех самых удобств, к которым мы на воле так быстро привыкаем. Коварная и жестокая эта привычка.

Иногда ловишь себя на мыслях, в которых самому себе стыдно признаваться. Например, порою становится... жалко себя. Щемящее, пронзительное чувство. До спазма в гортани. До влаги в глазах. И чувствуешь себя в подобные моменты до отвращения слабеньким, мягоньким, тряпично-плюшевым. Отвратительное ощущение! Мерзкое ощущение! Гадкое ощущение! А порою совсем наоборот — ощущаешь избыток силы, энергии, пронзительной, деятельной злости, почти физически чувствуешь сжатую внутри и готовую в нужный момент распрямиться мощ-

нейшую пружину, руки сами собой сжимаются в кулаки, и внутренний голос размеренно информирует: «Не дождуться! Не получится! На-кась, выкуси!» Два полюса настроений, по кругу сменяющих друг друга. Слава богу, настроение номер два посещает куда чаще.

Еще одно признание самому себе и своему дневнику. От этого признания не просто стыдно, а тревожно: «Неужели это всерьез, окончательно, бесповоротно, неужели ныне окружающая среда поломала и поглотила, и заставила действовать и думать по своим правилам? А суть этого тревожного отклонения проста: кажется, обнаруживаю в себе признаки скупости, банальной паскудной жадности. И досадно, и удивительно: прошел школу улицы (рос на «деревянной» окраине нестоличного города, где в каждом доме кто-то непременно или уже отсидел, или еще сидел и нравы царили соответствующие), армии, стройотрядов, войны, командировок в горячие точки — нигде никогда в себе подобного не обнаруживал. Более того, и в прежние периоды своей несвободы, кочуя по трем столичным изоляторам, отбывая год в прежнем месте своего нахождения, в лагере в Березовке, — ни-ни, ничего подобного, а здесь... Неужели скосило? Конечно, виновата обстановка, окружение, сугубо местная традиция извечного «Дай закурить!», «Дай заварить!», «А чего-нибудь сладкого не найдется?». Такие просьбы можно слышать от одного и того же человека чуть ли не пять дней в неделю, порою даже не единожды за день. Конечно, все это и спровоцировало приступ этого дремлющего внутри каждого человека недуга, но... Оправдать можно все. Почти все. Неужели научусь жрать шоколад под одеялом (таких тут хватает), есть сало «в одинаре» (и такое наблюдаю регулярно), не давясь от прожигающих взглядов соседей? Мрачная перспектива. Смею надеяться, она все-таки мне не грозит. Делился и буду делиться всем,

что имею. Так воспитан! Так считаю правильным! Так считаю правильным, особенно здесь! Только беспокойство все равно остается: может, первый звоночек прозвенел? Верно, некстати (а возможно, наоборот, очень даже вовремя) заглянул наугад в Евангелие (читаю по странице каждое утро для дисциплины души) и... наткнулся на фразу, изреченную евангелистом Лукой: «...ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял...» Совпадение?

Кстати, добрые три четверти тех нынешних моих соседей, что создают стереоатмосферу «дай заварить — дай закурить», сливающуюся в сплошное «Дай, дай, дай!!!» — как раз из тех, кто, не имея должной поддержки с воли от родных и близких, наотрез отказывался зарабатывать себе на насущные нужды традиционным, более чем уважаемым методом становиться на атас, т.е. дежурить у дверей барака, предупреждая его обитателей о появлении в локалке мусоров, и получать за это с «общака» обговоренное количество сигарет, чая и т.д. Те, для кого зона и тюрьма прежде всего заповедник халявы, возможность делить чужое, употреблять незаработанное. Отсюда и вывод: делиться, конечно, надо, но с учетом возможностей, в соответствии со здравым смыслом. И мудрости в этом выводе хватает, и хитровато-подловатый душок присутствует. Смущает последнее, ох, смущает! Слаб человек, и я — не исключение.

Неспешно, «с толком, с расстановкой» перечитываю Ф. Ницше. Многие из чеканных его истин здесь особенно актуальны, что-то в уже некогда прочитанных вещах открываю для себя заново (ранее это было недооценено, просто не замечено). Начинаю понимать, почему он здесь популярен, почему библиотечный его том (пришел некогда кому-то в посылке и был пожертвован для общественного пользования) всегда на руках, почему на полях этой книги неведомые чи-

татели оставляли столько «галочек» и прочих, напоминающих о значимости этой книги, значков. Будто для нас, арестантов, писались почти полтора века тому назад строки:

«Человек, стремящийся к великому, смотрит на каждого, встречающегося ему на пути, либо как на средство, либо как на задержку и препятствие, либо как на временное ложе для отдыха...»

«Для глупого лба по праву необходим в виде аргумента сжатый кулак».

«В борьбе с глупостью самые справедливые и кроткие люди в конце концов делаются грубыми...»

«Тип преступника — это тип сильного человека, при неблагоприятных условиях этот сильный человек сделался больным...»

Как-то сам по себе всплывает «крамольный» вопрос, а что бы написал этот «титан духа», попади он лично сюда, в российскую, далеко не худшую колонию строгого режима?

«Ода мужеству», «творец характера», «триумф воли» — все красиво, теоретически аргументировано. Вот только что осталось бы от этой «теории», если плотно приложить ее, эту «теорию», к нашей «практике»? В которой и баланда с плавающими ошметками сои, и арестантские одеяла, толщиной в промокашку, и мордovorоты контролеры с круглосуточной готовностью шмонать и «подмлаживать» (проще сказать, отбирать чужое и бить тех, кто не может дать отпор)? Еще одна крамольная мысль — да ничего бы вовсе не написал знаменитый автор «генеалогии морали», попади он на российскую строгую зону начала XXI века. Как многие из нас, слонялся бы он по бараку в поисках «замутки» чая, мечтал бы о паре новых шерстяных носков да блока «фильтровых» сигарет. И никакой философии, никаких высших озарений, никаких «сверхчеловеков». Чем чаще он слышал бы: «Осужденный Ницше не выполнил команду “Подъем!”», «Осужденный Ницше не приветствовал сотрудника администрации!» и т.д., — тем дальше отделялся бы от высокого и великого.

Впрочем, Ницше в лагерной робе с биркой, таскающий на горбу (горб у него имелся самый настоящий, но вряд ли это стало бы здесь основанием для освобождения от работы) мешки с полипропиленовым сырьем, я как-то не представляю. Видно, бедная у меня ныне фантазия.

Постепенно формируется ретроспективный социально-исторический взгляд на роль, место и авторитет адвоката в нынешнем российском обществе. Незавидная роль! Презираемое место! Ничтожный авторитет! Еще сто лет назад, в той самой царской России, где, как нам вдалбливали со школьной скамьи, царили мракобесие и произвол, было совсем по-иному. Адвокатская профессия была более чем уважаемая. Слово «адвокат» служило почти синонимом понятий «благородство», «милосердие», «правосудие». Адвокатам верили. Адвокатов боготворили. Даже представители криминального мира ценили и чтили людей этой профессии. Если кто-то из адвокатов попадал в историю, оказывался ограбленным или обворованным, после выяснения профессиональной принадлежности жертвы воры и грабители непременно с извинениями возвращали потерпевшему все, чего он лишился. В неписаном воровском кодексе дореволюционной России адвокаты считались неприкосновенными. Это, разумеется, с учетом их благородства, великодушия и всего прочего, чем определялась их польза для общества, для широких масс. Нынешний адвокат — совсем иной профессиональный и человеческий тип. Все его знания, умения, опыт, весь личностный профессиональный потенциал направлены, сосредоточены, сконцентрированы только в одном направлении: заработать, хапнуть, содрать как можно больше. По своим подходам, по особенностям стиля работы они делятся, как правило, на две категории: кто «заносит» и кто «не заносит». «Заносящие» берут на себя, по сути, посреднические обязанности

в даче взятки от родных и близких совершившего преступления или подозреваемого в этом преступлении следователям и прочим представителям правоохранительных органов (на этапе ведения следствия) или судьям (после окончания следствия накануне вынесения приговора).

При этом сумма, якобы необходимая для «решения вопроса», значительно увеличивается. Разница между оговоренной мздой и деньгами, заплаченными «заинтересованной» стороной, понятно, кладется в карман адвокату. Все чаще в последнее время встречаешь арестантов, которые вместе со своими родными и близкими оказались жертвами самого обычного обмана: адвокат берет с них деньги, разумеется, немалые за «решение вопроса» (освобождение в зале суда, назначение условного срока вместо реального, полное оправдание, назначение минимального срока и т.д.), а «вопрос» этот остается... нерешенным («виновник торжества» получает максимальный срок и т.д.). Адвокат, как правило, в подобных ситуациях разводит руками — мол, «не получилось», «меня подвели» (судьи, прокуроры, следователи и т.д.), а чаще меняет или отключает свой телефон и просто пропадает из поля зрения потерпевших. Жаловаться в этой ситуации — дело бесперспективное и откровенно опасное — ведь заявитель должен, по сути, признать собственное соучастие, а то и инициативу в организации дачи взятки. Кому это надо? Кто рискнет?

Те, кто «не заносит», участием в подобных, откровенно коррупционных схемах себя не утруждает, но порядочностью также не отличается — «дерет» по максимуму и сверх этого максимума якобы за доскональное изучение дела, организацию дополнительных экспертиз, подготовку многочисленных ходатайств, просто даже за молчаливое и абсолютно бездеятельное участие в суде. Тем, кто платит, при этом с многозначительно чрезмерным использованием юридических терминов объясняется, что делается все возможное. При этом подчеркивается, будто дело — «оч-ч-чень

сложное», но есть реальный шанс все «решить». По сути каждый подобный случай — пример изощренного, иногда даже виртуозного вымогательства с использованием профессиональных полномочий, служебного положения и т.п.

Посмотрели бы адвокаты дореволюционной России на художества своих нынешних коллег — испытали бы немалое брезгливое удивление, просто ужаснулись бы, в какой бесчестный промысел можно превратить столь благородную и гуманную профессию.

Разумеется, все сказанное не значит, будто все нынешние адвокаты — сплошь и рядом негодяи, жулики, мздоимцы. Верю, есть среди них сверхпорядочные профессионалы (именно к таким отношу Сергея Львовича С., своего второго адвоката, чьими хлопотами мой срок все-таки был сокращен на два года), для которых понятие «честь и совесть» вовсе не пустой звук, вот только какова пропорция в общей профессиональной массе порядочных и непорядочных? Задайте этот вопрос моим прошлым соседям по всем трем столичным изоляторам, в которых начинался мой срок, поговорите на эту тему с нынешними моими «коллегами» по арестантской доле — услышите много интересного, социально актуального и просто сногсшибательно неожиданного по поводу адвокатской профессии. На сегодняшний день многие из них просто не понимают истинно гуманного предназначения этой профессии, считают адвокатов одной из разновидностей мусоров, которым «только сажать да взятки брать».

За всем этим не только свидетельство чьего-то невежества, личной обиды и вечная арестантская озлобленность. За этим — серьезное свидетельство нездоровья и несовершенства нынешнего российского общества, тревожное напоминание о серьезном дефиците гуманизма и социальной справедливости в этом обществе. Увы, поведение и стиль «работы» моего основного адвоката — штатного юриста моей некогда родной «Свободной газеты» — Ларисы Бори-

совны Б. — похоже, только лишнее тому подтверждение, дополнительная иллюстрация (скорее, карикатура) на тему роли адвоката в современном российском обществе. Впрочем, это отдельная тема, и к ней я непременно вернусь.

Наверное, случилось то, что и должно было случиться. С соседом, своим «семейником», чеченом Мусой М., я разругался, рассорился в пух и прах. Причина — его настырная, воинственная русофобия, ничем не укротимая, ни на чем не основанная, стремление трактовать историю и нынешнюю ситуацию на Кавказе с позиций хищной ненависти к России и русским, бесконечное выпячивание заслуг, значимости, достоинств своей нации за счет унижения всех прочих. Вывело из себя его занудное бесконечное тиражирование знакомых еще по воле тезисов: «Россия всю нашу нефть забирает», «если бы не Россия, мы бы в Чечне жили, как в Арабских Эмиратах», «федералы во время войны нас почему зря уничтожали», «мы, чечены, на Кавказе самая древняя, самая культурная нация». Сначала стгоряча попытался, напрягая всю память, вспоминая все, что читал по теме, пытался объяснить, что той же нефти в Чечне добывается ныне не так уж и много, что ее качество оставляет желать лучшего, что все специалисты, имевшие хотя бы какое-то отношение к добыче, разведке и переработке чеченской нефти, учились этому в российских вузах. Вспомнил заодно и хрестоматийные факты о тех, кто совсем еще недавно учил, просвещал, помогал в большом и малом коренному населению Чечни. Кажется, так и не был даже услышан. Зато, в дополнение к главной теме, получил пространную устную справку о враждебном окружении «гордой, свободолюбивой» республики, о коварных происках недобрых соседей. Особенно досталось осетинам, которые, оказывается, вообще своей родины не имеют, пришли неизвестно откуда, занимают чужие земли и всячески вредят окружающим.

Конечно, самым мудрым в этой ситуации было прекратить эту далеко не научную дискуссию, плюнуть и просто уйти. Но мудрости мне здесь не хватило. Вместо этого я посоветовал своему соседу попросить кого-нибудь из знакомых прислать с воли пару учебников по истории для пятых, шестых классов и глобус, по которому бы легче было проследить маршруты миграции народов. Короче, слово за слово... «семейника» я потерял. Правда, и у меня и у Мусы хватает ума и такта здороваться по утрам, пропускать друг друга в узком проходняке, иногда даже обмениваться очень дежурными фразами на пустячно бытовые темы. Но «семья» наша разбилась вдреизг, без всякой надежды на восстановление.

Уже через неделю ко мне обратилась пара земляков моего недавнего «оппонента». Выждав, пока рядом не осталось лишних глаз и ушей, они попытались объяснить: «он же всю жизнь овец пас, кроме телевизора на батарейках, ничего не видел, ни одной книжки в руках не держал. Зря вы так рассорились, ты на него зла не держи, видишь, у него и с нервами не все в порядке, он же со своей родней на родине переругался, потому и никто не “греет” его из-за такого характера...»

Выслушал до конца, кивнул, обещал принять к сведению. Бессмысленно и откровенно глупо было бы обижаться на своего бывшего «семейника». Взгляды каждого человека — продукт его воспитания, наследственности, влияния среды, в которой он рос и формировался как личность. Другое дело, сколько на сегодняшний день в моей стране в пределах «маленькой гордой республики» и далеко за ее пределами (чеченская диаспора заявляет о себе как заметное явление во многих регионах России) таких, как Муса, энергичных, волевых, взрывных и... запредельно невежественных? Кто будет шефствовать над формированием мировоззрения этих людей, на что будут направляться их пассионарные силы? Можно только гадать, предполагать, догадываться.

Начинаю осознавать, какую роль играет для меня в нынешнем положении, в здешних условиях мой дневник. И тут без высокопарных красотостей просто не обойтись. Похоже, мой дневник становится стержнем моего существования здесь, целью и средством моего выживания в этом «вольере».

Иногда кажется, что все это, пусть очень по-своему понимают многие из моих соседей. Они видят, как трепетно я отношусь к «своим бумагам», а главное, к общей тетради. Тетрадь заполняю совершенно невразумительным почерком (специально, с учетом большого числа чужих, в том числе и недобрых глаз — пишу сплошными строками, без деления на абзацы, предложения, слова — прочитать это никому, кроме как автору, совершенно невозможно, чего и требовалось добиться). После каждого шмона, когда зачастую что-то из наших вещей пропадает, портится, оскверняется, многие из соседей с неподдельным волнением и каким-то уважительным состраданием интересуются: «Твои бумаги в порядке? Архив не тронули?»

И это при том, что о содержании этих моих бумаг, о конечных целях их предназначения я предпочитаю не распространяться. Уверен, что эти не очень образованные, не слишком «тронутые» культурой люди каким-то шестым чувством, нутром понимают, что бумаги эти — не просто бумаги, а что-то важное, высокое, серьезное, требующее заботы и защиты. Спасибо вам, мои соседи! За молчаливую поддержку, солидарность и понимание!

При всем при этом прекрасно понимаю: когда книга, основанная на этом дневнике, выйдет в свет (а я сделаю все возможное и трижды невозможное, чтобы это случилось!), не всех, далеко не всех она обрадует. Не все будут согласны с расставленными в ней акцентами и выведенными в ней характерами. Впрочем, эта ситуация вполне естественная, вполне ожидаемая. Классическая ситуация: совсем как в

бессмертной книге Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Книга-то детская, но истины в ней прописаны более чем взрослые.

В одном из ее эпизодов главный герой Незнайка возомнил себя маститым художником и одним махом сотворил целую серию портретов своих друзей. Понятно, с учетом профессиональных данных автора, портреты больше напоминали карикатуры, шаржи. Показательна была реакция на выставку «портретов» их прототипов. Каждый из них, попав в «галерею», от души хвалил все портреты, кроме одного — того, на котором был изображен именно он.

Соответствующим было и резюме каждого из посетителей выставки: «Это — хорошо, это — отлично, это — похоже, а вот это — сними, пожалуйста, обязательно сними, а то — поссоримся!» Понятно, что последняя просьба адресовалась собственному портрету.

В подобных ситуациях остается только развести руками и посоветовать: «Написал то, что видел, если что не так — напишите по-другому, лучше, правдивее...»

Впрочем, я слишком далеко забегаю вперед. Ведь и сидеть еще немало, да и книга, будущая книга существует пока лишь в клочках-фрагментах, которые и обрабатывать еще предстоит, и, что еще более важно, их надо просто переправить за «колючку», в другую жизнь...

На последнем собрании отряда «смотрун» озвучил два тезиса-призыва-пожелания. Первое — чтобы все чистили обувь, второе — чтобы не провоцировали мусоров в мелочах (правильно заправляли шконки, убирали вещи в каптерку и т.д.). Обсуждать подобные воззвания не принято, но по лицам арестантов было видно, что слышат подобное они не впервые и что услышанное их вовсе не радует. Еще бы! С точки зрения «правильных» арестантских традиций подобные призывы — чисто «мусорские навороты», и услы-

шать их можно от кого угодно, только не от ставленника лагерного «блаткомитета», призванного в идеале всегда и во всем отстаивать права и правды зеков. Иные времена — иные инструкции!

Вызвали на склад для получения нового комплекта казенной одежды. В комплект входит роба (брюки и что-то вроде то ли рубашки, то ли кителя, то ли куртки), трусы, майка, шапка-кепи, ботинки. Обыденная, самая обычная в арестантской жизни процедура, а сердце защемило, лютой тоской повеяло, будто этот факт — мистический знак: мол, пока не износишь, не истреплешь всего этого — не видать тебе свободы, не выбраться тебе из всей этой мерзости. Своеобразная вариация на сюжет русских народных сказок про «семь пар железных ботинок».

Кстати, обэтих самых, вовсе не железных, ботинках. Они для нас всесезонные, универсальные, рассчитанные и на лето, и на зиму. Утверждая эту модель, чиновники главного тюремного ведомства почему-то не вспомнили, что зимой в нашей стране очень часто падает до минус двадцати пяти градусов и ниже, а летом — поднимается выше тридцати (нынешнее лето показало, что и сорок градусов не предел). Одна очень важная деталь: и верх, и подошва этих ботинок изготовлены из каких-то суррогатов-заменителей, находящихся с окружающей средой в очень специфических отношениях. В итоге — летом ногам в этой обуви не просто жарко («каждой ногой в микроволновке», — грустно шутят по этому поводу мои соседи), ноги там просто преют. Зимой все с точностью до наоборот. Не спасают ни шерстяные носки, ни самодельные стельки — отбудешь положенные двадцать минут на традиционном построении, начинает казаться, что стоишь ты босиком на бетоне.

К тому же подобная обувь плохо чистится, ее поверхность уже через месяц начинает лохматиться, будто сши-

ты эти ботинки из шерсти какого-то неведомого животного, а через пару месяцев в местах сгибов они просто начинают рваться. Любопытно, что некоторым из нас довелось носить совсем другой тип ботинок. Эти были изготовлены из чего-то вроде кирзы. В них так же жарко летом и еще более холодно зимой, но они более но́ски, начинают рваться только через год, к тому же отлично чистятся. Все эти характеристики могу подтвердить лично, ибо именно такие ботинки получал в Березовском лагере и проходил в них полтора года, и все это время служили они мне верой и правдой. Говорят, что именно такой тип башмаков просуществовал в российской тюремной системе чуть ли не с тридцатых годов прошлого века. Выходит, обувая их в январе 2009 года, я, арестант XXI века, принимал своего рода эстафету от зеков ГУЛАГа, воспетого А. Солженицыным и В. Шаламовым. Остается сострить по этому поводу: эстафета в надежных руках, вернее, на надежных ногах.

Отдельного внимания заслуживает другой компонент нашей экипировки — роба. У нее сносный, с претензией на современность, фасон. Это куртка, отдаленно напоминающая джинсовую, брюки с карманами и т.д. Цвет вполне предсказуемый — черный, разумеется, а какой же еще по цвету может быть одежда арестанта в нашем государстве, а вот материал... Его свойства во многом перекликаются со свойствами материала, из которого шьются наши ботинки. В холод такая одежда не согревает, а в жару создает что-то вроде парникового эффекта. Иногда начинает казаться, что вовсе не из ткани она изготовлена, а из универсальной, гнущейся, но совершенно не пропускающей воздуха пластмассы. Буду освобождаться, заберу с собой хотя бы клочок этой материи, постараюсь отправить его на экспертизу: пусть специалисты определят, что это за диковинный материал и возможно ли вообще изготавливать из него одежду для людей, пусть находящихся в местах лишения свободы.

Есть и еще один «вековой зековский символ» в нашей экипировке — телогрейка. До недавнего времени эта одежда ассоциировалась в моем сознании с той телогрейкой, что продавались в советские времена в любом магазине «Рабочая одежда», стоила около пяти тех самых «деревянных» рублей и за счет ватной подкладки надежно предохраняла не только от легкого осеннего похолодания, но и от зимних вполне ощутимых морозов. Нынешние наши «теляги» с тем советским изделием ничего общего не имеют. В качестве утеплителя там используется не ватин, а что-то во много раз более легкомысленное. Перенести зиму даже «средней холодности» в такой телогрейке просто невозможно. Естественно, мы утепляемся. Кто как может. В соответствии с возможностями и степенью изобретательности. Чаще всего от телогрейки отпарывается подкладка, и бедная доза чахлого утеплителя усиливается дополнительной порцией того же самого материала. Кто-то подшивает изнутри элементы вольной одежды типа безрукавок из искусственной овчины, распоротых свитеров, байковых рубашек с отрезанными рукавами. Находятся отчаянные, что пришивают к телогрейкам «вольные» меховые воротники. Последний шаг весьма опрометчив. Любой прапорщик-контролер, не говоря уже о каких-нибудь злобных сверхбдительных проверяющих областного, тем более федерального уровня, может запросто приказать срочно спороть, а то и просто оторвать подобное «утепление». Возражать, пререкаться, тем более сопротивляться в подобной ситуации бессмысленно. Нарушение формы одежды — серьезное дисциплинарное нарушение, за которое в изолятор угодить можно очень даже запросто.

Рецептов выживания (проживания, существования, самосохранения и т.д.) в этих условиях множество. Что ни личность (только именно личность, а не безликое существо, зацикленное на халявном варианте решения извеч-

ной арестантской проблемы «заварить-закурить») — свой рецепт, своя, порою сложившаяся не сразу, а именно выстраданная, методика. Кто-то изнуряет себя спортом (понимаю, даже уважаю их), кто-то восполняет пробелы образования: читает, учит язык, штудирует специальную литературу (таких немного, их уважаю еще больше), кто-то упрямо делит сутки между телевизором (спорт плюс клипы с мельканием голых девок) и игрой (карты, нарды и т.д.). Последних просто жалею, таким искренне соболезную. Есть и те, что каждый свободный час прессуют своим телом шконку — отсыпаются за все недоспанное ранее и за все грядущие недосыпы (и в этом есть своя логика). Кто-то синтезирует. Комбинирует все вышеперечисленные методы и вырабатывает свое индивидуальное «ноу-хау».

И у меня в этом направлении рождается что-то свое, очень-очень личное, настолько личное, что даже дневнику своему, сокровенному собеседнику и лучшему хранителю секретов, доверить эту формулу пока не могу.

Просто выжить, тем более выжить любой ценой, любым способом, любыми путями в этих условиях — ничтожно мало. Здесь надо не выживать, а... жить! И жить особенно достойно, безжалостно спрашивая с себя за каждый прожитый день, за каждый поступок, за каждое слово. Звучит, конечно, приторно-пафосно, тем не менее это так. А просто выжить — это мало. Да что там «мало»! Это путь откровенного приспособленчества, путь мерзости, путь предательства. Понятно, жить достойно получается далеко не у всех. Это не удивительно (условия жесткие, требования высокие, окружение не лучшее и т.д.). Куда удивительнее, что подобное удается порою тем, кто менее всего об этом задумывается, философствует, терзается угрызениями совести. У этих людей получается, по сути, «на автомате» «проплевать» весь свой срок, минуя все подводные камни, не вляпавшись ни в одну неприличную историю, не угодив ни разу ни в какие «бигуди». За всем этим безупречное по-

нимание, что такое хорошо и что такое плохо, умение жить среди людей, не создавая проблем ни им, ни себе, а главное, сохраняя при этом свое достоинство. Многие здесь зависят от воспитания, свою роль играет генное наследие, а еще должен присутствовать Божий Промысел. Словом, одним — дано, другим — нет.

Реализация простого желания приготовить себе на ужин что-то неказенное, почти домашнее, в исполнении иных моих соседей — красочная иллюстрация к вариациям на сюжет русской народной сказки про кашу из топора. Бежит арестант по секции барака с предельно озабоченным лицом и спрашивает у каждого встречного: «Луковицы нет? Дай луковицу! Вот, супчик решил заморочить, лука не хватает». Со стороны очень похоже, что его суп уже почти готов, что до окончательной готовности этого блюда автору-кулинару не хватает всего-навсего одной-единственной луковицы. Конечно, эту луковицу ему дают. С этой самой луковицей в руках этот творец перемещается в другую секцию. Где с еще более озабоченным видом просит морковку. Разумеется, в последней ему не отказывают. Появляясь в третьей секции с луковицей и морковкой в руках, он, понятно, имеет полное моральное право попросить уже кусочек сала, горсть гречки (крупы в передачах и посылках вроде как запрещены, но у многих арестантов они имеются, кто-то покупает ворованное из столовой, кто-то «затягивает» с воли через мусоров и т.д.). Далее аналогичным образом добывается пара картофелин, головка чеснока, специи. С полным «суповым набором» можно уже чуть ли не вне очереди претендовать на плитку (в ходе шмонов их без конца «отмечают» в числе «пожаро-распространяющих предметов», но после каждого шмона в самое короткое время они появляются снова). В «чайхане» (так здесь называют комнату, отведенную в бараке для приготовления и приема пищи) полчаса хлопот, и — арестант-

ский суп готов. Славная прибавка к казенному, порядком надоевшему меню!

Странные порядки царят в отечественной лагерной системе. Оказывается, если на зоне ты работаешь, то из твоего заработка, каким бы ничтожным он ни был, вычитают за... все, за что только можно: за питание, за одежду, за санитарно-гигиенические пакеты, о весьма условной полезности которых я уже, кажется, писал, и за многое еще чего. Если же ты не работаешь (труд в зоне, во всяком случае в нашей, — дело добровольное), то тюремное ведомство, государство содержит тебя полностью бесплатно. Странная постановка дела. Выходит, живет человек на воле, всю жизнь исправно платит налоги государству, на которые, в том числе, содержится вся система УФСИН (слово-то какое неуклюжее, тяжелое, хуже, чем ГУЛАГ, что-то вроде Мойдодыра), добросовестно выходит на промку, и... снова этому самому УФСИНу он должен надолго и всерьез.

Более того, приходит время арестанту получать новый комплект обуви — отказаться от этого он не может. Администрация тщательно следит, чтобы и нелепые ботинки (летом — жарко, зимой — холодно), и телогрейку, не способную греть, и шапку, продуваемую самым ничтожным сквозняком, и уродливые рукавицы были непременно получены. Отказ в этом случае — серьезное дисциплинарное нарушение. Словом, хочешь не хочешь, а получай, иначе из твоей зарплаты нечего будет вычитать. Вот и выходит, что нынешний зек — вечно в долгах, как в шелках. Разобраться при этом в том, сколько перевели на личный счет, по которому можно отовариваться в ларьке, просто невозможно.

Кстати, обязательно-принудительная установка на непрерывное получение арестантом новых вещей почему-то не распространяется на постельное белье (наволочки, простыни). Получать его арестанта никто не зовет, тем более

никто не обязывает. Между тем у многих из нас это белье имеет совершенно непотребный вид — застиранное, не единожды зашитое, просто обтрепанное и оборванное. Отсюда — лишние хлопоты и дополнительная статья расходов для близких на воле — просьбы выслать, передать в передачке и т.д. эти злополучные простыни и наволочки (согласно существующим инструкциям и нормам это не возбраняется, только белье должно быть чисто белым, никаких цветочков-орнаментов!). Понятно, на подобной почве всячески укрепляется давно родившийся слух, будто не только сами работники администрации, но и все их ближайшие родственники постельного белья отродясь не покупали, а пользуются тем, что предназначено для нас, для арестантов. И штампы, напоминающие о казенной, точнее тюремной принадлежности постельного белья, этих людей нисколько не смущают.

Вовсе не оригинальное, но вполне искреннее признание. Факт, неоднократно отмеченный и описанный специалистами-«человековедами» и писателями: в критической ситуации, в ситуации, требующей предельной концентрации характера, в неволе (особенно в российской неволе, кишасцей подлостью, с уникальным каторжно-гулаговским наследием, мрачными традициями и великим унынием) к человеку возвращаются древние инстинкты, чутье, что помогало ему выживать в глубокой древности в жестоком противоборстве с силами природы, с дикими зверями, с себе подобными, но враждебно настроенными двуногими. Иногда начинает казаться, что и ко мне приходит или возвращается через генную память из прошлых поколений сквозь многие тысячи лет способность видеть спиной и затылком, внутренним неведомым чувством угадывать мысли и чувства собеседников и просто находящихся рядом людей, предощущать развитие событий в той или иной ситуации. По рукопожа-

тию я угадываю (и почти никогда не ошибаюсь!), насколько искренне доброжелательно здороваются здесь со мной человек. Порою доходит до горько смешного: встреченный или подошедший арестант еще только протягивает руку для приветствия, еще ни слова не успевает произнести, а я уже абсолютно уверен, что первая фраза после дежурного «Привет!» — «Дай замутку чая» или аналогичного свойства вопрос: «Пару грохотулек (так на зоне называются леденцы) не найдется?». Соответственно, очень четко чувствую неподтвержденное, да и не нуждающееся в подтверждении словами уважение, симпатию, признание. Порою шапочно знакомый арестант из чужого барака просто пожмет руку, молча кивнет, улыбнется глазами и краешком губ, а ты ну-тром чувствуешь мощный импульс доброжелательности, адресованный персонально тебе, исходящий от этого человека. Разумеется, отвечаешь ему взаимностью, также вовсе не облеченной в словесную форму. Верно замечено: истинное понимание молчаливо.

Кажется, за последнее время сложилась моя собственная универсальная форма ответа на еще более универсальную форму приветствия. Когда слышу стандартное «Как дела?», отвечаю заимствованной у героя известного анекдота формулировкой: «Не дождутся!» Такой ответ многим моим собеседникам очень даже нравится. Порою я слышу, как на традиционное «Как дела?», озвученное моими знакомыми из других отрядов, сами вопрошающие отвечают другим вопросом: «Не дождутся?» и... заливаются смехом. Смехом веселым и добрым, от которого светлеет внутри и разглаживаются морщины.

Сказанное вовсе не значит, будто здесь на каждом шагу встречаются улыбающиеся доброжелатели с распахнутой душой и лучистыми глазами. Многие из тех, кто составляет мое нынешнее окружение, вовсе не приучены (или вечно не настроены) к доброму общению. Возможно, такой недобрый подход адресован только мне, хотя я лично ничего плохого

никому из них не делал, делать не собирался и не имел ничего подобного даже в мыслях. Возможно, это особая, очень индивидуальная (с учетом воспитания, образования и особенностей специфики прошлого окружения) форма выживания в этих непростых условиях. Возможно, это внешний симптом тяжелого психологического недуга. Только зону не выбирают. И соседей в зоне не выбирают. Но особенности характеров этих соседей я начинаю чувствовать за версту. Совсем не лишнее качество в этих условиях.

Чем дальше нахожусь здесь, тем четче представляю себе не только процедуру моей «посадки», но и тщательно разработанную систему удержания меня в неволе. Хитрый, воистину дьявольский механизм! Один из его компонентов — моя якобы юридическая поддержка, моя трижды якобы адвокатская защита. До недавнего времени мне помогали целых два адвоката. Первый — штатный адвокат редакции Лариса Борисовна Б. Как юрист — не очень квалифицированный. Как человек — абсолютно бессовестный. Только теперь мне понятно, что главной ее задачей было не помочь мне, а всего лишь отслеживать мое настроение, упреждать мои несогласованные с «хозяином» действия. «Хозяин» — в данном случае владелец и главный редактор «Свободной газеты», где я проработал последние десять лет до первого ареста, куда вернулся, отсидев полгода в СИЗО, пока шло следствие, откуда ушел на суд, после которого начался «каторжный период» моей биографии.

А еще в обязанности Ларисы Борисовны входило вешать лапшу на уши мне и моим родственникам о якобы грандиозной деятельности, развернутой «хозяином» ради моего спасения, защиты, вызволения из неволи. Никакой деятельности на самом деле не разворачивалось, за все это время на страницах «Свободной газеты» не появилось ни одной публикации, в которой было бы проанализировано

мое дело, расставлены хотя бы какие-то акценты, подняты, пусть риторические, вопросы. За время, прошедшее после суда, из редакции не вышло ни одного документа в мою поддержку в официальные инстанции. Даже идиотское, родившееся в ходе следствия, пережившее суд и отправшее лишь в результате разбора кассационной жалобы обвинение в хранении наркотиков, якобы обнаруженных в ходе обыска в моей квартире, редакция проглотила молча. Будто в ее недрах, на руководящем посту, действительно долгие годы скрывался матерый наркоман.

«Рано», «шефу видней», «как бы не навредить» — вот набор стандартных ответов Ларисы Борисовны на все мои попытки (грешен, звонил ей, используя запрещенный на зоне телефон) узнать, что же все-таки делает в ее лице «любимая редакция» для восстановления справедливости, ради облегчения моей участи. Тем не менее «по сусекам» собранные семьей пять тысяч долларов были приняты ею, как вполне заслуженный гонорар. Разумеется, с этих денег она не заплатила ни копейки налога в госказну, не внесла ни рубля в кассу адвокатской коллегии, членом которой является.

Несколько месяцев назад нервы не выдержали — я разразился письмом в адрес Ларисы Борисовны. Гневным, но наивным. Вспомнил о былом благородстве профессии адвоката, употребил слова о чести и порядочности. По-детски «пригрозил» при встрече (рано или поздно она все равно состоится, я просто обязан здесь выжить, в том числе и ради этого) посмотреть ей в глаза. Конечно, письмо осталось без ответа.

Со вторым моим защитником все куда сложнее. Его квалификация и опыт ни у кого не вызывают сомнения. Знаменитый адвокат Сергей Львович С. — светило юридической науки, профессионал до мозга костей. Тот самый, что успешно участвовал во многих шумных процессах, фигурантами которых были российские олигархи. Еще в ходе следствия он пытался что-то сделать, настаивал на каких-то экспертизах, писал куда-то запросы. КПД всех этих

усилий оказался нулевым. На суде его уже не было. Снова всплыл знаменитый адвокат С. в моем деле уже тогда, когда «дело было сделано», когда я уже имел «свои» семь лет строго режима (сначала суд назначил даже восемь, год удалось «откусить» по надзорной жалобе).

Возможно, знаменитый адвокат добросовестно относится к своим обязанностям, хоча верить, что он искренне желает мне помочь, но время идет, общее количество ходатайств разного калибра, составленных им, близко к полудюжине, а результатов нет.

Иногда начинает казаться, что и знаменитый адвокат действует строго в «коридоре», определенном тем, кто нанял его. А нанял его, и говорят, за немалые деньги, главный редактор, хозяин газеты, которой я отдал десять лет своей биографии. Самое время вспомнить, что деньги в нашем нынешнем государстве — фактор куда более серьезный, чем всякие там милосердие, правосудие, справедливость.

Какие же установки давал «моим» адвокатам человек, нанимавший их? Чем был определен «коридор», в пределах которого они должны были двигаться, устраивая мою защиту? Это уже совсем другая история. Кстати, за день до суда мой шеф подошел ко мне в редакционном коридоре, приобнял и, воровато оглядываясь, многозначительно произнес: «Держись, тебе дадут два года условно!» «Держаться» мне действительно пришлось. На следующий день за спинку скамьи подсудимых. Когда судья объявила приговор: восемь лет колонии строгого режима...

Сравнивать здешних мусоров с березовскими — земля и небо. Не в пользу здешних, понятно. Березовские по сравнению с ними — милейшие, почти интеллигентные люди. А эти... какие-то обормоты. Вечно грызущие семечки, расхристанные, в вечно нечищенных ботинках, в неглаженной форме, с заросшими шеями. Плюс специфический

лексикон (50 % — мат, 50 % — «ложи», «шо» и т.д.). Плюс круглосуточная готовность «подмолодить» (в переводе с лагерно-мусорского — просто поколотить арестанта). Понятно, лупят не всех подряд, особым мусорским чутьем улавливают, кто способен к сопротивлению. Сопротивление здесь не только и не столько готовность дать в этой ситуации сдачи, а последовательная способность противостоять мордобойному беспределу в правовом поле (обращения в суды, прокуратуру, СМИ и т.д.). Таких они обходят стороной, предпочитают не связываться. Зато прочим: необразованным, запуганным, тем более успевшим скомпрометировать себя в дисциплинарном плане — достается по полной программе. В зоне есть зеки-оригиналы, которые умудряются «получать» регулярно, чуть ли не каждые два месяца. Правда, бьют их «грамотно», не калеча, не оставляя синяков и прочих следов, но... ведь бьют. В XXI веке! В государстве, которое очень хочет выглядеть цивилизованным. В стране, которая очень хочет вступить в ВТО.

Тем не менее сплошь и рядом на этой зоне можно встретить арестанта, мирно беседующего или откровенно шушукующегося с кем-то из представителей администрации. Странный факт. Исходя из неписаного кодекса арестантской чести, такого быть просто не должно. Старые зэки-романтики говорят, что в былые времена за это просто били. Зэку не о чем разговаривать с мусором! Арестант, уединившийся с представителем администрации, — потенциальный стукач! То ли это правило уже упразднилось, то ли зона у нас особенная, воровские традиции игнорирующая. Но факт остается фактом — арестанты запросто беседуют с мусорами один на один. Еще одно наблюдение — добрая половина из них «мурчащие», то есть те, кто вроде как относится к категории приклатненных, близких к «блаткомитету». Сами они с важным видом объясняют, что в ходе подобного, почти интимного, общения с мусорами решаются текущие «общие» вопросы. «Общие» от слова «общак» —

вопросы прав, положения, интересов арестантов. Проверить трудно, но среднестатистический арестант — «мужик» в подобную «дипломатию» не верит. Считается, что в ходе подобных разговоров решаются свои, чисто шкурные интересы («затягивание» алкоголя, наркотиков и прочих запретов, покупка свиданий, поощрений, УДО и т.д.).

Перечитал «Подросток» Ф.М. Достоевского. Обнаружил мысль, которая не просто ошеломила, ударила наотмашь: «надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе». Сразу пролистал дневник, пытался найти приметы этой самой «подлой самовлюбленности». Кажется, не нашел. Но писал ли я о себе? Наблюдения, ощущения, наброски, моментальные фотографии всего того, что видел, слышал, чувствовал. Впрочем, личные ощущения всего окружающего, тем более такого специфического окружающего, как тюрьма, лагерь, каторга, — это и есть часть собственного «я». Выходит, мои «рваные» заметки — это заметки о самом себе. Тогда где же тот самый стыд, о котором пишет великий классик? Что-то маловато этого стыда в моих «откровениях». Или я, мягко сказать, далек от совершенства, или Федор Михайлович сгустил краски.

Наверное, не все можно доверять дневнику в этих условиях. Вдруг в силу непредсказуемых обстоятельств попадет он в руки моих недоброжелателей. Какой простор для издевательств и стеба, какой шикарный полигон для упражнений в злом юморе! Хотя мой дневник еще надо умудриться прочитывать. Пишу без разбивки на слова, сплошным, малопонятным текстом. Не завидую тем, кому поставят задачу расшифровывать это, переводить на человеческий язык.

Сглазил Федор Михайлович, ох, сглазил. Не выходит из головы его фраза. Правда, все мысли по этому пово-

ду оставляю при себе, бумаге не доверяю. Обнаружил и другое: мой дневник живет собственной жизнью вполне одушевленного существа. И отношения у нас с ним очень сложные. Порою он руководит мною, «строит» меня, «диктует» мне, эксплуатирует меня. Порою помогает, поддерживает, успокаивает. Удивительный симбиоз.

В библиотеке в книжном завале случайно откопал толстый журнал перестроечных времен. Перелистал. Пробежал глазами некоторые «сверхсмелые» по тем временам статьи о советских реалиях 30-х годов. Разумеется, то и дело наталкивался на слова-символы: «тоталитаризм», «политзаключенные», «политические процессы», опять «политзаключенные». Последнее «ключевое» слово вспомнил уже на следующий день на утренней проверке, когда скользнул взглядом по лицам тех, с кем разделяю ныне пространство несвободы. Задумался.

Официально политзаключенных среди моих сегодняшних соседей нет. Никто не угодил сюда за конкретные действия против основ конституционного строя и безопасности государства, за реальное активное участие в оппозиционном движении (кстати, не уверен до сих пор, существует ли такое в наше время вообще), но... сами обстоятельства попадания сюда, в зону строгого режима, некоторых моих нынешних «коллег», детали биографий и особенности ведения следствия по их делам наталкивают на очень своеобразные выводы.

Вот арестант соседнего отряда Гена Дед. Необразованный, но думающий, способный к анализу, начитанный, в том числе и по юридической части, мужичок. Последние годы перед своей посадкой «активничал» по выборным вопросам в родном районе. Задумывался о причинах резкого несоответствия реальных политических пристрастий местных жителей и официальных результатов выборов. Разумеется, вскрывал случаи вбросов, подтасовки, фальсификации

и прочих уже типичных и даже родных российских выборов «штучек». Местные начальники предупреждали: «Уймись по-хорошему...» Гена не унимался. По-прежнему вскрывал, сигнализировал, обличал. Ну и «дообличался». Обнаружились на его приусадебном участке то ли подброшенные, то ли на скорую недобрую руку посаженные несколько кустов конопли. Тут же подыскалась и уголовная статья для хозяина огорода, по которой он «огреб» восемь лет, разумеется, строгого режима. Сколько сидит Гена (по самым приблизительным подсчетам, «экватор» срока он уже миновал) — столько и пытается опротестовать, обжаловать свой приговор. Судьба всех его ходатайств незавидна. Что-то просто теряется, не доходя до адресатов, а что-то напрямик направляется по месту его жительства для разбирательства тем, кто его сажал. Сложно ли догадаться, какие ответы в этом случае получает автор?

А пока Гена сидит, с его оставшейся на свободе недвижимостью происходят, похоже, необратимые перемены. Огород «раздербанили» соседи: засевают, засаживают на свое усмотрение в отсутствие хозяина. В доме просто живут неизвестные, невесть как туда попавшие люди. Всю жизнь Гена прожил бобылем, ни детей, ни семьи у него на воле не осталось. Соответственно, попросить разобраться некого. Очень может быть, что возвращаться ему после зоны будет просто некуда. Сам Гена уверен, что самоуправство с его имуществом на воле случилось не без хлопот местных чиновников. В довесок, так сказать, к полученному сроку. Ну а нынешние соседи-арестанты, из тех, кто душой недобр да на язык несдержан, откровенно ехидничают: «Мотай на ус, Дед! Будешь в следующий раз на выборах шустрить — у тебя в сарае точно автомат найдут или мешок с героином...»

Вроде бы и никакой чистой политики, никаких действий против государственной власти, а политическая составляющая присутствует и в полный голос о себе заявляет. Да что там заявляет — кричит в полный голос!

Еще один обитатель этого лагеря — Валера Адвокат. И он «беспредела» нахлебался по полной программе. И он пострадал за то, что попер против власти: примкнул к местным правозащитникам, принял участие в выявлении и обнародовании фактов коррупции среди работников администрации региона. И его предупреждали, и ему угрожали. Не внял, не послушал, вот и влип всерьез и надолго. Отправился напомнить про долг людям, которые у него занимали и здорово затянули с возвращением денег, да что-то, видно, не разглядел в людях, которые ему в помощники навязались. В итоге он — участник ограбления и двойного (!!!) убийства, и срок у него такой, от которого даже короткие арестантские волосы дыбом встают: двадцать два года. Можно ли его считать политзаключенным в чистом виде, относить ли его к разряду «частично политических» — не знаю, но знаю точно, что политикой от его «делюги» за версту разит.

Наслушаешься таких историй и делаешь незатейливый, но очень жизненный вывод: есть государство — есть политика, есть политика — значит, обязательно найдутся люди, не согласные с этой политикой, критикующие эту политику, противостоящие этой политике. Ну и так далее... Со всеми остановками, со всеми вытекающими последствиями.

Словом, пока существует государство — будут существовать и политзаключенные. Меняться будут, разве что, способы их борьбы и, соответственно, формы давления на них со стороны государства. И вовсе не важно, какой флаг у этого государства, и сколько раз слово «демократия» повторится в его официальном названии.

Неделю назад в умывальнике нашего барака появились новые, сияющие никелем краны. Вчера Фурик («козел», заместитель завхоза) прошел суд, который счел целесообразным отпустить его по УДО. Говорят, между двумя этими событиями самая прямая связь. Сам Фурик досижи-

вает положенные до выхода на волю десять дней, на все вопросы по этому поводу не отвечает ни «да» ни «нет», только жмурится, как обожравшийся ворованной сметаной кот. Между тем в его случае мы имеем дело, похоже, с самым типичным вариантом освобождения по УДО в нашей колонии. Какие-то плюсы Фурик заработал на своих «козлиных» должностях, помогая администрации в ее нелегких хлопотах по воспитанию-перевоспитанию нас, заключенных. А когда срок возможного досрочного освобождения был уже совсем близок, Фурик отличился на финишной прямой — организовал («затянул», как здесь говорят) доставку на барак партии новой сантехники. В итоге — положительные характеристики, поддержка администрацией его ходатайства и т.д. и т.п. Кстати, право на это самое пресловутое, злосчастное и такое вождеденное УДО на строгом режиме имеет любой зек, отсидевший две трети своего срока и не имевший, по крайней мере за последние полгода, грубых нарушений дисциплины. Под грубыми нарушениями подразумеваются нарушения, за которые арестант получает взыскания в виде изолятора. Однако это вовсе не значит, что всякий зек, «соответствующий» этим параметрам, становится счастливым обладателем этого самого УДО. Во-первых, тот же самый отрядник может не дать ему необходимые для суда характеристики. Точнее, дать их жестко отрицательными («примкнул к отрицательно настроенным заключенным», «в общественной жизни колонии не участвовал», «на путь исправления не встал...»). Во-вторых, даже собрав положенный пакет бумаг, включая ту самую положительную характеристику, — не факт, что суд примет положительное решение. Бросив беглый взгляд в собранные бумаги, тот же судья может буркнуть: «Что-то у тебя поощрений маловато, нецелесообразно тебе на волю пока». Или вдруг вспомнит, что еще в СИЗО, еще до приговора, у тебя было замечание за пререкание с представителем администрации. Словом, поводов для придинок,

соответственно, отказа в УДО, может быть бесконечное множество. Давно сидящие и не утратившие способность наблюдать и анализировать уверены, что из всяких ста уходящих по УДО — восемьдесят уходят за деньги (когда наличные, когда трансформированные в новую сантехнику для отряда, пластиковые окна для административного корпуса и прочие внешние показатели якобы благополучной здешней жизни), причем каждый «недосиженный» месяц эквивалентен сумме от 1500 до 2000 рублей. Пятнадцать процентов уходят по «телефонному праву» — за счет влиятельных родственников, знакомых, способных «замолвить словечко», и только пять процентов составляют те, кто собственным горбом и собственными нервами зарабатывает этот подарок судьбы. Говорят, что подобный порядок чисто местный, присутствующий только на нашей зоне обычай. На прочих зонах администрация чуть ли не пинками выталкивает за ворота тех, у кого подошло время УДО. А еще говорят, будто в стерильно чистом виде ни один из вышеперечисленных вариантов не существует вовсе. Все перепутано, сплетено, а лучшей гарантией досрочной свободы является комбинированное использование всех трех вариантов. Слухи, домыслы, предположения. Впрочем, пока на эту тему задумываться рано. Из семи, определенных приговором (это уже после «откушенного» по кассации года) отбыто, с учетом столичных изоляторов, только два с половиной. Это даже не половина, еще не середина. Это просто ничтожно мало!

Есть одно-единственное слово, универсально характеризующее и обстановку в которой мы находимся, и наше настроение, и все-все-все, что имеет отношение к теперешнему отрезку наших биографий, — тоска. Тоска беспросветная, липкая. Парализующая мысли, волю, душу. Вот это и есть главный враг, которому у здесь надо противостоять.

ять, с которым надо бороться, которого надо атаковать, не дожидаясь, когда он окончательно победит тебя. И строчку из песни М. Ножкина из кинофильма «Ошибка резидента» про «вино кабаков и тоску лагерей» вспоминаешь с особым смыслом. Кстати, эта песня сразу с момента своего появления вошла в категорию «блатных». Отмечу и другое: в этой категории — она лучшая. Впрочем, это мое личное, очень личное мнение. Благодарен судьбе, что довелось видеть этого человека очень близко (на каком-то редакционном мероприятии), «живьем» слушать его пение, лично разговаривать с ним. Светлое он оставил впечатление. Интересно, жив ли сейчас? И кто бы мог подумать, что многое из того, о чем пелось в его знаменитой песне, придется пропустить через себя. Действительно, «ни от сумы, ни от тюрьмы...» Кстати, любопытно, есть ли в фольклоре других народов похожая пословица? Или подобный кульбит судьбы — исключительно русское, чисто национальное явление?

Здесь можно прожить с человеком год, два, три в соседнем «проходняке», в считанных не метрах, а, без преувеличения, сантиметрах друг от друга и... не обмолвиться с ним ни единым словом. Ну, разве что услышать банальное столь часто здесь звучащее: «дай закурить» и «есть заварить?» Удивительно, несвобода, произвол, лишения, прочие обстоятельства, которые, казалось бы, должны сплачивать, здесь чаще разобщают. Разобщают со страшной силой! Впрочем, почему принято считать, что эти обстоятельства должны сплачивать? Ведь все проблемы, что существуют здесь, каждый решает исключительно в одиночку. Рассчитывая только на себя самого, себя одного, только на собственные возможности. А возможности эти у всех очень разные. Выводы совсем не оригинальные, но вечно актуальные. А еще я очень хорошо начинаю понимать арестанта, бывшего «смотрюном» на нашем бараке за

несколько лет до моего появления здесь. На каждом общем собрании «мужиков» он повторял одно и то же: «Общайтесь между собой, больше общайтесь!», а когда понял, что его призыв так и не стал руководством к действию, взял... и разбил отрядный телевизор. Похоже, никто так и не оценил мотивов его слов и действий. Вспоминая этого смотрюна, арестанты, сидевшие в одно время с ним, толькожимают плечами, а то и покручивают у виска пальцем.

Тесен мир, земля действительно круглая. Когда-то я служил срочную в рядах тогда еще советской армии в мотострелковом полку в городе Львове. И в это же самое время в военном училище, расположенном в том же самом городе, на той же самой улице, грыз гранит курсантских наук Игорь К. Наверное, в это время мы встречались в увольнениях: на танцах в Доме офицеров, на аллеях знаменитого Стрыйского парка, а может быть, и на гарнизонной гауптвахте (отношения солдат нашего полка и курсантов его училища оставляли желать много лучшего: если в патруль по городу заступали курсанты — первыми жертвами их сверхдительного патрулирования становились мы, соседи, солдаты седьмого полка; если же в патруль выпадало заступать нам — все повторялось с точностью до наоборот). А теперь, спустя более чем тридцать лет, судьба столкнула нас вот здесь, в зоне строгого режима. Правда, в очень разном качестве. Игорь — «козел», заместитель завхоза нашего отряда. Из его уст почти ежедневно мы слышим адресованные нам команды: «Обед, выходи строиться!», «Подъем, заправка по-белому», «Баня, построение через две минуты!». Я — рядовой «мужик» этого отряда, если не нахожусь на промке и не отсыпаюсь после смены, обязан эти команды выполнять. Да и прошлые наши биографии складывались очень непохоже. Впрочем, это сейчас уже никому не интересно. В зону Игорь К., полковник

МЧС, угодил при попытке получения взятки, занимая теплое место в одной из столичных структур. А «козлиную» карьеру выбрал без колебания с первого дня пребывания в зоне. И в этой «шкуре», и с этими «рогами» чувствует себя вполне комфортно, ни о чем не жалеет, других вариантов развития своей судьбы просто не представляет. Еще одна иллюстрация на вечно актуальную тему — каждому свое.

Перечитал записанный вчера посвященный полковнику МЧС Игорю К. «кусочек» и задумался. Испытал что-то похожее на удовлетворение, даже гордость: ведь за весь свой почти трехгодичный лагерный стаж ни разу не вляпался ни в одну «козлиную» должность. Не потому, что свято чту кодекс арестантской чести (уже не раз отмечал, что время не оставило от этой романтической системы камня на камне), а потому, что... наверное, так распорядился мой ангел-хранитель: всякий раз избавлял меня в подобных ситуациях от неудобств, проблем, хлопот.

Еще в самый первый лагерный день (в Березовской зоне) ко мне подошел библиотекарь Василий В. (по совместительству, или наоборот, главный «козел» зоны, глава совета актива колонии) и с места в карьер предложил: «Вот ты журналист, хорошо бы, чтобы взялся за выпуск лагерной газеты...» Хорошо, что сработал инстинкт самосохранения, и я попросил пару дней осмотреться, отдышаться, освоиться после бутырских злоключений, после этапа. Лагерная газета оказалась плохой карикатурой на «Боевой листок», выпускалась исключительно по «отмашке» дурака заместителя замполита, где печатались то кондовые поздравления с Новым годом и прочими праздниками, то предавались гласности списки лагерных нарушителей дисциплины («за неделю выдворено в штрафной изолятор столько-то», «объявлено выговоров столько-то»). Пришлось совершенно искренне объяснять, что вся моя профессиональная почти тридцати-

летняя деятельность ничего общего с подобным занятием не имела. Через пару дней предложение по части «рогов» и «копыт» (так на лагерном аргоне называют «козлиные» должности) повторилось в иной форме — меня вызвали к отряднику, в кабинете которого сидели трое мордатых офицеров (два капитана и майор) в уфсиновской форме: «Вот у нас тут будет создаваться пункт по трудоустройству тех, кто освобождается, вам эта тема ближе, попробуйте заняться...» И тогда хватило ума и везения «не повестись», попросить день-другой на размышление. За это время выяснилось, что идея организации подобного пункта спущена сверху, как подступать к ее реализации, никто не знает. Словом, берись, арестант, за мусорскую работу! Получится — лавры, премия, почет людям в погонах, не заладится — спрос с тебя! Мусора, простите, работники администрации при любом раскладе останутся белыми и пушистыми. Кстати, никакой, даже микроскопической, ставки для меня там не предусматривалось, все вроде как на общественных началах, короче, «мусорская халява». Понятно, и с того предложения я почти деликатно «соскочил». Новый лагерь — новое предложение. В Свиноушках также в самый первый день по прибытии, меня, еще не успевшего отдышаться после трехчасового путешествия в переполненном зеками и зековскими баулами автозаке, начали сватать на должность библиотекаря. Возиться с книгами — мое самое любимое занятие, но к тому времени я уже точно знал, что такие «сладкие» должности в зоне даром не даются. А оплата известная — помогать администрации в «нелегком» деле подсматривать да подслушивать. Короче, стучать. К этому времени к подобному варианту трудоустройства было и свое личное отношение. В итоге не к стеллажам с книгами, а к пропиленовым мешкам вышел я на работу в тот самый первый день по прибытии в лагерь Свиноушки. Впрочем, перспективы «козлиной» карьеры сохранялись и после этого, через пару дней старший мастер нашего швейного участка вызвал меня и сообщил что-то

уже знакомое: «Образование — высшее, два высших... Это хорошо, по-другому можно работать, на должности, помогать». «Кому помогать?» — любопытствовал я. «Ну и нам, и производству, и мужикам...» Здесь-то мой собеседник грубо слукавил, главная обязанность «козла» на швейном участке — не столько должным образом организовывать рабочий процесс, а опять же информировать людей в погонах о всех настроениях в арестантской среде, значит — стучать. А заодно и пытаться «втюхивать — продавать» поощрения за добросовестное отношение к труду, столь необходимые каждому арестанту. Кстати, в этом у «козлов» здесь прямая материальная заинтересованность. Десять процентов с «гонорара» за проданное поощрение идет им в карман. В виде наличных, сигарет, продуктов, это уж кто как договорится.

А еще в те самые первые дни на Свиноушках имела место одна любопытная и показательная сцена. Начальник соседнего отряда добрые полчаса упрашивал меня идти к нему в отряд кем-то вроде заместителя завхоза, заниматься текущей документацией, учетом, списками и т.д. «Целый» капитан сидел напротив и унылым голосом бубнил: «Грамотный — это хорошо, наверное, почерк хороший, работы немного, списки там, справки, соответственно проблем ни с поощрениями, ни со свиданиями, ни с УДО не будет, да и телефоном будешь пользоваться когда надо, предупредишь только...» Слушал молча, улыбался про себя. Мне, не просто служившему, но и воевавшему, не по газетам знавшему все горячие точки конца прошлого века (от Ирака до Абхазии, от Хорватии до Приднестровья, от Боснии до Южной Осетии), предлагают что-то среднее между писарем, стукачом и секретаршей и при этом надеются на положительный ответ. Кажется, тогда в ответ на все высказанные предложения я вообще ничего так и не ответил.

Верно, сейчас я просто счастлив, что за все время своей арестантской биографии я не вляпался ни в одну из «козлиных» вакансий, но было бы великим лицемерием говорить,

что за все это время я ни разу не сомневался, не сожалел, не колебался. Часто захожу теперь к нынешнему, ставшему моим очень добрым приятелем, лагерному библиотекарю Игорю Владимировичу Н. С удовольствием втягиваю особый (на зоне он вдвойне дорог и приятен) книжный аромат, оглядываю стеллажи и столь важные для всякого зека детали быта: радиоприемник (по закону не возбраняется, но администрация всегда строит невероятные козни всякому, кто пожелает его иметь здесь), электрочайник (к подобному предмету в зоне аналогичное отношение, к тому же его проще объявить пожароопасным). И, конечно, иногда думал я про себя: «А ведь мог бы и я так сидеть, почитывать, пописывать, подклеивать приходящие в ветхость томики, а не “горбачить” в три смены на вонючей промке». И всякий раз внутренний голос вкрадчиво, но очень твердо успокаивал: «Не согласился — зато сам себя уважаешь, не согласился — зато имеешь полное право себя в грудь ударить — весь срок “мужиком”!». Впрочем, прочь, пафос! На теплом библиотечарском месте никакого морального права на книгу «про зону, про лагерь» я бы просто не имел. Нельзя писать про эту жизнь, наблюдая ее из окна. Это грех! Писать можно только про то, что ощущаешь собственной шкурой, что расхлебываешь сам персонально. Впрочем, и эти соображения из разряда личных, очень личных. А то, что не надел рога, — все равно и правильно, и здорово!

Никогда не относился к категории пьющих, но алкоголь в умеренных дозах в моем рационе на воле присутствовал регулярно: когда стопка водки, когда бокал пива, когда фужер вина. То банкет, то презентация, то званый ужин, то семейное торжество, то просто человеческое желание растворить накопившуюся за день усталость. А тут... почти три года сухого, сверхстрогого закона. Кажется, далеко-далеко в прошлом и смолистая, щекочущая ноздри терпкость ко-

ньяка, и ласковая пивная горечь, и концентрированная энергия виски, и вязущее сладкое послевкусие портвейна, и лихое водочное веселье. Как будто и не существует вовсе подобных радостей в жизни. И не существовало вообще. Нигде. Никогда. Между тем выпить здесь можно очень даже запросто. Реализовать подобное желание можно двумя путями. Первый путь — купить у тех, кто промышляет этим на промышленной основе. При наличии средств и некоторых связей, определенных знакомств это можно сделать практически в любое время суток. Ассортимент невелик — водка, спирт, самогон. Водка — пятьсот рублей поллитра. Спирт в аналогичном объеме — что-то около тысячи рублей. Самогон немного дешевле, чем водка. Все напитки «гуляют» по зоне в перелитом виде в небьющейся таре, в пластиковых бутылках из-под минералки и пепси. Водка и спирт «затягиваются» почти всегда по мусорским каналам. Самогон гонят прямо в зоне. Качество всех напитков, мягко говоря, «не очень». Все зачастую неоднократно «разбодяживается» — разбавляется участниками алкотрафика. Соответственно, «на выходе» что-то очень невнятное, лишь отдаленно напоминающее истинный продукт.

Второй путь обретения алкоголя на зоне — собственное изготовление. Изготавливают чаще всего брагу. Компоненты простые — сахар, вода, сухофрукты. Брагу «ставят» и в бараке. Емкости прячутся то под кроватью, то в тумбочке, то в прочих, самых банальных местах или на промке. Там все это проще спрятать в путанице подсобок, мастерских, складов. С самогоном сложнее — сама технология его изготовления подразумевает стадию перегонки, а это — лишние улики в виде стремительно распространяющегося запаха, лишние недобрые глаза и масса прочих неудобств. Тем не менее гонят и его. Чаще всего на этой самой промке.

Еще несколько специфических деталей, связанных с потреблением алкоголя на зоне. Прежде всего, крайне

желательно, чтобы всякий решивший здесь выпить предупредил заранее об этом («курсанул», как здесь говорят) «смотрюна» отряда. Для соблюдения, так сказать, общей субординации. Также желательно, чтобы часть напитка (все равно какого — купленного, лично приготовленного, случайно раздобытого и т.д.) была уделена в распоряжение отрядного «блаткомитета». Наконец самое главное: принявший решение выпить на зоне должен был непременно быть готов к тому, что среди тех, кто алкоголь этот помогал раздобыть, изготовить, сохранить, поделить, — обязательно окажется тот, кто «сольет» информацию обо всем этом мусорам. По крайней мере каждые четыре из пяти случаев потребления спиртного в бараке, что происходили на моих глазах, непременно заканчивались появлением на отряде дежурного по зоне, а то и целого наряда со всеми, так сказать, вытекающими последствиями (самое обычное — водворение в изолятор). По большому счету выпивка на зоне — своеобразный вариант русской рулетки. Можно сказать и по-другому. Всякий сильно желающий выпить здесь — непременно выпьет. Только обойдется это очень дорого. Во всех смыслах! Потому и проще, и выгоднее, и разумнее — здесь не пить. Ни с кем! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Значит, да здравствует временное торжество сухого закона и естественная очистка организма от последствий былых общений с зеленым змием!

Чем больше мой стаж несвободы, тем чаще вспоминаю подробности своего дела, детали событий, которые предшествовали суду, сам суд, всю информацию по той же теме, что имела место после суда. В памяти уже давно существуют своего рода папки-файлы с условными наклейками: «следствие», «суд», «защита», «дорогая редакция», «поведение коллег». Увы, архив этот уже изрядно смердит, а стремительно растущий объем информации настоятельно

требует создания новых отдельных папок, не менее смердящих, не менее омерзительных. Немало фактов, цифр, цитат собрано в папку, под условным заголовком «шеф». Самая зловонная единица хранения этого архива! Систематизируя ее содержание, сделал совершенно неожиданное открытие. Социально-социологически-лингвистического характера. Удивительно, но последние лет двадцать слово «подлец», такое емкое, такое конкретное, такое точное, практически не употребляется. Слово «подлец» в обществе вроде бы как победивших либерально-демократических ценностей оказалось не востребованным, неупотребляемым, почти забытым. Не потому, что подлещи перевелись, а, наоборот, потому, что их стало слишком много, потому что заняли они почти все ступеньки всех возможных общественных лестниц, потому что именно они задают тон, много чего определяют, немало чего насаждают и диктуют. Им самим употреблять это слово не с руки. Соответственно, в их присутствии употреблять слово, самым исчерпывающим образом определяющее их суть, просто неприлично, а в отдельных случаях даже опасно — совсем как прикуривать в сильный ветер на бензоколонке. Впрочем, это эмоции. А слово «подлец» вспыхнуло в памяти моей огненными буквами-фейерверками, когда вспомнил, как бывший мой шеф, главный редактор и владелец («хозяин») «Свободной газеты», на вопрос судьи, знал ли он о переговорах подсудимого, то есть меня, с представителями Министерства продовольствия о рекламно-информационном сотрудничестве, голосом кастрированного вегетарианца еле слышно проблеял: «Не-е-е-т, ни о каких переговорах я не зна-а-а-ал...»

В подобных ситуациях понимаешь, почему в нынешней жизни у атеистов такие крепкие позиции. Ведь в тот момент под говорившим не разверзлась земля, над его головой не грянул гром, да и язык его, проблеявший столь очевидную ложь, в этот момент не отнялся. Между тем лю-

бой и каждый в редакции знает, что всякие переговоры о рекламно-информационном сотрудничестве самостоятельно не проводятся. На них непременно требуется получить предварительное, часто неоднократно самым тщательным образом согласованное «добро» у «хозяина». Что-то противоположное, обратное считается грубейшим нарушением внутренней дисциплины, которое расценивается как попытка просто обмануть и обокрасть «любимую редакцию». За подобное, естественно, сразу наказывали, увольняли. Я, проработавший в «Свободной газете» десять лет, и все это время занимавшийся рекламными проектами, не мог позволить себе проигнорировать подобное правило.

Кстати, откуда взялась цифра в тридцать тысяч долларов за услуги по рекламно-информационному обеспечению, что Министерство продовольствия уже почти было согласно выплачивать редакции «Свободной газеты»? Не мог же я их просто выдумать. До сего дня считаю, что в этой ситуации суммы в полтора раза меньше хватило бы и для должного поддержания имиджа министерства, и для достойного пополнения редакционной кассы. Да и мои, положенные в подобных случаях, десять процентов комиссионных выглядели бы здесь вполне весомо — целые две тысячи американских долларов в довесок к хилой, более напоминающей милостыню, редакционной зарплате! Естественно, сумма в тридцать тысяч долларов определена и озвучена была «хозяином». Никто другой на это в нашей редакции, да и в любом прочем нынешнем СМИ, не имел ни прав, ни полномочий. Сумма эта была названа им, когда переговоры о всех этапах и всех нюансах которых я его регулярно информировал и не мог не информировать, только начинались. Повторяю и готов повторять под любой присягой, на самом страшном суде: сумма в тридцать тысяч долларов была определена и названа главным редактором и владельцем некогда родной для меня «Свободной газеты». А тут: «Не-е-е-т, ни о каких переговорах я не зна-а-а-ал...» Разумеется, слово «подлец»

так и напрашивается в этой ситуации на язык. Кстати, в лагерном лексиконе, в словарях людей, говорящих вокруг, слова этого не встречается. То ли потому, что лагерь наш — мини-модель общества, в котором ныне это слово не принято произносить, то ли потому, что масштабы злодеяний, за которые люди сюда попадают, куда скромнее, чтобы за это называть подлецом. Все истинные подлецы ныне исключительно на воле, исключительно при делах: во власти, в политике, ну прямо как мой экс-шеф.

Пространство между административным корпусом и зданием промки представляет собой что-то среднее между запущенным чахлым садиком, пустырем и откровенной свалкой. Единственное украшение этой территории — несколько скульптур из крашенного темно-серой краской то ли бетона, то ли гипса. Какие-то свирепые то ли собакообразные львы, то ли львиноподобные собаки, какой-то рыцарь с копьем и в латах. Кто это придумал, утверждал — сейчас уже никто не помнит. Единственная, переходящая от одного поколения зеков к другому информация: будто ваял все это такой же, как мы, — арестант. Будто за все это было обещано ему УДО и будто со всем этим его обманули. Нужное количество скульптур в нужные сроки было изготовлено, а с УДО мусора кинули, и на свободу он ушел только «по звонку». Очень типично для этой зоны! И еще один то ли миф, то ли предание, то ли анекдот на тему упомянутого скульптурного украшения. Словно чувствуя грядущий обман или просто черпая вдохновение с окружающей близкой природы, автор «подарил» рыцарю лицо тогдашнего заведующего лагерной санчастью (судя по этому лицу, скульптор имел большие претензии к главному медику зоны). А у собакольвов морды здорово смахивают на физиономии двух, еще совсем недавно работавших в зоне, прапорщиков-контролеров, видимо, также успевших

чем-то насолить автору. Классический пример профессиональной мести художника-монументалиста!

Стал свидетелем короткого диалога на промке. К бугру Феде (бугор — бригадир), главному «козлу» на швейном участке, обратился работающий в одну смену со мной арестант соседнего отряда: «Мне бы поощренье, дело к льготам подходит (льготы — в данном случае срок возможного УДО), я же работаю, все смены выхожу, не сачкую...» Тот, к кому была обращена эта фраза, был в этот момент «занят» — подравнивал «когтегрызкой» (пружинными щипчиками) свои и без того аккуратные ногти. Не прервав своего занятия и даже не повернув головы в сторону обратившегося, Федя, будто бы ждал этого вопроса много дней, очень спокойно переспросил: «Поощрение? Какое? За одну? За две? Или бесплатное?» Вопросавший, не посвященный во все тонкости порядков, царящих в нашей зоне, долго переваривал смысл услышанного. Оказывается, «одна» — это одна тысяча рублей. Все равно, в каком виде — в виде «налика», перевода на нужный адрес, на указанный телефонный номер и т.д. В этом случае плативший получал желаемое поощрение очень быстро, большая часть указанной суммы уходила «мусору»-мастеру, который оформлял соответствующий рапорт, десять процентов — Феде, выступающему здесь в качестве посредника. «Две» в данном случае слово более чем понятное, речь идет о двух тысячах рублей. Та же услуга. Та же цепочка. Та же процедура. Но при удвоенном гонораре все делается молниеносно быстро — буквально за день. Что же касается формулировки «бесплатно», то это еще более чем говорящая, абсолютноискренняя формулировка. В этом случае желающего могут внести (а могут, разумеется, и не внести) в условные списки, типа резервных, кандидатов на поощрение. И «висеть» ему в этих списках, возможно, до самого конца срока. Обращаться за разъяснением к мастеру, к

тому же «бугру» — бесполезно, в лучшем случае эти люди просто соврут, что «много желающих», что «все будет, но позднее», а скорее всего, надуют щеки, демонстрируя великую занятость, и пробурчат под нос: «Потом, потом, потом». Если же проявить настойчивость в этой ситуации и продолжать попытки поисков правды и справедливости — в ответ непременно услышишь, что «месячная норма у тебя не выполняется, а соответственно, и тема поощрения для тебя закрыта». Аргумент убийственный. Я уже отмечал едва ли не с первых дней работы на промке, что снабжение сырьем здесь налажено из рук вон плохо, давно отработавшее свой ресурс оборудование то и дело ломается, в итоге производительность наша, не по вине нашей, а в силу субъективных факторов, очень скромная. Только напоминать об этом бесполезно — говорим мы с этими людьми на совершенно разных языках.

В завалах лагерной библиотеки обнаружил удивительную книгу — малоформатный, малообъемный «Толковый словарь русского языка» В. Даля. То ли дополнение к тому знаменитому четырехтомнику, то ли какие-то выжимки из него, сделанные с исключительным вкусом и любовью. Читал, смаковал, поругивал себя — на воле имел возможность заглядывать в «главный» вариант этого словаря каждый день и не пользовался, да что там не пользовался, годами не вспоминал о подобном сокровище собственной библиотеки. А тут карманного размера издание, и столько всего «вкусного»! Прочитал дважды. Очень понравились две, ранее никогда не слышанные пословицы: «Волк тавра не знает», «Царь, да нищий без товарищей». И та и другая здесь звучат особенно актуально.

После прошедшей ночи, кажется, имею все основания признаться: «Я знаю, как выглядят бесы». Жуткое признание!

Проснулся от непонятного беспокойства. Увидел, как напротив, между стеной и тумбочкой, тьма сгущается в какие-то мохнатые, шевелящиеся комки, размером то ли в раскормленную кошку, то ли в худосочную собаку. Комки то сходились, слеплялись в единую шевелящуюся, клокастую массу, то снова распадались на отдельные, такие же мохнатые, так же шевелящиеся комки. Удивительно, но в этот момент особого леденящего страха не испытал. Только подумал с грустным юмором: «Досиделся до чертей, здравствуйте, глюки, что же дальше будет, чего же на следующем этапе ждать?» Конечно, прочитал «Отче наш», а перекреститься (вот оно, свидетельство слабости моей веры) и забыл.

Нервишки. Нервишки. Шалят, проклятые. Сдали, проклятые. Это естественно. Невозможно двадцать четыре часа в сутки на протяжении более двух лет уподобляться одновременно и граниту, и бронзе, и сжатой до предела пружине. Очень может быть, в нынешней моей ситуации нервные срывы не то что естественны, а даже необходимы для поддержания «общей нормальности» нервной системы, для стравливания, удаления накопившегося негатива, перенапряга. Скорее всего, так оно и есть. А все равно не по себе. Жутковато. Да и стыдно, ибо за всем этим можно разглядеть проявление элементарной слабости, приметы состояния откровенного сумасшествия.

Между тем, изучая окружающих меня людей, я уже не раз отмечал многие приметы ненормальности в их поведении, привычках, поступках. Отмечал с удивлением, пренебрежением, безгливостью. Выходит, отмечал, отмечали... доотмечался. Опять командую сам себе: «Собраться, сосредоточиться». Непозволительная эта роскошь, рехнуться, не досидев и до середины срока. Это не наш, не мой, это совершенно противоестественный вариант.

Пикантная, сверхпикантная тема. Короче, «про это». Главный мужской вопрос здесь решается следующим об-

разом: если ты женат, по закону имеешь право на одно длительное свидание раз в четыре месяца. Про случаи, когда вместо трех суток здесь дают только двое и каковы на это причины, я уже писал. Соответственно бывает, что кто-то ходит на свидание с женой гораздо чаще — за этим или поощрение (есть такое в законе, так и называется — внеочередное поощрительное свидание), или рядовое вложение в «лапу» кому-то из представителей администрации, в зависимости от ситуации, от трех до пяти тысяч рублей (соответственно, все это оформляется — проводится в виде внеочередного поощрительного свидания). Общеизвестно и другое: на зоне есть люди, которые ходят на длительные свидания почти ежемесячно. Знаю, у некоторых свидания эти длятся куда больше, чем положенные три дня. Пример с Рыжим — «козлом» из нашего отряда, что «завис» на «свидании» аж шесть дней, я уже, кажется, приводил, механизм подобных аномалий представить несложно.

Имеют шанс на круглосуточные удовольствия и те, кто имеет не законную, а всего лишь «гражданскую» жену. Раньше, всего лишь два-три года назад, с этим не было никаких проблем. Требовалось только заплатить. Сейчас, после, похоже, каких-то проверок ситуация изменилась. Статус «гражданской» жены надо доказывать, подтверждать, то ли справкой о совместном ведении хозяйства, то ли документами о наличии общих детей. Это в массовом, так сказать, порядке. Что же касается отдельных случаев — то они имеют место. Просто кому, как, с кем и за сколько удалось этот вопрос решить.

Деньги, деньги... Кстати, за официальную, абсолютно законную, оформленную с соблюдением всех правил, длительную «свиданку» надо платить. Платят те, кто приезжает к арестантам. Через бухгалтерию, с получением квитанции. Сутки стоят 180 рублей. Для местных, у кого зарплата в 5—6 тысяч в порядке вещей, — это много, да и для тех же москвичей с учетом дороги (плацкартный билет

Москва — Свинухи только в один конец стоит 1500 рублей) — это не мало. А еще надо привезти еды (что-то есть самим в течение свидания, что-то арестант потом должен унести с собой в виде передачи), сигарет (даже если он некурящий), чая.

Кстати, кто придумал, что за длительное свидание и за общение арестанта с родными надо платить, я не знаю. Интересно, существовала ли такая практика в сталинском ГУЛАГе, на царской каторге?

Справедливости ради отмечу, что «свиданочные» условия в Свинухах куда лучше, чем в Березовке. Там номера куда теснее, окна комнат забраны «намордниками», состояние душа и туалета просто отвратительное.

Наверное, почти опять «про это». Специфика российской зоны строгого режима такова, что мужчине, тем более молодому мужчине, здесь трудно. Даже если есть на воле жена, что имеет возможность положенные раз в четыре месяца приехать сюда. Даже если он умудрится, изловчится, извернется и раздобудет-прикупит дополнительный, трехдневный кусочек интимного счастья. Впрочем, при чем здесь «специфика»? Почему именно российская? Надо называть вещи своими именами: и здесь природа требует свое! Плоть бунтует! Пол восстает! Атмосфера однополого вольера давит, прессует, а особо трепетных, чувствительных просто калечит. Женщин здесь катастрофически не хватает. Не хватает даже не только как партнеров в естественных, физиологических, утвержденных природой отношениях, но и как части окружающей среды, части окружающей обстановки, пейзажа. Потому и к тем немногим женщинам, что работают здесь и в силу своих должностных обязанностей вынуждены появляться периодически в поле нашего зрения, отношение специфическое. Кстати, в силу каких-то внутренних инструкций и правил, самосто-

ательно женщины по территории зоны не перемещаются, их обязательно сопровождает контролер.

Ну а реакция «спецконтингента» на увиденную в зоне женщину вполне предсказуема. Вслед всякой представительнице слабого пола выворачиваются шеи, разворачиваются головы, ну и... раскрываются рты нашего брата арестанта. Какая «поэзия» звучит в этот момент, представить несложно. Как несложно представить выражение глаз, которым сопровождается всякая, попадающая в поле нашего зрения, женщина.

Работало бы в администрации колонии больше женщин, чаще бы видели их арестанты, было бы все совсем по-другому. Не было бы дикого гогота, не звучали животные остроты, не выворачивались арестантские шеи. Почему так мало работает в зоне женщин, вопрос скорее риторический. За этим — и гендерное невежество всего нашего общества, и ведомственная тупость, и махровое местное жлобство. А слыша тяжелые шутки вслед каждой проходящей мимо локалки женщине, всякий раз вспоминаю двадцатилетней давности посещение колонии в американском городе Сиэтле. Удивительное дело, мужчины и женщины содержались там, по сути, вместе, пусть в разных корпусах, в разных зданиях, но раз в неделю они имели возможность общаться, видеться, встречаться в церкви, в воскресной школе при церкви. Да и в штате «буржуйской зоны» женщины составляли едва ли не половину. Попытался как-то поделиться подобными воспоминаниями со своими товарищами по несчастью. Кто-то одобрительно кивнул: «правильно америкосы организовали», кто-то недоверчиво тянул извечное арестантское: «го-о-онишь», но большинство мрачно молчало. Похоже, им было просто невозможно представить подобное.

И еще раз почти «про это». Только с другой стороны. В переносном и, отчасти, в самом прямом смысле этого термина.

Давным-давно не секрет, даже для людей максимально далеких от арестантских проблем, что в иерархии лагерного населения самая низшая, самая презируемая категория — «обиженные», «петухи». Они — неприкасаемые почти в самом прямом смысле этого слова. У них своя посуда, свой стол в столовой, свое место в бараке. Для них выделены специально определенные кран и раковина в умывальнике, кабинка в туалете. На зоне они выполняют самую тяжелую, самую грязную, самую унижительную работу. До их вещей нельзя дотрагиваться, с ними нельзя здороваться за руку, даже что-то передавать им из рук в руки не допускается. Какой-то предмет, который нормальный арестант должен передать «обиженному» (та же пачка сигарет или «замутка» чая), кладется сначала на нейтральную территорию (подоконник, табурет и т.д.), и только потом оттуда «обиженный» забирает его.

Кто, за что, насколько заслуженно и справедливо попадает на это «дно» лагерной жизни — отдельная, сложная, полная противоречивых и откровенно трагических моментов, тема. Отмечу только, что обратно «наверх» с этого «дна» дороги нет. Ни разу не видел арестанта, возвращенного из «обиженных» в нормальные, порядочные. Более того, даже не слышал, чтобы с кем-то, где-то, когда-то такое случилось. Совсем как в некоторых видах зубчатой передачи — все движения только вперед (в данном случае вниз), а обратно (наверх) — никак.

Уже не секрет для прогрессивного, всем интересующегося и во все вникающего общества, что среди этих самых «петухов» есть разряд «рабочих петухов», т.е. тех, кого прочие арестанты употребляют для удовлетворения своих плотских потребностей. И эта тема неоднозначна и противоречива. Знаю арестантов, твердо уверенных, что «употребление» «петуха» на зоне — явление естественное, почти обязательное (раз сидел — значит, непременно должен попробовать). Но куда больше тех, по крайней мере в

этой зоне, по крайней мере вокруг меня, кто к подобным «забавам» относится максимально брезгливо, кто абсолютно уверен, что без «этой грязи» можно и нужно обходиться, а «каста неприкасаемых» должна быть неприкасаемой во всех смыслах.

Больше того, в московских СИЗО я встречал стариков-патриархов лагерной жизни, понимавших толк в «понятиях», имевших по четыре-пять отсидок, на которые ушло больше половины биографии, и которые подобной «клубничкой» себя ни разу не оскверняли. Словом, «забава» эта... на любителя. Тем не менее любители находятся. Опять же не берусь оценивать это через призму арестантского кодекса — коснусь только медицинско-гигиенической стороны.

Упомянутое, пусть не столь распространенное, но все-таки существующее, явление — откровенный рассадник не только венерической заразы, но и такого сверхсерьезного недуга, как СПИД. Неужели обо всем этом не знают в главном российском тюремно-лагерном ведомстве? Непременно знают! Обязаны знать! Не могут не знать! Почему не снабжают лагерь известными изделиями — теми же самыми презервативами? Ответа на этот вопрос я не знаю. Равно как не владею статистикой распространения СПИДа по российским зонам.

На стене одного из барачков нашей зоны висит плакат «На свободу — с чистой совестью». Лозунг известный. Почти клише. Своего рода бренд всей российской тюремно-лагерной системы. Всеми узнаваемая примета отечественного ГУЛАГа. Плакат расположен так, что его прекрасно видно из столовой. Хлебаешь баланду, и... глаза непременно упираются в эту истину. «На свободу — с чистой совестью!» Задуматься — идиотизм! Полный! Абсолютный! Стопроцентный! Если есть у человека совесть — так она и есть, независимо от того, где он находится. Если совести

нет (отсутствует с рождения, атрофировалась, уничтожена пагубным влиянием общества и т.д.) — это объективная реальность. А уж чтобы зона способствовала очищению этой самой совести (категории, о которой даже большинство представителей администрации имеет самое приблизительное, самое условное представление) — такое даже смоделировать невозможно. Кстати, в арестантском лексиконе слово «совесть» почти отсутствует, но есть универсальные термины — «порядочно», «непорядочно». С их помощью можно вполне точно классифицировать весь спектр человеческих поступков. Между тем лозунг «На свободу — с чистой совестью», рожденный, сдаётся мне, в каком-то «лохматом» гулаговском году, благополучно перекочевал в реалии двадцать первого века, в эпоху инноваций и нанотехнологий, и... прекрасно себя здесь чувствует. При всей своей абсурдности и нелепости. То ли люди, старательно удерживающие его на щите, толком не понимают его смысла, то ли смысл этот, особенный и глубоко спрятанный за внешней глупостью, им очень важен и выгоден.

История писем руководству колонии с просьбой разобраться с начислением моей заработной платы получила некоторое развитие. Как и предсказывали давно здесь сидящие, никто ни в чем разобраться не стал.

Снова вызывали в высокие кабинеты, объясняли корректно, но уже с нескрываемым раздражением, что деньги мне начислялись все прошедшие месяцы исключительно правильно. Похоже, здесь действует доведенная до совершенства система манипуляций с выходом/невыходом, общим объемом и количеством отработанных дней и т.д. Про разгружаемые практически каждый день громадные фуры с сырьем и соответственно так же регулярно загружаемые готовой продукцией, никто не вспоминает, хотя наряды на эти работы регулярно оформляются (не знаю только,

на какие фамилии), деньги начисляются. Куда уходят эти деньги, догадаться нетрудно.

Система начисления зарплаты арестантам, быть более точным, система нашей глобальной обдираловки, позволяющая кормиться немалой части администрации, дающая возможность прикармливать армию проверяющих, несокрушима, незыблема, непоколебима.

И эта система жестко стоит на своем и мертвой хваткой держит свои, точнее наши, украденные у нас, деньги.

Написал еще одну бумагу на «хозяина», повторил тезис о том, что начисляемая мне «так называемая заработная плата» не имеет ничего общего ни с реальными выполняемыми объемами работ, ни с элементарным здравым смыслом. Повторил еще раз просьбу — переводить начисляемые мне подобным образом деньги на счет главного российского тюремного ведомства для дальнейшего распределения между наиболее нуждающимися сотрудниками. Уже через два дня был вызван отрядником. Не скрывая злорадства, он тыкнул пальцем в последние строчки моего письма: «Вот здесь про перевод, а реквизиты не указаны, так не положено...» «Неужели в бухгалтерии нет номера бухгалтерского счета главной конторы вашего ведомства?» «Нет, нет», — обрадованно затряс маленькой головой капитан Василиса.

Эти самые треклятые реквизиты через знакомых, через родственников, через друзей я все равно добуду, узнаю, получу. Вот только дойдет ли мое послание с подобной «нетрадиционной» просьбой до адресата? Если «тормозят» столь настойчиво на самом начальном этапе, значит, на последующих, тем более заключительных, финишных этапах этой самой настойчивости прибавится шансов, что мое письмо вообще выйдет за пределы лагеря, — немного. Впрочем, все равно эти шансы есть, и надо сделать все, чтобы их использовать.

Всегда знал, что на зонах, в тюрьмах, во всех звеньях карательно-исправительной системы (сознательно не упо-

требляю термин «пенитенциарной» — боюсь ошибиться, уж больно мудреное слово) процветает наушничество, доносительство, стукачество. Более того, всегда знал, что на этом гадком явлении эта самая карательно-исправительная система стоит, покоится, держится ровно столько времени, сколько эта система вообще существует, — и все равно, как показала реальность, истинных масштабов этого самого явления я и не представлял, просто представить не мог.

Удивительно и омерзительно! А еще очень подозрительно, с учетом всех витающих здесь высоких разглагольствований о «порядочности и беспорядочности», отмечать, что информация практически о любом нарушении режима (употребление спиртного, изготовление браги, приобретение и пользование мобильным телефоном и т.д.) почти всегда очень скоро становится достоянием представителей администрации. Отсюда и постоянные курьезы. Только «затянул» арестант новый «мобильник», только-только оборудовал для него, как ему казалось, оригинальный «курок» — заходят контролеры и прямым ходом к этому самому «курку», о котором знали очень немногие, самые избранные. Решили две-три отчаянные головы выпить, приготовили со всеми треволнениями и затратами брагу, только собрались «употребить» (после отбоя, когда и лишних глаз, кажется, нет) — сам дежурный по зоне тут как тут.

Еще более странно, что подобная закономерность существует, точнее, процветает, здесь не год и не два. Все об этом знают, все возмущаются, все негодуют, все признают, что это ненормально, что так не может быть, что за это «положено голову разбивать», но годы идут, а ни одного конкретного живого стукача не выявлено, не обнаружено, не разоблачено. К месту, нет ли, вспоминаешь здесь давно существующее и трепетно исполняемое правило: если ты решился на что-то связанное с «запретом» — непременно должен заранее согласовать свое решение со «смотрящим» и прочими представителями местной блатной иерархии. Выводы от

размышлений на подобную тему напрашиваются грустные, романтическому взгляду на тюремно-лагерные традиции противоречащие. Кстати, как утверждают давно сидящие и много чего знающие арестанты, стукач стукачу — рознь. Свои постоянные помощники есть у оперов зоны (для них стукачи — глаза и уши, без них опера — не опера), имеются постоянные информаторы у представителей лагерной администрации (от отрядника и выше), есть стукачи «по жизни», готовые добровольно, по зову сердца, стучать по любому поводу кому угодно. Говорят, есть элитные, тщательно оберегаемые стукачи для отдела, что занимается контролем за личным составом («мусора пасут мусоров»). Поговаривают, что существуют в зоне и еще более глубоко запрятаные информаторы, нити от которых тянутся не в главное тюремное ведомство, а в куда более серьезные структуры. Но это, как говорится, из области «за что купил, за то и продал». Можно верить, можно не верить, можно сомневаться, только факт остается фактом: девять десятых любых нарушений пресекаются здесь на взлете, «по стуку», с поличным, а уличенных в этом не находится.

Обрывки арестантских диалогов — уникальный материал для изучения политических пристрастий этой традиционно многочисленной для нашего многострадального Отечества социальной прослойки (кто-то уже сидит, кто-то сидел, кто-то того гляди сядет, кто-то не сидел и не сядет, но всей своей жизнью, судьбой, душой связан с сидевшими и сидящими). В последнее время в этих диалогах все чаще звучат отголоски предвыборных страстей, что на воле не то что кипят, но, по крайней мере, начинают булькать. Многие арестанты уверены, что исход грядущих, до которых еще почти два года, президентских выборов, решен, что «первое-второе» лицо в государстве уже давно все обговорили, решили, поделили. Кого-то смущает чекистское

прошлое нынешнего премьер-министра гэбэшник — это тот же мусор, окружение у него мусорское и подчиненные ближние у него из мусоров, значит, и вся власть в стране — мусорская, чего добра от мусоров ждать?». Кто-то, наоборот, видит в гэбэшной принадлежности недавнего президента положительный вектор («он же — разведчик, америкосов не любит, а то бы они давно здесь уже были»). Очень немногие всерьез принимают нынешнего руководителя страны («Какой-то маленький, как будто плюшевый!»), но есть и такие, что связывают с ним светлые надежды («он — либерал, при нем должны зоны сокращать, зеков по домам отправлять»).

Основная же масса ныне окружающих меня людей предельно аполитична — главное, чтобы было «закурить и заварить» (вот они, главные ценности), а там хоть трава не расти. Нет на зоне свежих газет, так в них и нет особой необходимости, читающих прессу здесь совсем немного. Редкий выпуск последних новостей «по ящику», стоящему в комнате воспитательной работы, досматривается хотя бы до середины — непременно находятся желающие смотреть что угодно, только не политику. Иногда, кажется случись что-то из ряда вон выходящее — типа внезапной китайской оккупации большей части нашей территории — не шелохнется, не встрепенется, не возмутится среднестатистический зек, сохранит буддийскую невозмутимость и привычку жить от ларька до посылки, мерить счастье запасом чая и сигарет. Когда-то я удивился, услышав вскользь высказанное рядом пожелание: «Вот поставили бы у нас вора в законе страной командовать — все бы путем пошло, все бы по справедливости наладилось...» Теперь слыша что-то подобное, я только снисходительно улыбаюсь.

Продолжаю сравнивать лагерь в Свиноушках с лагерем в Березовке. У каждого свои «плюсы», свои «минусы». За-

частую речь идет о пустяках, штрихах, деталях, но именно эти мелочи определяют лицо каждой зоны. В Березовке жутким дефицитом были... ложки. Потерянная или сломанная ложка оборачивалась там для зека массой проблем и неудобств. Ради ложки приходилось беспокоить близких — просить прислать в посылке и бандероли, идти на поклон к «барыге» (разумеется, держа наготове пачку «фильтрованных» в качестве гонорара за услугу), побираться по бараку («На ужин не идешь? Дай ложку!»). В Свиноушках ложек хватает, оказался в столовой безоружным (забыл, потерял, сломал) — всегда можно обратиться к посудомойщикам — попросить, одолжить, договориться. За это зоне в Свиноушках — жирный «плюс».

А вот порядок раздачи пищи здесь дикий, первобытный, малочеловеческий. Котел с кашей или супом стоит с краю стола, за которым сидит десять человек. Самым правильным было бы брать крайнему арестанту в свои руки поварешку (по-лагерному — «разводягу») и раскладывать содержимое котла по мискам. Именно так в Березовке всегда и делалось, при этом никому не приходило в голову задумываться, насколько верна и справедлива эта традиция. В Свиноушках ритуал раздачи еды иной: крайний за столом наливает, накладывает, наваливает себе «дорогому» и принимается за еду. В лучшем случае котел отодвигается по столу дальше. В худшем случае арестант с дальнего конца стола встает и, не без труда проходя за спинами соседей, подходит к котлу, чтобы наполнить свою миску. Нерационально, откровенно глупо. Удивительно, но мы, арестанты, приехавшие из Березовки и ныне составляющие почти половину населения лагеря, сломать укоренившуюся традицию так и не смогли. Попадающие на край стола (там, где котлы) упорно «ухаживают» только за собой. Подобный порядок дает основание поставить зоне в Свиноушках — «минус». Зато на арестанта, выносящего из столовой еду в любом виде (хлеб, рыба, первое-второе в приспособленных под это пластмассовых

мини-ведерках из-под майонеза и т.д.), никто не обращает внимание. В Березовке подобная ситуация могла обернуться для «несуна» даже рапортом, за которым мог последовать и выговор, и даже изолятор. В лучшем случае эту еду у него отбирал любой оказавшийся рядом прапорщик и демонстративно выбрасывал. Из-за подобных штучек «положуха» в месте моего прежнего нахождения заслуживает, понятно, свой очередной «минус». Однако в той же самой Березовке «козлы» (падшие арестанты, ставшие на путь добровольного сотрудничества с администрацией) очень четко знали свое место. Не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова. В барак дальше второго-третьего проходняка никто из них без особой конкретной нужды не заходил (как правило, два-три первых проходняка они как раз и занимали, далее располагались «мужики», ближе к концу, к углам, места принадлежали представителям «блаткомитета»). Прекрасно помню обстановку и порядки на первом рабочем бараке в Березовке и лично свидетельствую — это правило жестко соблюдалось. Главный «козел» отряда — завхоз вообще спал в отдельной комнатухе, по соседству с кабинетом отрядника и комнатой воспитательной работы. Без особой необходимости в расположении отряда (в бараке) он просто не появлялся. Когда у него возникало какое-то дело, прежде чем напрямую обращаться к арестантам, он с предварительного разрешения заходил в угол к «смотруну» и получал на это «добро».

В Свиноушках все совсем по-другому. Мало того что «козлы» гуляют по бараку как им заблагорассудится, так они еще и занимают более комфортную секцию. Впрочем, обо всем это я, кажется, уже писал, а сложившаяся «неправильная» система никого по-прежнему здесь не смущает.

Улыбка арестанта — зрелище не для слабонервных. По большинству из них плачет, да что там плачет, рыдает сто-

матологический кабинет. Потому и улыбки — одна страшной другой. Зияющие провалы вместо верхних и нижних зубов, провалы, разряженные парой чудом уцелевших клыков (что с виду еще более жутко, чем просто отсутствие зубов). Остатки черных корешков вместо зубов. Да, рыдает стоматологический кабинет, только не наш, не лагерный, а вольный, нормальный, где специальные инструменты, препараты. Зек, отважившийся лечить зубы на зоне, — отчаянный, очень отважный или просто обезумевший от боли человек. Перед кабинетом всегда немалая очередь. В кабинете вечный дефицит всего, что необходимо стоматологу для работы. Конечно, можно договориться по поводу услуг на коммерческой основе. Процедура отлаженная — обычно просят родственников, и те переводят на счет, на телефон, просто передают деньги кому надо там, за забором. Только это — удел особо привилегированных, особо обеспеченных. Платить за стоматологические услуги в здешних условиях — великая непозволительная роскошь. Какое протезирование, какое пломбирование, когда на «курить, заварить» не хватает? Потому и страшна улыбка среднестатистического зека. Кому впору в кино сниматься, в массовке про перенесших цингу, кому Дракулу представлять, детишек и нервных дамочек пугать. Великое счастье успеть, прежде чем попасть сюда, пройти курс протезирования в вольной стоматологической поликлинике!

Еще кто-то из многочисленных авторов мемуаров про страшный тридцать седьмой год заметил, что ни одна посадка не обходится без предательства. Замечено было вскользь, но очень точно. С гулаговских времен в этом плане ничего не изменилось. И моя история не исключение, и там предателей хватает. Не сомневаюсь, я еще не обо всех знаю, не обо всех догадываюсь. А открыл этот немалый скорбный и гнусный список бывший друг, крестный отец

(наверное, тоже бывший, хотя я не знаю, как соотносится подобная ситуация с канонами православной церкви) моего сына — Борис Александрович К. Он предал на самом «старте», в самом начале. И ладно бы кто-то давил, угрожал, шантажировал — предал сам по собственной инициативе при самых первых, едва обозначившихся признаках беды. Вот теперь-то я начинаю понимать, почему все три жены, имевшие место в его биографии, с величайшей брезгливостью выставляли его вон, почему все свои пятьдесят с хвостиком прожил он без друзей (я в этой ситуации оказался тем самым исключением, что подчеркнуло правило), почему обе его дочери предпочитают держаться от него на определенной «сердечно-душевной» дистанции.

Борис Александрович был первым, к кому бросились оглушенные моим арестом близкие. Надеялись на помощь, совет, поддержку. Надежда, кстати, имела под собой самые серьезные основания, ибо был Борис Александрович аж целым полковником милиции, аж целым доктором юридических наук. Обучал международному праву милиционеров разных калибров, сразу в нескольких высших учебных «мусорских» заведениях. Вращался в высоких кругах. Ему не стоило бы большого труда найти квалифицированного адвоката, получать актуальные консультации у коллег в погонах. Мог бы он и сам организовать информационную поддержку через СМИ, обнародовать информацию, после которой все бы стало ясно, насколько я виноват, что дело мое лучше закрыть, меня отпустить, а на всем случившемся поставить крест.

Надежды ничем не оправдались. С громадным трудом мои жена и дочь добились у него домашней аудиенции. В их присутствии он только разводил руками, прикладывал палец к толстым губам, возводил к потолку восточные томные глаза. На заготовленных заранее листках бумаги писал крупными буквами: «Нас могут подслушивать», «В деле заинтересованы очень серьезные люди», «Я рискую своим положением», «Ничего не могу сделать». Зато, с завидной

для его стопятидесятикилограммового тела прытью, тот же Борис Александрович обежал многих общих знакомых и, едва справившись с одышкой, докладывал прямо с порога: «Слышали? Посадили... Допрыгался... Да, все очень серьезно... Лет десять светит... Особо тяжкое... Конечно, строгий режим...»

А еще в самом начале моей арестантской эпопеи он передал мне в следственный изолятор карманного формата Новый Завет. Конечно, за эту книгу, я, как верующий человек, ему был благодарен, но, едва взяв ее в руки, непроизвольно вспомнил грустный факт отечественной истории. Как во время Первой мировой войны масса общественных комитетов и организаций, составленных из якобы лучших представителей отечественной интеллигенции, слали на фронт вагоны с крестиками и бумажными иконками. На передовые позиции. В окопы. Где нужны были патроны и снаряды, где остро требовались взамен убитых толковые командиры и умелые санитары.

Кстати, лет десять назад сам Борис Александрович попал в ситуацию, чем-то напоминающую мою. Оскорбленный герой какой-то его заметочки (а он пописывал на животрепещущие общественно-политические темы во все возможные издания) подал на автора в суд и суд выиграл. Суд, углядевший в публикации полковника К. клевету и оскорбление, обязал его к выплате серьезного по тем временам штрафа. Сумма для него была попросту неподъемной, Борис Александрович не на шутку испугался, растерялся, попросту говоря, «поплыл»; какими последствиями для него вся эта история могла закончиться, догадаться не сложно, но деньги тогда я ему нашел. Иск был благополучно погашен.

Впрочем, стоп. Это уже ближе к принципу «ты мне — я тебе», а принцип этот — нехороший. Оставим жизненную позицию моего бывшего друга на его совести до Страшного суда.

Оставить-то оставим, только его предательство в моем деле трусостью, ничегонеделанием и злопыхательством не ограничилось. Через месяц после ареста я позвонил ему из СИЗО (была такая возможность, спасибо мобильной связи) и... даже сказать ничего не успел. Борис Александрович заговорил в ритме автоответчика: «Надо соглашаться... Надо все сказать... Не надо никого выгораживать... И шефа надо сдавать...» Заговорил теми же фразами, что говорили регулярно навещавшие меня в СИЗО опера из рабочей бригады по моему делу, что нашептывали мне «наседки» в камере. Кто его учил этим фразам, что он преследовал, повторяя их, остается только догадываться.

А ведь, сколько бы мне ни сидеть, — все равно выйду! Какой будет соблазн разыскать своего бывшего друга и со всего маха заехать по морде, да и добавить ногой, с проносом, с четкой фиксацией, в жирный его живот. Только нельзя будет этого сделать. Увы, нельзя...

Не единственный предатель Борис Александрович, ох, не единственный! Еще гаже, еще подлеи повели себя бывшие коллеги по цеху, сослуживцы, начальники, впрочем, это уже совсем другая, отдельная история.

Всякий раз, оказавшись в лагерной бане, обращаю внимание на тематику арестантских татуировок. Вот уж, действительно, оригинальное свидетельство меняющихся вкусов и настроений российских эзков. А заодно и всех процессов, происходящих в обществе. Своего рода уникальный, историко-социологический документ. Ныне на арестантских телах почти не встретишь некогда столь популярных русалок с арбузными грудями, волооких обнаженных красоток и банальных обещаний не забывать мать родную. В прошлое канули сердца, пронзенные стрелами, обвитые змеями ножи, плахи с воткнутыми топорами. Я уже не говорю о профилях Ленина, Сталина, что когда-

то наивные жители архипелага ГУЛАГа набивали на собственном теле. Ведь существовал даже миф-поверье, что в зека, отмеченного подобной наколкой, никогда не выстрелит охранник.

Кстати, а чьи профили с учетом нынешних политических реалий мог запечатлеть навечно на своей груди зек начала двадцать первого века? Горбачева? Как-то очень зловеще. Ельцина? Не очень-то фото-, простите, татуегнично было у покойника лицо. Может быть, Гайдара? Вряд ли... Потому что, во-первых, нынешние сидельцы его просто в лицо не знают, во-вторых, тут уж вообще какой-то нездоровой путаницей с известной ориентацией попахивает, а эски к подобной теме трепетно и чутко относятся.

Конечно, так и просится на грудь актуальный сюжет на тему тандема «Путин — Медведев», где бы один славный профиль накладывался на другой, не менее славный. Да, вот беда, невозможно определить протокольную очередность. То ли Путин будет закрывать часть профиля Медведева, то ли Медведев прикроет часть образа Путина. Как бы эту дилемму сегодня не решить, все равно есть риск назавтра ошибиться — ведь политические реалии в любой момент поменяться могут. Реалии — штука зыбкая. А татуировка — стабильная, по крайней мере в масштабах человеческой жизни, вот и не рискует нынешний зек, в отличие от своего брата гулаговца, украшать себя актуальными политическими портретами. Только непонятно, чего в этом решении больше: страха перед нынешней властью, недоверия ей или обыкновенного неприятия этой власти всерьез.

Для сегодняшнего арестанта по-прежнему в чести и почете православно-церковные сюжеты татуировок. Тут и церкви с куполами (старинный, многоговорящий в тюремно-лагерной среде образ), и целые картины на библейские темы.

Немало в татуировках характерных примет современности. Это и использование цветной туши, и наколки, нане-

сенные на участки тела, которые раньше не принято было украшать подобным образом (открытый участок шеи, затылок, самый пикантный низ живота). Хватает и прочих свидетельств оригинальности и творческого поиска — у одного сзади на верхней части шеи бы наколот стрих-код: то ли шея — товар, то ли товар выше, т.е. голова.

Заметна ныне в наколочной тематике и фашистская тема (свастики всех видов, злобные орлы неведомых пород с той же самой свастикой в когтях, погоны, копирующие эсэсовские, и т.д.). Довелось встречать несколько наколотых портретов Гитлера, не очень похожих, но вполне узнаваемых. Все это не значит, что носители подобных сюжетов — члены национал-социалистических партий, концептуально отрицающих холокост и готовые заняться окончательным решением национального вопроса, — просто считается, что так оригинально и круто. Частенько мелькает на арестантских телесах и сатанинская тема: и пентаграммы, и господин Бафомет собственной персоной, и прочая чертовщина. Как дань времени встречаются и кельтские узоры, и восточная экзотика, с драконами, знаком инь-янь, иероглифами, и букеты из листьев конопли и шприцев, и лозунги-афоризмы (обычно с жуткими ошибками) на латинском, английском, немецком.

Зачастую картинки на теле дают владельцу моментальную исчерпывающую характеристику, чаще нелестную, свидетельствующую об определенном уровне умственного развития. Ну что можно подумать о человеке, когда на одной руке у него набит знак инь-янь, на груди — лозунг «Законом злым не исправим!» и китайские хищные драконы, на другой руке — причудливая вязь кельтского орнамента, на плече — разухабистая свастика, на спине — распятый Христос, а на бедре — оскалившийся дьявол. По тематике — эклектика. По жизненным установкам — путаница. С точки зрения здравого смысла — свидетельство отсутствия этого здравого смысла.

На страницах этого дневника я уже отмечал мимоходом, что способность мечтать — одно из принципиальных качеств, отличающих человека от животных. А вот здесь, как я начинаю понимать, мечтать не принято, мечтатели, мягко сказать, не в почете. Особенно если темы этих самых мечтаний связаны с объемом твоего наказания. Стоит кому-то хотя бы вскользь заикнуться о возможном пересмотре приговора, снижении срока наказания, изменении режима, любом прочем варианте «скащухи» — обязательно найдутся желающие злобно острить по этому поводу, а то и откровенно поднять на смех, унизить говорящего. За всем этим давняя, далеко не лучшая арестантская традиция, смысл которой витает в тюремных афоризмах («Мы сидим, и ты сиди», «Умри, ты сегодня, а я завтра», «Попал — сиди не рыпайся» и т.д.). Грустно!

И еще один пример на эту тему.

Сосед, уроженец здешней глубинки, по-детски замаявшись, очень деликатно поинтересовался, не могли бы мои близкие прислать в ближайшей посылке или бандероли... план-карту Москвы. Как ни старался он говорить тихо, как ни озирался предусмотрительно вокруг, все равно был услышан и моментально поднят на смех прочими оказавшимися рядом обитателями барака. Они как будто только и ждали этого. И посыпалось со всех сторон: «Юрец освободится, за невестой в Москву поедет, пока доедет — опять сядет», «Лупатый банк подбирать будет, грабанет, когда освободится, чтобы раз на дело сходить — и на всю жизнь на чай-курево хватило», «Приедет в Москву — обязательно начудит, то на лампочку дуть будет, то за трамваем с палкой бегать...» Такая вот очередная иллюстрация на тему, как здешний мини-социум отрицательно (точнее, враждебно и агрессивно) относится ко всякому не утратившему способность мечтать. Способность, занимающую одно из первых мест в перечне отличий человека от животного. Стоит ли по-

сле этого удивляться (как делал это я совсем недавно в этом дневнике), что люди могут прожить здесь в одном проходняке в считанных сантиметрах друг от друга несколько лет... и практически не общаться, не разговаривать. А откуда взяться этому желанию общаться, если помимо риска быть просто поднятым на смех по любому ничтожному, а чаще надуманному поводу (просто так, чтобы всем было весело), можно еще и нарваться на колючий, столь часто звучащий в этой среде вопрос: «А с какой целью интересуешься?» Какие намеки и подозрения стоят за этим, догадаться несложно. Как несложно представить, какие дальнейшие вопросы могут последовать. Вот уж, действительно, молчание — золото. Значит, будем «золотеть».

А сосед, «расстрелянный» ехидными шутками за желание обзавестись путеводителем по столице Родины, на самом деле в ней никогда не бывал. Мечтает когда-нибудь приехать: увидеть Красную площадь, побывать на могиле В. Высоцкого, покататься на метро (этот вид транспорта он видел только по телевизору). Вот такая у него мечта в неполные сорок лет. Разве не имеет он на нее права?

У меня до сих пор нет клички. Наверное, уже и не будет. Даже напоминающее о вольной, оставшейся где-то очень далеко, профессии, совсем не обидное слово «журналист» как-то не прилипло. Да, оно присутствует рядом, оно сопровождает меня, идя своим параллельным курсом, на изрядной дистанции. А обращаются ко мне чаще всего по имени. Понятно, невзирая на серьезную разницу в возрасте между мной и теми, кто обращается, — уж так принято в тюремно-лагерной жизни. Есть и такие, кто «пользуется» именем-отчеством, обращается на «вы». Кажется, количество этих людей даже увеличивается. Конечно, это приятно. За этим не просто дань моему возрасту, а свидетельство определенного статуса, который мне никто не дарил, который я сам

формировал, отстаивал, завоевывал. Есть у этого статуса другая сторона, также по-своему отрадная. Хорошо, что в среде, ныне окружающей меня и во многом состоящей из тех, кого очень часто в сердцах хочется назвать «быдлом», есть люди, способные общаться на «вы», обращаться по имени-отчеству. Спасибо им за то, что они есть!

Удивительно другое — небольшой, но все-таки существующий и растущий процент арестантов, обращающихся ко мне на «вы», куда больше, чем процент представителей администрации, использующих подобную манеру общения. И это в то время, когда, согласно существующим инструкциям и положениям, с заключенными или, как говорят работники администрации, «осужденными», им просто предписано обращаться на «вы».

Иногда, слыша обращенные в свой адрес «иди», «встань», «сделай», набираю в легкие побольше воздуха и как можно спокойнее поправляю: «не “иди”, а идите», «не “встань”, а встаньте», «не “сделай”, а сделайте». Реакция чаще всего — испепеляющий взгляд и повторение уже услышанных слов в новой редакции. С окончанием «те» и почему-то с непременно добавкой «ну» («ну, идите», «ну, встаньте», «ну, сделайте»).

Иногда поправляю, а иногда, встретившись со стылым, нафаршированным тупостью и злобой взглядом говорящего, предпочитаю отмолчаться.

Дня не проходит, чтобы в окружающем меня пространстве не приходилось сталкиваться с проявлением «крысятничества» всех калибров. Доходит до курьезов — иногда воруют свежестираное недосушенное белье с веревок в локалке, даже нестираное белье из тазиков в умывальнике, мыло и шампуни из пакетов, приготовленных для бани. Но чаще всего пропадают продукты, чай, кофе, сигареты. Опухоль «крысятничества», похоже, уже давно поразила

организм всей зоны, пустила свои метастазы во все отряды. «Да, это плохо! Да, это недопустимо! Да, за это положено наказывать!» — все соглашались, но пока я не слышал, чтобы хотя бы в одном отряде изобличили и наказали хотя бы одну «крысу». А вот поговорку-присказку, невесть кем придуманную, я здесь слышу часто: «Украл — жиган, попался — крыса». Известно, что под «жиганом» понимается отчаянный, решительный, шустрый представитель уголовного мира. «Крысой» же называют того, кто ворует у своих, у близких, у таких же, как он, арестантов. Выходит, какая-то неправильная поговорка.

Может ли быть в этих условиях по-другому? Безусловно, может. В той же Березовке случаи пропажи хотя бы чего-нибудь из баулов и тумбочек были исключительно редки, это были события категории ЧП. Лично присутствовал при любопытной и емко характеризующей всю «положуху» в лагере сцене. В каптерке у одного из арестантов из сумки «ушел» блок сигарет. Каптерщик («козел», отвечающий за порядок в каптерке), не дожидаясь разборок, сам предложил пострадавшему: «Моя вина, недосмотрел, через пять дней ларек — верну, отвечаю, только не говори никому».

Словом, два лагеря — два мира, два сгустка традиций, правил и табу.

Есть и совсем неожиданная призма, через которую можно посмотреть на проблему «крысятничества» в нашей зоне. Для этого надо взять и сопоставить общий объем вещей, продуктов, сигарет, которые воруются у средне-статистического арестанта соседями, и общий объем аналогичных потерь, что он несет в ходе шмонов, тех самых «бессмысленных и беспощадных». Сопоставить объем воруемого зеками и объем воруемого теми, кто призван не только охранять нас, но и воспитывать. Лично у меня по итогам последнего года вышла пропорция один к одному. Некоторые мои соседи, которым я задавал этот вопрос, горячо уверяли, что свои «крысы» по сравнению с мусора-

ми — дети, объем имущества, теряемого ими регулярно в ходе шмонов и проверок, в полтора-два раза превосходит потери от воровства «своими». Такая вот сравнительная статистика.

Стукачей (явных, общеизвестных и неявных, но давно дающих основания подозревать себя в этом) кругом столько, что это порою начинает откровенно раздражать. Задумаешь сделать очередную запись в дневник (черновик грядущей книги), а из-за спины, через плечо, а то и сверху нагло в упор, в блокнот ввинчиваются несколько пар по-нездоровому любопытных глаз.

Разумеется, всякий раз любопытствующих постигает глубокое разочарование, ибо свой дневник я давно веду способом «китайской тайнописи» — пишу предельно неразборчивым почерком, не отделяя слова друг от друга, не выделяя в тексте ни абзацев ни предложений.

Что-то очень похожее повторяется, когда звоню (каюсь, использую официально запрещенную российским арестантам мобильную связь). Понятно, в этом случае главное орудие «профессионально любопытствующих» — уши. Но и здесь их улов совсем не богат, ибо еще со времен пребывания в Березовском лагере в разговорах с родными и близкими использую множество условных, понятных только мне и моим собеседникам, терминов, обозначений, кличек. Так, главного своего адвоката в этих разговорах я величаю «героем» (он, действительно, успел хватить фронтового лиха, честно прошагал по военным дорогам до самого Берлина, имеет немало наград). Второго, редакционного, адвоката, называю «тетушкой» (вернее было бы, памятуя о полученных ею от семьи, никак не отработанных, по сути украденных, пяти тысячах долларов, обозначать ее надо «аферисткой» или «воровкой на доверии»). Правозащитника, консультирующего родных по правовым вопросам,

упоминаю как «полного человека» (говорят, что он, действительно, имеет внушительные габариты).

Когда назойливость «профессионально любопытствующих» достигает апогея и раковины их ушей начинают касаться телефона, по которому говорю, позволяю себе похулиганить. С сестрой перехожу на немецкий (порою начинаю к месту и не очень декламировать специально для этого выученные два четверостишия из «Лорелай» Гейне в языке оригинала). В разговорах с другом вворачиваю некогда случайно заученные в командировках сербские, арабские и турецкие фразы.

Какое смятение, сколько беспомощной досады появляется в эти моменты на лицах моих «непрощеных слушателей»! Такие моменты бодрят, надолго заряжают яростной энергией.

Было бы у меня больше свободного времени (если бы не выходы на промку, не чтение, не работа над грядущей книгой и т.д.) — только ради этих веселых моментов начал бы прямо здесь учить какой-нибудь экзотический язык типа суахили или тутси. Чтобы все «слушающие структуры», а также помогающие им «волонтеры» из арестантов окончательно потерялись в догадках и «поломали» свой слух. Но это уже непростительная роскошь! Нельзя отвлекаться на пустяки... У каждого здесь своя роль, свое предназначение, своя идея!

Строгий режим... Строгий режим... Еще в московских СИЗО слышал от случайных собеседников утешительное-ободряющее: «Поедешь на “строгую зону” — это хорошо, там, у людей срока серьезные, за серьезные дела, да и сами люди серьезные — не чета всякой шелухе, что на общем режиме преобладает». У меня не было оснований спорить с ними. Казалось, что в услышанном есть какая-то логика. Серьезное преступление (за исключением спонтанных, патологических проявлений жестокости и прочих

психических отклонений) надо готовить. Значит, человек, решившийся на него, должен думать, планировать, анализировать, выстраивать свои, пусть преступные, планы в какие-то логические схемы. Короче, на строгом режиме я надеялся встретить думающих серьезных людей. А тут...

«Убил по пьянке сожительницу...». «Убил по пьянке со-бутыльника...». «Пили вместе всю ночь, утром у одного оказалась пробита голова — труп, посадили всех...». «Пил, на водку не хватало, стал приторговывать маковой соломкой, угодил на контрольную закупку...». Порою подробности преступлений, за которые человек «едет» на строгий режим, просто унижительны для него и смешны для окружающих. «Пили вместе, когда все вырубались, собрал у всех мобильники и ушел, прихватив из квартиры телевизор...» Квартира располагалась, между прочим, на пятом этаже. Телевизор, между прочим, был черно-белый. Чтобы его просто перенести с пятого этажа вниз, заплатить требовалось, несомненно, куда больше, чем планировал получить незадачливый грабитель от продажи шедевра черно-белой электроники былых поколений. Бывает и еще смешнее. «Был изрядно пьян, пришел в ночной клуб, встретил знакомую девушку, попросил на десять минут мобильник, потом почувствовал желание посетить туалет, зашел в кабинку, сел на унитаз и... заснул. Проснулся только через полтора часа, естественно, был тут же схвачен под белые руки, по “наколке” забившей тревогу девушки».

А где же потрошители свержсложных сейфов, грабители банков, годами продумывающие детали своего преступления? Где творцы финансовых пирамид, положившие в карман миллиарды? Где казнокрады, отважившиеся запустить руку в карман государству? Где манипуляторы жильем, в результате действий которых на российских просторах бомжуют сотни тысяч бездомных бедолаг? Наконец, где благородные мстители, утверждающие, пусть уголовными методами, чистые идеалы добра и света? Где

современные Робин Гуды, воюющие за социальную справедливость? Где Юрий Деточкин эпохи победивших либеральных ценностей?

Из полутора тысяч арестантов, содержащихся в зоне, «серьезных» зеков наберется едва ли с полсотни. Бытовуха, наркота, снова бытовуха. Да, есть Саша Д., доведенный некогда до отчаяния задержками зарплаты и упреками жены в неспособности достойно содержать семью и решивший взять кассу в самой крупной на его малой родине строительной компании. Да, есть Андрей С., предприниматель, долго противостоявший норовящим выжить его из бизнеса. В какой-то момент главный из его конкурентов и обидчиков просто пропал, а Андрей, обвиненный в похищении человека и многих прочих преступлениях, чего он по сей день не признает, получил двенадцать лет. Да, есть еще несколько десятков арестантов с нетипичными судьбами, но для лагеря, где содержится полторы тысячи, это ничтожно мало. Все больше совсем других. Например, Шура О. Убил с подельниками и подельницей, доводившейся ему родной сестрой, одного из чем-то докучавших ему односельчан (кстати, не раз вместе с ним выпивавшего). Убил, похоже, с учетом нетрезвого состояния, некачественно, неряшливо, неокончательно. Наскоро, чуть прикопав недавнего собутыльника, сел поблизости обмывать сделанное. А далее случилось то, что было бы очень смешно, если бы речь шла не о жизни, пусть не очень правильного, но все-таки человека. «Некачественно убитый» очухался, выбрался из своего «схрона» и, пошатываясь, подошел к пировавшим, обмывавшим его смерть. Подошел и, не до конца понимая случившееся и происходящее, попросил... налить. Его просьбу бывшие собутыльники не выполнили, а предпочли стать убийцами еще раз. На этот раз уже убивавшие его час назад люди к делу подошли более основательно. И добились старательно. И закопали глубоко. В зону Шура привез двадцать лет срока и полное непонимание того, почему дали так много.

Впрочем, довольно жути. Самое время вспомнить, что как бы хорошо ни работал беспроволочный тюремно-лагерный телеграф, как бы стремительно ни распространялась в уголовной и арестантской среде вся информация, все равно серьезные зеки — люди неразговорчивые, недоверчивые, закрытые, зачастую вокруг каждого из них непроницаемый «футляр» недосказанного, неизвестного. И сохраняется этот «футляр» в течение всего срока, как бы велик он не был. Так что не про всех все я знаю. И, возможно, мои выводы слишком скоропалительны.

Видел уже не раз, как «шныри», стряпающие для отрядного «смотрюна» и его приближенных, таскают на подносах чай, кофе, бутерброды, а то и что-то более основательное отряднику в кабинет. «Что удивляться, блатные его подкармливают, а он их аппетитом радует, так уже заведено...» — пояснили мне старожилы отряда.

Странная, более чем странная традиция. Выходит, блатным, постоянно заявляющим о себе как о главных хранителях и продолжателях истинно правильных тюремно-лагерных традиций, кормить «мусоров» из своих запасов — нормально? Кстати, запасы эти во многом состоят из наших, «мужицких», взносов, даров, пожертвований. В итоге, не очень-то представляю, как подобная пища глотается, а не встает колом у того, кто вроде бы как должен держаться от нас на подобающей дистанции, столь необходимой ему для поддержания своего авторитета, для организации ответственного процесса нашего воспитания и перевоспитания. Пытался заговорить на эту тему с некоторыми вроде бы здравыми «мужиками», в ответ услышал вполне конкретное: «Не наше дело, не нами заведено...» А «в довесок» еще узнал, что некогда руководивший отрядом майор внутренней службы Иван Б. (когда я только прибыл в Свинушки, то застал его отрядником, потом он

ушел в пожарную лагерную службу) не только столовался в отряде, но и без тени сомнения отдавал свои рубашки стирать и гладить отрядным «обиженным». Сочный пример неистребимой мусорской любви к халяве. Да и о специфике сложившейся в зоне «положухи» такой факт свидетельствует более чем красноречиво.

К москвичам здесь отношение, откровенно говоря, «не очень». Бытует мнение, будто люди, живущие в столице, зарабатывают «немерено» (хочешь — честным, хочешь — преступным путем) и могут зарабатывать еще больше, потому что в этой столице возможностей для этого выше крыши. И если они этого не делают, то исключительно по причине своей неповоротливости, чрезмерной закормленности и обычной лени. Помню, когда наш московский этап только прибыл в Березовский лагерь, мы, прежде чем попасть в карантин, несколько суток находились в своего рода перевалочных транзитных помещениях (на изолированном положении, с прогулками в крытом дворике и т.д.). Тогда первой «малыгой», полученной из лагеря, была записка с просьбами: а) дать кофе; б) выделить пару кожаных черных перчаток. И это в то время, когда тюремно-лагерные обычаи по отношению к вновь прибывшему в зону этапу никто не отменял. Обычаи, кстати, вполне человеческие — в первую очередь интересоваться, как добрались, все ли благополучно, нет ли в чем нужды. В этом обычае и непрменный (или, по крайней мере, крайне желаемый) «грев» для вновь прибывшего этапа — курево, чай, что-то сладкое к чаю. А тут, — «не мы вам, а вы нам», да еще и не в самой уважительной и вежливой форме.

Чуть позднее услышал чисто местное своего рода пояснение-оправдание негативного отношения к столичным жителям: «Мол, слишком мало отстегивают на “общее”», «Неохотно делятся с соседями содержимым по-

сылки» и т.д. Услышал — и пожал плечами. Что-то очень похожее доводилось наблюдать во время прохождения армейской службы (тогда я еще не жил в Москве, призывался из Тулы), в периферийных редакционных командировках. Верно, не жалуется российская глубинка москвичей. Про себя отметил и другое: степень лютости в отношении к уроженцам столицы прямо пропорциональна здесь степени отдаленности проживания и уровню невежества человека, это отношение активно демонстрирующего. Чем более «медвежий угол», где он провел большую часть своей биографии, чем беднее впечатления от его прожитой жизни, чем меньше книг прочитал он за свою жизнь, тем подозрительней и ненавистней его чувство к жителям Москвы! А наше уважаемое телевидение в лице всех каналов этот негатив, похоже, активно подогревает, эту рану с наслаждением расковыривает. Что не сериал, что не репортаж — герои (москвичи) то на фоне шикарной иномарки, то в ресторане за столом с невиданными яствами, то в окружении экзотических шлюх. Конечно, завидно!

Надежда блеснула. Зарница яркая и большая. Даже писать не хочется. Боюсь сглазить. Боюсь спугнуть удачу. Сначала пришло заказное письмо от адвоката Сергея Львовича, где он сообщал, что в конце этого месяца будет решаться судьба его надзорной жалобы по моему делу. Показательно, что эту жалобу получил Верховный суд, именно он официальным порядком направил ее в Мосгорсуд, тот самый, что когда-то разбирал кассационную жалобу по моему делу и снизил мой срок с восьми до семи лет, откинув чудовищное по идиотизму обвинение, связанное с приобретением и хранением наркотиков.

Я не юрист, не адвокат, но, посидев свое, уже знаю: когда дело спускается с самого верха в инстанцию, что выносила последний приговор, есть большая вероятность, что

ситуация изменится к лучшему, к максимально лучшему, вплоть до полного пересмотра дела, изменения приговора и... обретения свободы! Конечно, бывает, что подобные процедуры заканчиваются ничем — остается арестант с тем же приговором, с тем же сроком на том же режиме, но шанс, как говорится, велик.

Через пару дней вызвали в спецчасть — вручили уже официальные документы о дате суда. Оказывается, пришел запрос и на мою характеристику. По этому поводу вызывал отрядник. С испугом и недоумением пробежал глазами бумагу с красным пятном герба столицы в верхнем левом углу, буркнул: «Вот характеристику надо отправить... Я — что, я — не против... А чего про актив писать?..» «Какой актив?» — изобразил я на лице самое искреннее недоумение. «У нас положено, если какая характеристика, надо про актив отражать — вступил, не вступил. Если не вступил — заявление прямо сейчас можно написать». В этой ситуации мне только оставалось, что мотнуть головой.

Наивный и невежественный капитан Василиса! Наивный, потому что мне предлагал писать заявление о вступлении в несуществующий, но тем не менее пользующийся сверхгадкой репутацией «актив» — организацию, объединяющую всех, кто готов поддерживать «во всем и вся» администрацию зоны. Невежественный потому, что не знает, что вся эта фигня с активом, разделяющимся на секции и т.д. и т.п., уже более года как объявлена специальным приказом специального министерства упраздненной. Более того, в пояснении к этому решению русским языком сказано, что практика эта не просто бесполезная, а откровенно вредная, микроклимат в местах лишения свободы ухудшающая, способствующая расколу заключенных на враждебные, непримиримые группировки.

Впрочем, обо всем этом вряд ли не мог не знать начальник моего отряда капитан внутренней службы Васильев, он же Василиса. Скорее прикидывался, будто не знал. По-

хоже, потому и мой отказ принял безропотно, пробормотав: «Дело хозяйское...»

А мое время теперь движется совсем по-иному: считаю дни до суда, произвольно умножаю эту цифру на количество часов, про себя прикидываю, сколько из этого объема времени уйдет на сон, работу, всякие обязательные формальности типа приема пищи, построения и т.д. Для себя я это называю «играть в арифметику». Непозволительная слабость! Тем более что суд может все оставить на своих местах. Слаб человек, всегда ему хочется верить в лучшее, всегда он стремится надеяться на самый счастливый исход. В очередной раз командую сам себе: «Собраться, не раскисать, готовиться к самому худшему варианту развития событий!»

Двойные стандарты на каждом шагу. В поступках, в рассуждениях, в попытках трактовать «моральный кодекс порядочного арестанта», неписанный, но всем известный, никого равнодушным не оставляющий. И равных тут «мурчащим» (приблатненным) нет. С одной стороны — постоянно декларируемое жесткое деление на хорошее — плохое, порядочное — непорядочное, нормальное — ненормальное, то есть мусорское, а с другой стороны — постоянное заигрывание с этими самыми мусорами, вечные поиски дополнительных контактов с ними, неистребимое желание поддерживать с ними какие-то отношения. Объяснение, что это делается ради общих интересов, ради абстрактного эфемерного «общего», смотрится бледно. Где это «общее»? В чем и когда оно проявляется? А холуйское заглядывание в глаза, стремление выполнить всякое поручение, исходящее от любого из представителей администрации, — вот они на каждом шагу. И все наглядно, все, как говорится, в полный рост.

О чем чаще всего говорят на традиционных собраниях — чифиропитиях в отряде? О «мужичьих» проблемах: нищей

зарплате, произволе с поощрениями на промке, неразберихе с графиком свиданий на отряде, уже ставших неприличными масштабах «крысятничества» на том же отряде? Вовсе нет. Чаще всего на этих собраниях говорят о том, что в зону едет очередная (мусорская, понятно) комиссия, что с учетом этого «не надо провоцировать», то есть не надо допускать никаких дисциплинарных нарушений. И кто говорит? «Смотрун» и его самые близкие приближенные, люди призванные, согласно старым тюремно-лагерным принципам, на дух не переносить ничего мусорского и уж тем более не насаждать это мусорское на территории, за которую они отвечают. Давно и, похоже, бесповоротно блатной актив стал здесь придатком лагерной администрации, лишним рычагом влияния на арестантскую массу, действенным средством прессования этой самой массы.

А ситуация с «ширпотребкой» (изготовление подарков и прочих сувениров)? На промке существует целое производство, где работает куда большее количество арестантов, чем числится по официальным бумагам. Продукция «ширпотребки» для администрации предельно необходима: прежде всего, это подношения, которыми закармливаются многочисленные проверяющие, что периодически навещают нашу зону. А еще продукция «ширпотребки» — дополнительный, очень весомый заработок для определенной (понятно, привилегированной) части администрации. За счет реализации на воле этих самых подарков-сувениров (нарды, шахматы и т.д.).

Короче, «ширпотребка» — это «мусорская», трижды «мусорская» вотчина. Тем не менее большинство, подавляющее большинство, работающих здесь — «мурчащие». Выходит, в разговорах они рьяно отстаивают чистоту тюремно-лагерных традиций, а на работе умножают личный достаток этих самых «ненавистных мусоров», помогают поддержанию внешнего имиджа той же самой «мусорской» администрации в глазах многочисленных, опять же «мусорских» проверяющих.

А вот и новость из разряда иллюстраций на ту же самую животрепещущую тему двойных стандартов.

Саша Внук ушел в хлеборезы. Сытая «козлиная» должность. Факт, с одной стороны, незначительный (каждый человек выбирает здесь свой путь, и вариантов тут множество), с другой стороны, очень показательный, типичный пример этих самых пресловутых двойных стандартов, ибо до последнего времени Саша однозначно относился к категории «мурчащих», прибалтанных, рьяно агитирующих за неукоснительное соблюдение всех норм тюремно-лагерного кодекса. В полемику с ним я не вступал, но к его пропаганде относился скептически. Помнил, что еще в Березовке была у Внука мутная история с чужим посыльным лимитом. Что-то нахимичил, занял — не вернул, обещал — не выполнил, в итоге человек остался без «положняковой» посылки. Только в связи с переездом Внука в Свиноушки эта некрасивая история позабылась и замялась. В Свиноушках Внук опять «мурчал», поддакивал во всех разговорах за блатную правду, посмеивался над теми, кто воевал и хлопотал за УДО, и очень любил разглагольствовать на тему порядочности арестанта. Разумеется, при этом всякий раз подчеркивал, что у «порядочного» с мусорами никаких дел быть не может, что истинно порядочный в любую «козлиную» должность ни ногой, никогда, ни при каких обстоятельствах. А тут вдруг раз... и в хлеборезы. Непонятно, нелогично. Хотя — и понятно, и логично. Хлеборез — должность не просто «козлиная», а «козлиная» сверхсытая должность. В обязанностях лагерного хлебореза не только буханки по отрядам делить, но и маслом «диетчиков» наделять, а это уже золотое дно. С учетом давно сложившегося и всю процветающего на зоне черного рынка продовольствия. Значит, еще круглее будет внуковское брюшко, еще чаще будет от него разить самогоном. Ведь масло — оно для всех масло. И для арестантов,

и для «мусоров», и для любого из тех, кто за «колючкой» живет.

А следом выяснилось, что должность эта упала на Сашу Внука не враз, что без малого год он ее дожидался, за нее обивал пороги кабинетов в административном корпусе. Должность — аванс. Любопытно, чем он его возвращать-отрабатывать будет?

В бараке курят круглые сутки. Всякий входящий сюда, до этого пробывший на свежем воздухе хотя бы пару часов, вынужден зажмурить глаза, а то и пускать слезу. Курят лежа и сидя на шконках, стряхивая пепел куда попало, харкая на пол, туда же бросают бычки. И вроде бы все знают, что за каждым арестантом крадется туберкулез (зеки ласково называют его — «тубик») и масса прочих недугов, что вся эта зараза распространяется в прокуренном и заплеванном помещении куда быстрее, и... тем не менее. А всякая попытка основательно проветрить место обитания обычно встречается градом возражений: «Дует», «У меня почки больные», «Холодно», «У меня радикулит», «Ух, какая холодина»...

Постоянная прокуренность и заплеванность барака объясняется не только и даже не столько бескультурьем и санитарным невежеством его обитателей. Бытует мнение, будто курение на спальном месте — своего рода символ мини-прав, своего рода подтверждение мини-свободы зека, свидетельство весьма спорного тезиса: «Мой дом — тюрьма», «Я здесь — дома, в доме что хочу, то и делаю».

Немалых хлопот и нервов стоило добиться, чтобы в нашем проходняке не курили. Получилось! Слава богу!

Удивительную картину наблюдал вчера за полчаса до отбоя: в углу локалки личный шнырь завхоза, с чисто ита-

льянским «погонялом» («погоняло» — кличка) Туту, мыл своего хозяина-добродетеля. Зрелище совсем незстетическое. Завхоз, голый завхоз (более двухсот килограммов студенистой массы при росте чуть более метр шестьдесят, холодец на ножках), восседал на табурете. Эдакий оплывший, бело-розовый колышущийся конус. Огарок некогда круглой свечи. То ли монстр из фильмов ужасов, то ли языческое божество, ожидающее очередных жертвоприношений. Сидячая площадь табурета под завхозом рассчитана на человека нормальной комплекции, потому его тело жирной бахромой, каким-то невероятным абажуром нависает по краям «трона». Б-р-р-р! И шнырь Туту, заботливо намыливающий его детской губкой и не менее заботливо смывающий мыло из игрушечной лейки. Идиллия! Не хватает только сладенькой восточной музыки.

С одной стороны: ну а что здесь такого? Один человек — очень больной (полнота его откровенно нездорова, тут и диабет, и ожирение, и масса прочих недугов), самостоятельно не может, просто физически не в состоянии, производить санитарную обработку собственного, имеющего немалую площадь, тела. Другой человек помогает ему, точнее, выполняет за него все необходимые манипуляции. Отрабатывает свою шныриную ставку (чай, сигареты, что-то из еды в прибавку к лагерной баланде).

С другой стороны... что бы ни говорила медицина, к человеку, сохранившему в зоне избыточный вес, не говоря уже о тех, кто здесь пухнет, толстеет, поправляется, отношусь с брезгливым недоверием, ибо уверен: не может подобное происходить в здешней обстановке с нормальным человеком.

Но, а в отношении того, кто с лейкой и губкой... разве можно так низкоронять себя? Даже если у тебя в силу очень разных причин «слабый грев» с воли и ты постоянно нуждаешься в сигаретах и прочем «насушном» — неужели нельзя выбрать менее унижительный способ зарабатывать?

А еще представилась сцена, от которой по возвращении на волю шнырь Туту вовсе не застрахован. Окажется он вдруг за столом в компании, где среди прочих будут такие же, как и он, отсидевшие. И, как водится в подобных случаях, после третьей—пятой стопки, зайдет разговор о том, кто как сидел. «Я лес валил: тайга, мороз, стволы в два обхвата...» — скажет один, хлебнувший лиха в сибирской лесной зоне. «Я пакеты шил, мешки грузил, химией дышал...» — скажет другой, отбывавший где-то в Центральной России. Дождется и Туту лобового вопроса: «А ты как сидел?» Наверное, заерзает: «Да, сидел, всякое было...» И очень может быть, что за тем же столом найдется кто-то, где-то и когда-то знавший Туту по зоне в Свиноушках, что не удержится и, гадко хихикнув, выдаст: «Да он на зоне завхоза мыл...»

Еще хуже, не попав в такую ситуацию, каждый день ее ждать и представлять, что она может случиться.

Странное здесь бытует отношение к собственности. Если формулировать кратко, в виде единого лозунга, выходит что-то вроде: «Все твое — мое, все мое — твое», а так как у меня сейчас ничего нет, как, впрочем, никогда и не было и, скорее всего, никогда не будет, то действует только первая половина девиза. И должна действовать круглосуточно. И сегодня. И завтра. И все последующие до окончания срока дни. При этом совершенно наплевать, какой ценой и какими потугами собирают твои родные и близкие предназначенные тебе посылки, передачи и бандероли. Главное — ты получил, у тебя есть. Значит: «Дай!», «Угости!», «Отсыпь!», «Отрежь!» Похоже, не случайно, что большинство из тех, кто собирает на «общее», сами — из самых малоимущих. Потому и призывают они особенно проникновенно: «Надо помочь», «Надо поделиться», «Надо уделить». Потому и особенно горячо упрекают они, а то и

откровенно пугают всеми карами тех, кто в этом им отказывает.

Чем-то перекликается эта ситуация с политикой коллективизации, с практикой большевиков в организации колхозов. То ли они учились у уголовников, то ли уголовники совершенствовали свои навыки и методики у той дряни, что ворвалась в российскую власть в семнадцатом году.

В моем теперешнем окружении людей, жестко отстаивающих право оставаться человеком даже в этих условиях, совсем немного. Потому и каждый из них особо заметен, особо ценен, особо привлекателен.

Леху В. знаю еще по Березовке. Почти земляк — до посадки жил в Подольске. Работал дальнобойщиком. В зону попал за убийство. Возвращался домой из гостей в электричке, вышел в тамбур покурить. Как часто бывает в наших электричках, откуда-то появились две похмельные, наглые рожи: «Дай, закурить... а ты нам денег не подкинешь... да, поищи, а то мы сами найдем!..»

В свое время, рассказывая об этом, Леха в сердцах резанул ребром ладони по горлу: «Меня эти шакалы в рейсах вот как достали, на каждой стоянке — тучами, рядами, шеренгами — ты нам дай, ты нам отстегни, ты нам добавь, ты нам помоги... здоровые, не старые мужики... трутни-дармоеды!..»

В сумке у Лехи на тот момент оказался нож. Самодельный. Полукухонный. Полухозяйственный. То ли на счастье (неизвестно, что дальше было в планах его непрошенных собеседников), то ли на беду вспомнил Леха про него. Единственный удар для одного из «шакалов» оказался смертельным. Точно в сердце. Следователь потом невесело шутил: «Ты будто всю жизнь то ли забойщиком скота работал, то ли головорезом в спецназе служил, с одного удара — наповал...» Получил Леха шесть лет. Мог бы и больше. Помогли

положительные характеристики с работы и полное признание вины. Вину-то он признал, но о случившемся, точнее о совершенном, не жалеет, как не жалеет и того, которого отправил на тот свет: «Если бы можно было жизнь, как кино, назад открутить и все по новой, — все бы повторилось. Эту мразь из жизни выскребать надо. Я тут в роли санитаря выступил. Зло совершил, но других людей от зла куда большего оградил...»

В зоне бывший дальнбойщик держится особняком, самостоятельно, независимо. Открыл для себя новое занятие — чтение. И... ушел в него с головой. «Вот, — виновато разводит он руками по этому поводу, — до сорока лет дожил, а с книгами все как-то не складывалось, только в зоне и начал читать».

Верно, поздно Алексей взялся за книгу, но крепко взялся и, судя по всему, скоро наверстает упущенное. С книгой даже на промке не расстаётся. Выдается свободная минута (оборудование поломалось, сырьё не подвезли) — кто курить, кто дремать, кто анекдоты травить, а он — читать. В чтении разборчив, взыскателен. Предпочтение истории, философии, социологии. Никаких детективных страшилок и эротической чепухи. В общую тетрадь записывает названия книг и особо ценные мысли, что в них содержатся.

А книги за добрую преданность платят взаимностью. Что ни день для Лехи — то открытия, которыми он со мной часто делится: «Оказывается, Иван Грозный не такой плохой был...», «Ты смотри, экономика России в начале двадцатого века какой мощной была, рублю в любом банке мира кланялись, а нам все вдалбливали — нищая Россия, убогая Россия...», «Веришь, что Сталин не своей смертью умер?..», «Ух, сколько вранья и тайн вокруг Чернобыля накручено...»

А всю лагерную романтику, разглагольствования о тюремной порядочности и лагерном братстве, призыве «жить по понятиям» Леха на дух не переносит: «Жулики они (это он о приблатненных, собирающих каждый месяц взносы

на “общее”) — болтуны, обманщики. На “общее” собирают, а с этого “общего” каждый себе в первую очередь брюхо набить норовит...».

Наверное, после зоны Лехе на воле еще труднее будет. С его прямоотой, максимализмом, обостренным чувством справедливости. Искренне желаю, чтобы ему чаще везло и на воле, и здесь, за колючкой, на оставшемся до освобождения отрезке срока.

Какой нездоровый цвет лица у многих из тех, с кем я разделяю ныне арестантскую судьбу! Особенно это заметно в ясный солнечный день, во время проверок, когда весь отряд выстраивается по шеренгам в «локалке». Этот цвет напоминает о множестве явных и скрытых недугов. Мрачная палитра. Желтый, мертвенно-бледный, серо-землистый, серый с зеленью. Напоминание о больной печени, разрушающихся легких, барахлящих почках и т.д. Наглядное свидетельство отсутствия витаминов, потребления плохой воды, отсутствия нормальной медицинской помощи, а, главное, конечно, дефицита свежего воздуха. В бараке дышим диковинной смесью из табачного дыма, испарений сохнувшей одежды, запахов несвежего белья. Не говорю уже о том коктейле, что приходится вдыхать в лишенных вентиляции ангарах «промки» (тот же дым, пыль, полиэтилен, полипропилен и прочая гадость). Потому и выходя в локалку продышаться — не просто дышишь, а употребляешь воздух как редкое лакомство, смакуя, наслаждаясь, растягивая удовольствие. Если, конечно, в это время не «поддувает» из цеха по фасовке мела, из недавно развернутой, то ли случайно, то ли специально, в сторону наших барачных трубы.

А еще крупноформатную цветную съемку наших лиц можно использовать как фотодокумент в разговоре о гуманизации и либерализации нашего общества. И никаких

комментариев словоохотливых правозащитников не надо! Известно, что степень цивилизованности государства определяется состоянием в этом государстве тюремно-лагерной системы, отношением в этом государстве к заключенным. Можно просто нафотографировать наших физиономий, то желтых, то мертвенно-бледных, с черными и фиолетовыми полукружьями под глазами, с проваленными, напоминающими об отсутствующих зубах (кто лишился по болезни, кто в ходе общения с особо ретивыми следователями) ртами, и... все. Наши лица — визитная карточка государства, лакмусовая бумажка состояния общества, диагноз нравов и свидетельство степени милосердия в одной конкретной стране, в одну конкретную эпоху.

Продолжаю пополнять коллекцию сюжетов и текстов арестантских татуировок. Видел в соседнем отряде зека, у которого на верхней части шеи, у самой границы, откуда начинают расти волосы (наверное, место было выбрано специально, чтобы даже с учетом наличия рубашки все бросалось в глаза), было наколото: «Руби ниже!» Такая вот залихватская рекомендация кололась, видимо, в надежде, что в стране опять введут смертную казнь и исполнять ее будет по старинке палач топором на плахе. Другой подтекст: обладатель подобной татуировки просто уверен, что его будущая биография сложится так, что все закончится непременно высшей мерой. Что-то вроде — сам себя приговорил.

Еще один не менее мрачный текст. Надпись во всю спину: «Когда умру — сдирите шкуру и отнесите в Божий храм» (воспроизводится в соответствии с орфографией оригинала). Кстати, как понимать, кому адресуется вторая часть пожелания: что нести в храм? То ли эту самую шкуру, что просил-завещал обладатель этой оригинальной наколки, то ли его собственное, уже ошкуренное тело? Похоже, те, кто украшает себя подобным образом, думают

о чем угодно, только не о том, что татуировка несет в себе и элементы мистики, и провидения собственной судьбы, и много чего еще, до сегодняшнего дня непонятного и необъяснимого, но очень серьезного.

А еще раньше обратил на себя внимание внушительных размеров портрет Адольфа Гитлера на груди одного из мывшихся в бане арестантов. Портрет, правда, весьма относительной схожести. Запечатленный фюрер смахивал на что-то среднее между сгинувшим в эпоху культа личности маршалом Блюхером и бравым солдатом Швейком. Если бы не окантовка из свастик всех калибров — основателя Третьего рейха не узнать. Лет двадцать тому назад подобный сюжет, навечно запечатленный на человеческом теле, даже представить было бы трудно. Иные времена — иные нравы. И тематика живописи по телу совсем иная.

Обошел человек двадцать в бараке в поисках чистого конверта. Занимался этим отчасти по необходимости (конверты, действительно, у меня кончились, а до ближайшей посылки, в которой их непременно пришлют, еще пара недель), отчасти ради своего рода социально-экономического эксперимента по изучению местных нравов. Результат оказался вполне ожидаемым. Кто-то буркнул однозначное «нет», кто-то сожалел, что его конверты закончились (были бы, обязательно поделился бы), кто-то делал удивленные глаза: «Откуда?» Кстати, я сам на протяжении более года (срок моего нахождения на отряде) никому ни разу в аналогичных просьбах не отказывал. Конечно, нельзя впадать в мелочность, опускаться до ненавистного крохоборства, но факт — вещь упрямая. На протяжении всего этого времени из месяца в месяц вижу, как основная масса окружающих меня людей, затовариваясь в ларьке, набирает на все имеющиеся деньги исключительно то, что можно только съесть. Сознательно и целенаправленно забывая даже о не

менее необходимых сигаретах, не говоря уже о конвертах, открытках и даже обыкновенных спичках. Все прочее «добывается» при помощи вовсе не волшебного слова: «Дай!» Без всякого намека на приставку «пожалуйста». Халява — в качестве руководства к действию. Халява — в качестве главного жизненного принципа.

От одного из соседей услышал вполне искреннее: «Да, я за головку лука Родину продам...»

Все-таки не удержался, попытался уточнить: «А ты что под Родиной понимаешь?» Сосед не раздумывал ни секунды: «А чтобы под ней ни понимать!..» Чиполлино-антипатриот! Космополит в луковом эквиваленте! Кстати, сидит за то, что убил брата жены («Выпивали, заспорили, не помню о чем, потом он за стамеску схватился, а я за лопату, такое вот фехтование, с лопатой оно, конечно, надежнее получилось...»). При этом очень искренне, по-детски трепетно обижается, что жена (родная сестра убитого) и теща (родная мать убитого) не балуют его своим вниманием, не снабжают чаем и куревом, не присылают денег, не поздравляют с праздниками.

Мини-сюжет, очень похожий на анекдот, но который действительно имел место, да и выдумать который просто невозможно. Оставшемуся на воле приятелю выпала журналистская командировка в африканскую страну Кению. По возвращении он написал свои впечатления в письме ко мне. В качестве документального свидетельства своего экзотического вояжа, а заодно, вспомнив мои нумизматические слабости, вложил в конверт кенийскую монетку достоинством в один шиллинг (по курсу это гораздо меньше рубля). Знал бы он, какую нелегкую задачу задал он тем самым сотрудицам администрации моей зоны! Можно

только догадываться, как ломали головы эти люди, столкнувшись со столь нетрадиционным почтовым вложением в письмо, отправленном на имя осужденного, куда звонили, с кем совещались и консультировались, какие слова произносили в адрес того, кто заставил их хлопотать. Ведь деньги официально нам, ээкам, иметь запрещено (хотя денег этих по зоне гуляет немало), иностранную валюту тем более. Вот только как квалифицировать маленькую кенийскую монетку из белого металла? Как деньги? Но на нее ни в местных, ни в московских магазинах ничего не купить. Более того, в тех же кенийских магазинах что-то существенное на нее вряд ли можно приобрести. Как валюту? Смешно. Как сувенир? Про сувениры в документах, регламентирующих деятельность колоний строгого режима, — ни слова. Случайно я узнал, что неказистая монетка из белого металла (на одной стороне — цифры и буквы, на другой — портрет главы государства) стала поводом к целому экстренному совещанию, в котором участвовали цензор (дама, проверяющая всю нашу получаемую и отправляемую почту) и несколько представителей администрации. В ходе напряженного обмена мнениями выдвигались разные предложения. Первое — вытащить монету из конверта, а письмо отдать, будто никакой монеты там и не было (чувствуется, это был самый привычный, самый любимый, наиболее часто используемый в этой зоне вариант). Второе — не давать мне в руки ни письма, ни монеты, будто никто ничего не присылал. Нет письма — нет проблем! Ни один из этих вариантов не был принят в качестве руководства к действию, ибо кто-то вспомнил о моей былой профессии («да он же журналист, вдруг чего узнает, вдруг куда напишет, вдруг приедет комиссия, которая нас проверять вздумает...»). В итоге «консилиум» решил — монету изъять, положить в сейф и вернуть ее в момент моего освобождения, причем сделать все это совершенно официально, оформив соответствующий акт и т.д. Когда мне вру-

чали этот акт, я даже не смеялся. Внимательно смотрел на людей, с очень серьезным видом осуществлявших все эти манипуляции. Прекрасно понимал, что они не шутят, что здесь все на самом полном серьезе, и все-таки наивно надеялся уловить в их действиях что-то от розыгрыша, шутки, капустника. Разумеется, никаким капустником здесь и не пахло. Люди делали то, что ввиду традиций своего ведомства и уровня собственного интеллекта они считали единственно возможным сделать в этой ситуации. А акт об «изъятии монеты белого металла иностранного производства» постараюсь сохранить как уникальный документ местных нравов.

А. Солженицына, В. Шаламова, О. Волкова и прочих авторов гуглаговских мемуаров перечитываю теперь под совсем другим углом, совсем другими глазами. Любопытно сравнивать тогдашнюю обстановку, «положуху» в сталинских лагерях, с обстановкой в лагерях нынешних, демократических. Удивительно, насколько разную роль играл труд в жизни зеков сейчас и тогда. Оказывается, были в гуглаговской истории периоды, когда у заключенного, выполнявшего и перевыполнявшего производственную норму, каждый «отсиженный» день засчитывался за три. Широко практиковалась в сталинско-тоталитарные времена и практика дополнительных, усиленных и прочих, отличающихся в лучшую сторону от обычных, пайков для тех же «выполняющих и перевыполняющих». А ныне... Работашь ли — не работашь, выполняешь — не выполняешь, все едино! И срок тебе идет в обычном порядке, и в столовой та же сечка, та же перловка, те же микроскопические котлеты из сои по средам, что и для всех прочих. Выходит, вот когда существовал истинно дифференцированный подход к личности заключенного. Вот когда труд был реально действенным стимулом. Тем не менее в общественном со-

знании ГУЛАГ по-прежнему монстр-людоед, мясорубка, что-то непотребно страшное.

Не знаю, как в других зонах, а в наших, в сравнении с тем же самым античеловечным ГУЛАГом, трудом не воспитывают, не исправляют, а унижают, размазывают, добивают. Кстати, моя зарплата за последний месяц — сто рублей. Это при выходах во все смены, при выполнении и перевыполнении нормы (разумеется, в те дни, когда мы были обеспечены работой) в полтора-два раза! При регулярном участии в разгрузке и загрузке громадных фуру (это вид работ, как я понял, вообще непонятно на кого записывается, кому оплачивается)! Еще немного, и впору нам будет требовать: «Верните сталинский ГУЛАГ!» Звучит, конечно, дико, но уж нам-то здесь видней.

Барак охвачен эпидемией кроссвордоотгадывания. Кроссворды присылают в посылках и бандеролях, приносят со «свиданок», получают в обычных письмах, в виде вырезок из газет и журналов. Кто-то, действительно, напрягает память, привлекает какую-то литературу и мозги соседей, совершенствует эрудицию. Кто-то обезьянничает — из сорока-пятидесяти слов угадает максимум три, а остальные переписывает из «отгадок» (благо что кроссворды сейчас чаще всего издаются отдельными сборниками с помещенными в конце ответами). Часто кроссвордоотгадывание становится коллективным действием: один читает вслух и пишет, а подсказывают ему все кому не лень из поблизости находящихся. И я иногда принимаю участие в этой форме коллективного времяпровождения, но только после персонального приглашения. Знаю, как арестанты болезненно относятся к любым формам подавления собственного «Я», стараюсь никого не «грузить» своей эрудицией, никогда не спешу кричать правильное слово, даже если я его и знаю. В итоге часто бываю свидетелем диа-

логов типа: «А вот часть света из шести букв, попробовал “Россию” — не получается...» — «Не получается? Странно...» — «Наверное, составители напутали... Там такие перцы сидят — часто путают... Ты “Англия” попробуй...»

Тысячу раз вспомнишь великий афоризм: «Потерял — молчи, нашел — молчи, увидел — молчи».

Еще на воле то ли от кого-то слышал, то ли где-то читал, что ныне в свете демократизации, гуманизации, либерализации и т.д. нашего не больно демократического, не очень гуманного и, кажется, вовсе не либерального общества (одна только история моей посадки прекрасно может проиллюстрировать любую из этих скорбных характеристик) для арестантов, в том числе и для арестантов зон строгого режима, разрешены... отпуска домой! Разумеется, тогда эта новость, что называется, влетела в одно ухо и моментально вылетела из другого. На тот момент это была новость из совсем другого мира. Теперь же подобная информация обретает совершенно другой смысл.

Верно, положение об отпусках существует. Действительно, кажется, администрация, исполняя его, иногда отпускает отдельных арестантов «погостить» домой, но... Во-первых, делается это настолько нечасто, что порою приходится сомневаться, делается ли это вообще. Во-вторых, судя по сверхкуцему списку «счастливицков», очень похоже, что в этом перечне исключительно «козлы», и те же особо доверенные, трижды проверенные из сверхприближенных к администрации категорий. Несложно догадаться, какие люди в эти категории входят, каким образом заслужили они подобное расположение, чем расплачиваются за «акт доброй воли» от мусоров в виде возможности нырнуть в свободу, пусть на короткое время.

Здесь все понятно настолько, что и говорить об этом не хочется. Куда привлекательнее тема психологического состояния арестанта, отпускаемого из зоны в отпуск.

Именно теперь из «арестантской шкуры», из-за многофазового забора с вышками, словом, изнутри «мира несвободы» понимаешь, насколько все-таки несовместимы эти два понятия — «зона» и «отпуск». Несовместимы, если не сказать, агрессивно враждебны друг другу, что бы ни говорили «специалисты по либерализации и гуманизации». Отпуск для арестанта — это то же самое, что удлинение веревки, на которую привязан содержащийся в неволе сокол, временный перевод зверя из клетки в более просторный вольер, снабженный опять же решетками с крепкими прутьями. По большому счету, отправление арестанта в отпуск — процедура вовсе не гуманная, а изощренное издевательство над ним. Это как поводить под носом у запредельно голодного человека ароматным пирогом с пылу, с жару и сразу убрать этот пирог подальше. Или вывести животное из зоопаркового стойла на сверхпрочной цепи, провести на этой цепи по городу и вернуть за прутья решетки.

Если бы случилось чудо и мне вдруг предложили возможность реализовать свое право на отпуск, я бы крепко задумался и, скорее всего, отказался. Не надо мне таких экспериментов с удлинением цепи и краткосрочным увеличением площади загона. Свободы порционной, ограниченной временем, не бывает. Она — или есть, или ее нет!

Здесь, как нигде, надо уметь говорить «нет». Твердо и жестко. Это снимает многие дальнейшие вопросы и проблемы. А еще, говоря «нет», надо держать про себя не менее твердые и не менее жесткие аргументы, обосновывающие это «нет», но озвучивать их, прибегать к ним надо только в самом-самом крайнем случае.

Смешанное чувство гадливого отвращения и брезгливого недоумения вызывает поведение пристроившихся на

«козлиных» должностях арестантов. Откуда в них столько индюшачьего самодовольства и воинствующего чванства? Чему радуются? Чем гордятся? Верно, в тепле и сытости коротают свой срок. Верно, регулярно получают за свои услуги (стрижка, стирка, ремонт одежды и т.д.) от нас «гонорары» в виде сигарет, чая, продуктов. Но и это уже с позиций морали «правильного» арестанта не совсем порядочно. По сути, они обирают нас, наживаются на нас, жируют с наших подношений за те услуги, которые они должны были оказывать совершенно безвозмездно.

Другая сторона «козлиной» сытости: вся эта «шушера», засевавшая в прачечной, парикмахерской и прочих подразделениях лагерного комбината бытового обслуживания, самым тесным, самым паскудным образом связана с администрацией, с теми самыми мусорами, с которыми у порядочного, уважающего себя зека не должно быть ничего общего. Я даже не имею здесь в виду стукаческие обязанности, без готовности к выполнению которых, как правило, и утверждение на подобные хлебные должности невозможно. В неписанных, но неперемных обязанностях «козлов», занимающих хозяйственно-бытовые должности в зоне, разумеется, внеочередное и тем более безвозмездное обслуживание представителей администрации. Говоря лагерным языком, любого мусора, которому приспичило на халяву постричься, подогнать по фигуре комплект форменного обмундирования, подлатать прохудившиеся, опять же форменные, берцы, — всякий «козел» должен встречать с распростертыми объятиями в подобострастно-непринужденной позе.

Говорят, будто в прошлые, более правильные с точки зрения тюремно-лагерных традиций, времена арестанты, решившиеся на подобные должности, сразу становились презираемыми, нерукопожатными, неприкасаемыми. Но это... в прежние времена, а ныне... Вся эта окопавшаяся в «хлебных» местах «рогатая» сволочь жирует, задирает нас. Да и среди прочих, кажется, порядочных, арестантов

сегодня находится немало таких, что гордятся близким знакомством с засевшими в парикмахерских, прачечных и т.д. В который раз только и остается развести руками да сокрушительно обронить: «Иные времена — иные нравы!»

Конечно, в любом правиле есть исключения. Вряд ли у кого повернется язык упрекать в «козьем» выборе нынешнего лагерного библиотекаря Игоря Владимировича Н. (о нем я уже неоднократно писал). Какие могут быть претензии к человеку, перевалившему за семьдесят, столько сделавшему для «оборонки» Отечества, и даже здесь пытающемуся остаться полезным. Но это, повторяю, из разряда исключений, которые, как известно, только подчеркивают правила.

Грянула долгожданная московская новость. Столичный «большой» суд «скинул» мне два года. Из семи два. Теперь мой общий срок пять лет, из которых почти три я уже отбыл. В принципе это победа! Все ныне окружающие меня люди считают именно так, ибо факт, когда зеку главный суд страны идет навстречу и сбрасывает аж два года (целые двадцать четыре месяца), — это событие, событие исключительно редкое, важное, радостное.

Другая сторона медали. Суд изменил мне приговор («сломал», как здесь говорят), но не отменил мне обвинение, которое я и по сей день считаю нелепым, надуманным, заказным. Все определенные следствием и закрепленные судом формулировки остались в силе. Фактически мое дело не пересматривалось. Два года из моего приговора были «скинуты» с учетом прежних заслуг. Достигнуто это было, похоже, исключительно хлопотами адвоката Сергея Львовича, человека, сохранившего профессиональную совесть и сумевшего в этой ситуации пройти между Сциллой и Харибдой, решить вопрос так, чтобы овцы остались целы, а волки сыты. Конечно, параллель с хищниками и

домашней скотиной здесь неуместна. Но ситуация очень похожая — и определенная адвокатская работа выполнена, и моя участь облегчена на целых два года, и пожелание нанимавшего его человека, моего бывшего шефа, выполнено — дело никто по большому счету «не ворошил», не вытаскивал на свет божий и не придавал гласности вопиющие нестыковки и прочие белые нитки, а главное, оставил за кадром опять же моего бывшего руководителя.

А радикальным образом приговор никто, повторяю, не пересматривал. Подобное решение потребовало бы признания факта ошибки, а это непременно требовало бы нахождения и, соответственно, наказания виновных. Подобного судебная наша система не любит, не допускает, не терпит.

Итак, более половина срока, в новом исчислении, уже позади. Тему отрадной «арифметики» можно продолжить. Если мой общий срок теперь пять лет, если отсижено, совсем без малого, три, то не за горами (чуть более полугода) время возможного условно-досрочного освобождения. Тут есть о чем думать, к чему готовиться. В данной ситуации, с учетом строгого режима и особо тяжкого преступления на это самое пресловутое и вождеденное УДО право имеет каждый зек, отсидевший две трети срока и не имевший за это время грубых нарушений дисциплины. Однако есть в соответствующих документах гаденькая оговорочка: «на усмотрение администрации». А что в моем случае может усмотреть эта самая администрация? Да что угодно. Сама жизнь, судьбы моих соседей показывают, что в этой ситуации все может быть очень по-разному. У одного и поощрений чуть ли ни дюжина, собранных правдами-неправдами, то есть купленных у тех же представителей администрации на промке и на отряде. И вроде бы есть платежеспособные родственники, готовые на воле сунуть, подмазать, заплатить, а... не получается. На суде выясняется, что когда-то имел этот арестант выговор за плохо застеленную койку, а еще раньше было у него замечание за какие-то прере-

кания с контролером, — короче, суд признает УДО «нецелесообразным», и никому ничего арестанту здесь не доказать, и, как нигде, он чувствует себя здесь бесправным и бессильным.

А еще на суде зачитывают характеристику. По какому признаку она составляется, на основании чего пишется — неведомо никому. Тому же отряднику, которому не заплатили родственники или с которым у зека просто не сложились отношения, написать «примкнул к отрицательно настроенным осужденным» или «поддерживает тюремные традиции» — ничего не стоит. И это как приговор. Опротестовывать, доказывать обратное, просто спорить здесь невозможно, а характеристика — это документ, на основании которого суд и выносит свое решение, и в данном случае безапелляционное, наотмашь звучащее, холодное и колючее «нецелесообразно» просто гарантировано.

Конечно, и отказ в УДО (это самое гадкое «нецелесообразно») можно обжаловать, можно опротестовать, но это — время, новые хлопоты, новые расходы, новая нервоотрепка.

Впрочем, все проблемы будем решать по мере их окончательного формирования. Выговоров, замечаний и прочих дисциплинарных нарушений у меня нет (пока нет, на сегодняшний день нет). Есть одно поощрение (как раз за тот месяц, когда работал на укладке мешков для удобрений и только по приблизительным подсчетам должен был получить рублей восемьсот, вместо чего получил лишь сто двадцать, а в компенсацию за откровенно украденные деньги — получил это самое поощрение). Будем двигаться дальше. Свободы даром не бывает!

Глаза арестантов... Когда-то пришла мне в голову мысль организовать выставку (уже на воле, разумеется), составленную из громадных снимков одних только глаз российских зеков. Именно только глаз. Все, что выше бро-

вей, все, что ниже глаз, — заретушировать, замазать, обрезать. Конечно, выражение этих глаз будет очень-очень разное. Богатейшая палитра настроений, чувств, характеров. Теперь я понимаю, что будет в этих разных взглядах этих разных глаз — общим, единым, объединяющим. Эти глаза — выцветшие. Удивительно, глаза могут быть карими, черными, зелеными, синими, но при этом оставаться выцветшими. Глаза могут быть злыми, добрыми, задумчивыми, колючими, мстительными, но при этом главным, чем они будут «цеплять», обращать на себя внимание, — это то, что они — выцветшие. Глаза, обожженные средой. Глаза, вымученные обстановкой. Глаза, убитые бедой. Не обойтись здесь без трагической красоты!

Для кого писались и пишутся воровские прогоны (своего рода жесткие инструкции, регламентирующие всю блатную жизнь, в том числе внутренний порядок в тюрьмах и колониях)? Ведь четко и строго говорилось в них о том, что «мужик» (арестант, выходящий на работу, ничем себя не компрометирующий, по возможности поддерживающий «общее» и т.д.) — центральная фигура на зоне, требующая уважения и поддержки. Может, на этой зоне подобных «прогонов» не читали? Не может быть. Или этот тезис про «мужика» уже упразднен? Исключено. Просто в отдельно взятой зоне (нашей зоне) в течение последних лет сложилась традиция свинского, чисто потребительского отношения к представителям самой важной и самой нужной арестантской категории. И примеры этого свинства встречаются на каждом шагу. Только вчера «смотрун» собирал отряд. Что было на повестке? Насущные проблемы: поощрения, препятствия — уходы по УДО, вечно урезаемое количество дней длительных свиданий, выделяемых на отряд? Если бы. Главное — пополнение «общего», необходимость очередных взносов в виде оплаченных теле-

фонных карт (с воли диктуется номер, номер забывается в телефон, вот и пришли денежки на телефон, что используется в зоне). Еще одна новость на ту же тему. Отрядник договорился со «смотруном» и приближенными о ремонте крыльца барака (прошлой зимой накопившийся снег проломил там крышу) и еще неизвестно, то ли отрядник загрузил «мурчащих», то ли они сами «прогнулись» перед отрядником и предложили свои услуги. Но факт налицо — «мужиков» опять трясут, опять стригут, опять доят. Для ремонта того же крыльца нужен лес, рубероид, шифер. Все это стоит денег.

А прав у «мужика» даже в масштабах нашего, отдельно взятого барака, все меньше и меньше. Уже были случаи, когда «мужиков» выдворяли из той же «кевезерки», не давали смотреть телевизор, на который в свое время эти самые «мужики» как раз и скидывались, под предлогом, что здесь собираются «игровые». Конечно, игра для зоны — «святое», процесс вечно важный. Немалая часть средств, что проигрывается и выигрывается здесь, отчисляется на «общие» нужды зоны (во всяком случае, так должно быть). Только кто сказал, что «игровые» важнее «мужиков»?

Недавно имел место и факт, когда одного из моих соседей не пустили в «чайхану» (комната, официально предусмотренная для приготовления и принятия арестантами пищи в бараке), так как в тот момент там неспешно закусывали «смотрун» с парой своих приближенных.

А ведь рано или поздно кому-то за все эти «перегибы» внутрилагерной жизни придется отвечать. По всей строгости «понятий». Понятно, если такие еще не переродились окончательно в барыжно-коммерческие отношения.

Всплыл в памяти эпизод из давным-давно увиденного очень советского фильма «про войну». Сытые, довольные (похоже, дело происходит в августе-сентябре 1941 года)

немцы гонят колонну пленных советских солдат — соответственно изнеможенных, подавленных, голодных — по улице недавно оккупированного городка. Местные жители выстроились на обочине и смотрят на эту колонну. Смотрят, понятно, по-разному. Как по-разному они и встречали недавно вошедших в этот городок немцев. Камера выхватывает в толпе дородную лузгающую семечки бабу, явно из торгашек-спекулянок, что страдала от советской власти и с радостью встретила оккупантов. Когда кто-то из поравнявшихся с нею пленных попросил у нее вкрадчивым шепотом хлеба, она истерически завопила: «Хлеба? Пусть вам Сталин хлеба дает...» И сочно сплюнула вслед проходящим пленным красноармейцам подсолнечную шелуху.

Вспомнил этот эпизод после того, как случайный собеседник из нынешнего моего окружения вскользь, не так, чтобы зло, но и не без ехидства, спросил: «Ну а что коллеги по цеху, демонстрируют профессиональную солидарность?» «По мере возможности», — откровенно соврал я, от продолжения разговора ушел, а про себя крепко задумался.

Получилось, что тот самый профессиональный цех, к которому я относился без малого тридцать лет, если называть вещи своими именами, меня предал, сдал со всеми потрохами на произвол проходимцев в погонах, купленных жуликами-казнокрадами. За все время моей тюремно-лагерной эпопеи в СМИ не появилось ни одного материала не то чтобы в мою поддержку, не появилось ни одной статьи, ни одной передачи, где моя история хотя бы объективно анализировалась, где бы просто честно перечислялись бы все аргументы «за» и «против». Вот она, эта самая цеховая солидарность!

Не стала исключением и бывшая «родная редакция» родной «Свободной газеты». Но тут все понятно, дорожат люди должностями, зарплатами, страстно желают досидеть здесь до пенсии, в любом пустяке оглядываются на «хозяина» — главного редактора. Того самого, который

недавно купил издание и приложил все свои силы и опыт, чтобы превратить некогда независимое издание в прибыльный коммерческий проект. Плюс его личное бескультурье, откровенная трусоватость, полное отсутствие всяких принципов. Альтернатива для него здесь была вполне прозрачная. Признать публично мою вину — значит признать и свою даже не причастность, а организующую и направляющую роль в ситуации, ставшей потом, говоря уголовным языком, моей «делюгой». Да и как иначе — ведь о переговорах с представителями и Министерства продовольствия, и его дочерней структуры, фирмы-кошелька, треста «Оптплодимпорт», он не просто знал во всех тонкостях, эти переговоры он направлял, планировал, координировал. Сумму объема возможных услуг, которые могли бы интересовать министерство и названный трест и которые готова была предоставить редакция, определял (тщательно прикинув и не допуская никаких вариантов люфта) лично он. Признавать во всей этой истории мою вину — значит и признавать свою роль, а следом за этим — получить срок и занять место в соседнем бараке строгого режима. Не признавать моей вины (так убедительно, кстати, и не доказанной) значит поддерживать меня. И не просто поддерживать, а отстаивать мою невиновность всеми возможными способами — на юридическом, политическом, профессиональном и всех прочих уровнях. Это хлопотно, затратно, опасно. А копейкой мой экс-шеф всегда дорожил, да и смелостью не отличался. Потому в моей истории он не придумал ничего лучшего, кроме как отмолчаться и отсидеться. Впрочем, отсидеться — это уже, оказалось, по моей части. Отсиживаюсь я, а он продолжает умножать во всех возможных эфирах свой политический капитал.

Говорит о чем угодно: о будущем России, о проблемах главного театра, об особенностях либерализма в Отечестве. Лишь бы мелькнуть в кадре, только бы прозвучать в эфире, покрасоваться на газетной полосе. Иногда ка-

жется, предложи ему поучаствовать в круглом столе об особенностях освоения российского рынка зарубежными производителями женских прокладок — не постесняется, непременно отзовется — трусцой, подрагивая немалым животом, примчится в нужную редакцию или студию и с умным видом, тщательно подбирая слова, будет рассуждать, вещать, поучать.

Прочие СМИ? Стоит ли вообще об этом говорить после того, как появились в обществе такие понятия, как «лоббистские статьи», «джинса», «черный PR», процент с «заказухи». Видел я лица этих «коллег по цеху» на первом заседании своего суда. Увы, те лица, что наблюдал позднее на ежедневных построениях в локалке перед баракom и которые часто, в сердцах, называл харями-мордами, несли в себе куда больше человечности, чем лица тех, кто представлял на том суде профессию, которой я отдал большую часть жизни. Девицы с мужскими манерами и блудливыми глазами, томные юноши с вислыми плечами, вовсе бесполое существа с лисьими физиономиями.

Помню, по окончании первого заседания суда кто-то из этих самых «коллег по цеху» добрый квартал бежал впереди (задом наперед) и все щелкал затвором своей камеры, фотографируя меня под всеми возможными углами. Тогда самообладание на миг покинуло меня: озверев от вспышек и клацанья камеры (а еще раньше одурев от атмосферы суда, нашего самого справедливого, самого принципиального и самого беспристрастного), я что было мочи лягнул его ногой, чуть ниже болтавшегося футляра от камеры. Понятно, смалодушничал, ясно, сорвался, но вспоминать, по крайней мере, сейчас об этом почти приятно.

Помню, да что там помню, даже храню часть громадной подборки публикаций, что замелькали в прессе, как только начался «мой процесс». Приговор еще не был объявлен, решение суда было еще не известно, а в этой самой прессе через строчку рядом с моей фамилией красовался весь бред,

что перекочевал потом из материалов следствия в решение суда. И про наркотики, якобы обнаруженные в моем доме, и про вымогательство, которым были представлены самые обычные переговоры о рекламно-информационном сотрудничестве. Коллеги? Что им сказать? Разве что пожелать когда-нибудь оказаться на моем месте.

Трусость и равнодушие. Равнодушие и трусость. Лучшие, поистине тепличные условия для произрастания подлости. Всего этого в истории с моей посадкой имеется более чем достаточно. В отличие от той самой профессиональной солидарности, которой там и не пахнет. Ну а кадры забытого советского фильма про войну всплыли в памяти, конечно, совершенно случайно. Спонтанно-ассоциативный ряд, как говорят специалисты.

М. Горький, И. Бабель и многие прочие классики потратили немалую часть своего таланта, чтобы представить категорию людей, среди которых я нынче нахожусь, как пострадавших, страдающих, чтобы гуманизировать их образ. Они искали в них и, разумеется, находили и непомерно выпячивали красоту, доброту, человеколюбие. Неужели не видели скошенных лбов, тяжелых тупых взглядов, звериных оскалов? Скорее, не хотели видеть. Заставляли себя не видеть. Неужели не понимали, что эти люди нигде, никогда и ни при каких условиях не будут ни для кого полезны? Что для них не существует самих понятий «полезность», «отдача», «долг», что бесконечное «дай» будет сопровождать их всю жизнь, что единственная верная форма отношения к ним среди общества — будет строгая изоляция их от этого самого общества. Стоп... Я увлекся. Точнее, меня понесло. Это злоба, отчаянье, бессилие. Моя злоба, мое отчаянье, мое бессилие. Разве я нынче не часть этой самой человеческой специфической категории? А еще нельзя забывать, что эти люди — немалая составляющая

человечества. Руками этих людей (пусть под прицелом конвойных) строились великие каналы, возводились гиганты индустрии. Эти люди определяли исход сражений, в которых решалась судьба нации и отечества. Они — мои соотечественники, мои единовверцы. Такая вот двойственность, такой вот дуализм. Хочешь быть искренним — будь готов показаться нелогичным, нелепым, неудобным.

Оказывается наша бригада, занимающаяся укладкой мешков для мела и удобрений (операция, чем-то напоминающая укладку парашютов), на очень хорошем счету у руководства промки. Статус определен не только, возможно даже не столько, добросовестным нашим трудом, а регулярно демонстрируемым смиренно-безучастным отношением к той самой нищенской, неоднократно обрезанной зарплате. Тут, правда, не все так просто, не все так однозначно. Дело в том, что куратор бригады, майор внутренней службы с колоритной кличкой Наркоман регулярно «подкармливает» арестантский коллектив. Накануне или сразу после зарплаты (той самой урезанной, по сути, разворованной) он передает в бригаду подачку из «насущенного»: блок сигарет с фильтром, пару шоколадок, немного чая и т.д. Посредник в этой неофициальной операции наш бригадир Эдик С. Он категорически против, чтобы его считали бригадиром, ибо бригадир — должность сугубо «козлиная», а себя ему очень хочется позиционировать исключительно как порядочного арестанта. Этот человек считает, что это добрая, исключительно гуманная человеческая инициатива со стороны Наркомана. В это никто не верит. Понятно, что подобный жест маскирует манипуляции администрации с нашей зарплатой и чуть подслащивает горькую арестантскую долю. Удивительно, что эта гадкая традиция действует уже более года. Удивительно здесь все — и то, что подачка, затраты на которую немногим превышают пятьсот рублей, закрывает

тому откровенно украденных нескольких тысяч (в бригаде шесть человек, каждый из которых недосчитывается ежемесячно нескольких сотен). Удивляет, что эта наглая унижительная подачка всех устраивает. А больше всего удивляет, что, по сути, мусорские сигареты в качестве компенсации за молчание обворованный арестант получает из рук другого арестанта. И арестанта, немало отсидевшего (три ходки, только по последней отсижено уже семь) и щепетильно считающего себя правильным и порядочным.

Кстати, лично меня первые несколько месяцев он виртуозно исключал от участия в этой процедуре. Один раз раздавал сигареты, когда меня вызвали для получения заказного письма, другой раз — когда я был на свидании, третий раз нашлась еще какая-то причина. А на этот раз Эдик сунул мне в руку пачку «Винстона» и, не смотря в глаза, пробормотал: «Вот Наркоман нас за хорошую работу подогрел...» Стоп, стоп, стоп.... Как это подогрел? С каждого из нас каждый раз почти по полтысячи срезают, а в компенсацию — эта пачка сигарет да зубчик шоколада? Все эти вопросы я и вывалил неофициальному бригадиру нашей ударной бригады. После этого у Эдика сразу нашлись срочные дела, и раздевалку, где состоялся этот разговор, он покинул. Мне же ничего не оставалось, кроме как вернуть злополучную пачку самому Наркоману. Полагалось бы все это, конечно, снабдить соответствующим комментарием, но, поймав взгляд этого человека, ничего не оставалось сделать, кроме как сказать себе: «Не стоит...» А реакция на случившееся с его стороны не заставила себя долго жать: чрез пару дней моя фамилия исчезла из списка арестантов, представленных к поощрениям. Была, стояла почти неделю, пока список собирал все необходимые подписи, а потом исчезла. Более того, тот же Наркоман накануне персонально уточнял у меня, в каком виде лучше материализовать это поощрение: в виде дополнительного долгосрочного свидания или в виде внеочередной двадцатикилограммовой посылки. Впрочем, теперь это

уже не столь важно. Главное — поощрения я лишился за строптивость, за то, что сунул нос в святая святых — систему разворовывания наших денег. А «молчание ягнят» — позиция товарищей по бригаде — свидетельство их неверия, что в этой системе что-то можно изменить. Чуть позднее ко мне подошел Максим М., в давнем вольном прошлом мичман военно-морского флота, угодивший сюда за неосторожное бытовое убийство и уже отсидевший лет пять. Он попытался объясниться: «Ты в эту систему только въезжаешь, а я в ней уже давным-давно, ее не сломать, к ней приспособляться надо, та же лишняя пачка сигарет — и то хорошо, все лучше, чем вообще ничего. Вот ты выступил тут, а мы после этого и эти самые сигареты перестанем получать...» На мое возражение: «Сегодня вас за пачку сигарет грабят, а завтра бесплатно о вас ноги вытирать начнут» — он только пожал плечами. А ведь когда-то этот человек носил замечательную, почти офицерскую форму, которая по исторической сути своей не допускала ни нагнутой спины, ни сломленной воли.

Днем позднее я попытался найти след своего «потерянного» поощрения. Наркоман, чуть скосив глаза, соврал: «Наверное, потерялось», а Малец (другой наш начальник по промке), как водится, увлеченный лузганьем семечек, был более откровенен: «Нечего было к “хозяйину” ходить, бумажки про зарплату писать, ничего у тебя не получится, я в сельское хозяйство возвращаться не хочу». Что ж, по крайней мере откровенно.

Возможно, сам того не ведая, лейтенант внутренней службы М. (по кличке Малец, в более узком кругу по совокупности моральных качеств известный как Подлец) предельно емко сформулировал ключевую формулу отношения к работе, к службе, к самой жизни большинства своих коллег. Ведь присутствие в сельском хозяйстве означает работать в этом самом сельском хозяйстве, зарабатывать потом и кровью, с надрывом, с недосыпом, с мозолями на руках свой

хлеб. А здесь... похоже, ни мозолей, ни пота, ни крови. Гарантированное жалованье. Плюс всякие манипуляции с деньгами, что зарабатываем мы, которые у нас откровенно крадут. Словом, не очень честная, но очень сытная кормушка. И за место у этой кормушки, у этого корыта лейтенант Малец будет стоять насмерть. Да разве он один такой?

А от Эдика С. подобного я не ожидал. Верно, у каждого свои слабости, никто не застрахован от ошибок, но здесь... Здесь — целенаправленное, осознанное, долговременное участие в подлой и гадкой схеме втаптывания нашего, понятно, арестантского, но все-таки человеческого достоинства в грязь. И все на фоне бесконечных разглагольствований об арестантской порядочности, лихого жонглирования терминами «мусорской беспредел», колючих шуток в адрес желающих уйти по УДО. Вряд ли теперь найдутся интересные темы для разговора и совместного чаепития с этим человеком, да сам факт подобного чаепития под большим вопросом. Теперь поперек горла встанет мне такой чай...

Различия в «положухе» в лагере в Березовке (где отбыл первый год своего срока) и в лагере в Свиноушках (где нахожусь ныне) — вечная серьезная тема. Расстояния между ними всего сто пятьдесят километров, а этих самых различий величайшее множество. Будто эти полторы сотни километров разделяют не две зоны на территории одной области, а два мира, две цивилизации. Звучит пафосно, но это именно так. В Свиноушках обращаешь внимание, что курящих «Приму», а не сигареты с фильтром (в силу своего ограниченного материального положения), здесь куда больше, чем в Березовке. Да что там «Приму», есть здесь и курящие самокрутки с табаком из чужих бычков. Видел, как эти бычки собирают, как табак извлекают, сортируют,

сушат на трубах отопления, собирают в специально приспособленные для этого баночки и коробочки.

И с туалетной бумагой в Свиноушках проблемы: не у всех хватает средств на ее приобретение. Отсюда и особый интерес некоторых моих соседей к газетам, что приходят ко мне в посылках, бандеролях, — кому на «козьи ножки», кому на пикантные нужды.

Еще одна маленькая, но емкая деталь на тему сравнения двух уровней лагерной цивилизации: инвентарь для уборки помещения (щетки, «лентяйки», совки и т.д.) — хранится в специально отведенном месте. Наверное, для удобства, для порядка на ручках этих инструментов масляной краской обозначено помещение, для уборки которого именно этот инструмент предназначен («первая секция», «канцелярия», «каптерка» и т.д.). В пяти словах насчитал восемь ошибок. Особенно запомнился «калидор». К тем, кто наносил эти надписи, — никаких претензий быть не может (у многих судьба сложилась так, что остается только удивляться, что человек вообще смог научиться читать и писать). Но ведь кто-то принимал эту работу. А проверяющие всех калибров от областного до федерального, что порою по несколько раз в месяц нарушают покой нашего барака, к появлению которых все скоблят и чистят, которые всегда и повсюду суют свой нос, неужели они это не видели? Неужели не читали? Или сами в грамоте не сильны?

А лично я, сравнивая зону в Березовке с зоной в Свиноушках, всегда вспоминаю впечатления о прибытии. В Березовке со всеми вновь прибывшими всегда сразу встречался «смотрун» барака Валерка Дербентский (русский, кличка была определена местом рождения). Для каждого находилось несколько минут индивидуального общения: кто, откуда, за что, какие планы на срок, есть ли чай, курить и так далее. Не миновали эти вопросы и меня. От предложенных сигарет я, как некурящий, отказался, а вот две пачки чая и кулек карамели взял, ибо от всех запасов, с ко-

торыми уходил две недели назад из Бутырского СИЗО на этап, не оставалось ничего — что-то было использовано, заварено, съедено, роздано, что-то, как водится, сгнуло за время шмонов и досмотров.

Совсем по-иному было в Свиноушках — прибыв на отряд, мы часа два ждали, пока «смотрун» проснется. Индивидуальные вопросы были заменены одним общим: «У всех все равно? Все нормально?» Про нужды и потребности речь и вовсе не заходила. Два лагеря, два мира. У каждого свое лицо, свои черты, свои детали. И детали эти остаются в памяти навечно.

Постоянно убеждаюсь, что сформулированный мной еще в самом начале срока девиз (можно патентовать, как исключительно собственное ноу-хау): «У меня всегда начищенные ботинки и прямая спина» — очень правильный.

Уход за обувью не только продлевает срок эксплуатации казенных ботинок (пропади они пропадом!), но и дисциплинирует, а также придает хозяину оных немалую толику чувства собственного достоинства, «строит» обладателя этих ботинок. Еще одна грань векового диспута мыслителей о форме и содержании. Еще одна кричаще-наглядная иллюстрация философского тезиса: «Форма — это уже содержание». От неряшливой обуви до неряшливости в мыслях и планах — один шаг. Звучит помпезно и банально, но я уверен, что найдется немало людей, кто поймет и поддержит меня в этом. Ну а прямая спина — она и есть прямая спина. Термин скорее моральный, чем физиологический. И с радикулитом, и со сколиозом, и с прочими позвоночными болезнями человек может оказаться несломленным, несогбенным. Положение спины не состоянием позвонков, мышц и хрящей определяется, а характером, состоянием души, натурой. Кто это понимает — тому здесь ничего не надо объяснять. Кто этого не понимает — тому ничего объяснить невозможно, ибо понять подобных вещей он не смо-

жет. Не дорос... Не способен... Еще не способен... Уже не способен... Вообще не способен!

А лично придуманный лозунг про начищенные ботинки и прямую спину мне нравится все больше и больше. Так держать, Борис Юрьевич!

Это только кажется, что двадцать килограммов еды (вес положенной один раз в три месяца на строгом режиме продуктовой посылки) — это много. Даже если «счастливый» ее обладатель потреблял все содержимое практически в одиночку (как здесь говорят, под одеялом), минимально делясь с соседями, игнорируя «общие нужды», — все равно проходит неделя, и он сокрушенно удивляется: «Почему так мало осталось чая, куда делось сладкое, неужели сало уже на исходе?» Детские, мелочные, смешные со стороны эмоции, и тем не менее... Лично получил ровно три дня назад полноценную двадцатикилограммовую «положняковую» (то есть положенную по сроку) посылку, вроде не шиковал, не пижонил, разбрасываясь ее содержимым налево и направо, — что-то отдал (в надежде, что это достанется, как положено, самым неимущим, самым обездоленным) «на общее», кому-то что-то отрезал, отломил, отсыпал, что-то передал приболевшему земляку, и... в итоге от объемного мешка с провизией остался сиротский пакет, содержимое которого можно, поднатужившись, умять за один присест. Следующая посылка лишь через три месяца. Кто придумывал и утверждал это правило? Чем при этом руководствовался? Из чего исходил? Почему именно двадцать килограммов, именно раз в три месяца? Похоже, это очередная глупость из густого частокола глупостей, меня окружающих. И ни ворот, ни калитки в этом частоколе...

На работу мы ходим. Несмотря на откровенно грабительскую систему начисления зарплаты, несмотря на от-

вратительную организацию самой этой работы, трудимся. Даем необходимые промке, а значит и всей зоне, объемы, проценты, тысячи и миллионы единиц готовой продукции. При всем при этом та же промка (а в ее лице вся зона, если не сказать — все российское доблестное тюремное ведомство) рабочей одеждой нас не снабжает.

В принципе, без этой самой рабочей одежды мы обходимся. В ее качестве традиционно используем старые арестантские робы. А вот с перчатками, без которых очень трудно иметь дело со всеми мешками, пачками и совершенно невозможно участвовать в разгрузке сырья и погрузке готовой продукции, — хуже, точнее совершенно никак. Перчаток катастрофически не хватает. Старые, что получали некоторые из нас еще при оформлении на работу (лично для меня это происходило почти полтора года назад), расплзаются по швам, протираются, рвутся. Не помогает ни штопка, ни латание, ни накладывание заплат.

Эффект всех наших обращений по этому поводу в «соответствующие инстанции» — полный «ноль». «Не получали», «кончились на складе», «лимиты выбраны», — бубнят свои односложные, абсолютно неправдоподобные объяснения отвечающие за организацию производства на промке офицеры — представители администрации. А их по-собачьи преданная правая рука — «козел» Федя наших вопросов о перчатках просто не слышит. В лучшем случае неопределенно пожимает плечами, как будто и не существует вовсе подобной проблемы, как будто все эти то скользкие, то шершавые, то липкие мешки и пакеты мы должны, просто обязаны, брать, таскать, грузить исключительно голыми руками.

Конечно, сунуть тому же Феде пачку «фильтровых» сигарет — пара перчаток непременно найдется. Непременно прозвучит при этом и стандартное «чисто фединское» пояснение: «Это остатки, давно не получали, никому не говори, все равно на всех не хватит...» Вот только с какого перепуга в этой ситуации раздавать нам здесь сигареты

за то, что администрация должна, трижды обязана выполнять? Опять же сигареты в лагере — это не то, что сигареты на воле. Здесь это — гораздо серьезней. Сигареты — это деньги, валюта, эквивалент всего и вся.

В этой ситуации мне не оставалось ничего другого, кроме как попросить родных прислать перчатки в ближайшей посылке. Так и сделал. Перчатки вскоре получил. Целую упаковку. По виду и качеству — те же самые перчатки, что когда-то нам выдавали. Оказывается, на воле продаются они в любом универсаме и стоят, даже в нашем арестантском очень специфическом представлении, сущие копейки.

В упаковке, присланной в посылке, перчаток оказалось двенадцать пар. Пару сразу стал использовать по самому прямому назначению, две пары заначил на черный день и спрятал на дне баула с личными вещами, остальные роздал в своей смене тем, кому посчитал нужным.

Не устаю удивляться отношению представителей администрации колонии к собственной внешности, к самому понятию «форменной одежды». А ведь где-то рядом здесь и понятие «честь мундира». Пойдем по принципу «сверху вниз». Начнем с шапки, точнее, с головного убора. Широчайший разброс вкусов и возможностей. От щегольских, пошитых по «спецзаказу» фуражек, с немыслимо задранной тульей, до легкомысленных подростковых бесполох шапочек — тех самых, что без конца «отметают» у нас в ходе регулярных шмонов. Плюс меховые форменные шапки с ведомственной кокардой. Да еще снабженные той же кокардой летние шапки-каскаетки с козырьком, с которыми отдельные представители администрации почему-то не расстаются круглый год («зимнюю по пьянке потерял», — шутят по этому поводу «злые» зеки). И много еще разных неожиданных вариантов шапок и фуражек.

От шапки — к голове. Почти уверен, что сотрудники администрации (по крайней мере прапорщики и сержанты-сверхсрочники) не знают дороги в «вольную» парикмахерскую. Стричься предпочитают в лагерной парикмахерской. У зека-парикмахера. На халяву, разумеется. С учетом последнего могли бы чаще пользоваться подобными услугами, потому что вид у большинства из них откровенно неопрятен — заросшие шеи, «шалашики» нестриженных волос над ушами и т.д.

В выборе верхней одежды разброс этого самого «выбора» еще больше, чем при выборе шапок. Кто-то щеголяет в коротких ведомственных синих пятнистых куртках с меховыми воротниками, кто-то предпочитает, опять же, пятнистые, но уже зеленые, демисезонного образца без воротника, кто-то не вылезает из форменного темно-синего пальто.

Еще большая неразбериха с обувью: форменные ботинки, гражданские ботинки самых немыслимых фасонов и цветов, кроссовки всяческих моделей и т.д. В большинстве своем обувь неухожена, разбита, просто банально не чищена. Термин «не чищена» нуждается в пояснении. Имеется в виду не та обувь, что утром была добросовестно приведена в порядок с помощью гуталина, щетки, бархотки, а затем в течение времени, затраченного на дорогу к месту работы, запылилась, забрызгалась, запачкалась. Речь идет о той обуви, что неделями не ощущает касания щетки, покрывается плотным налетом пыли, грязи и всего прочего, что позволяет сомневаться в первоначальном цвете.

А еще очень часто неглаженные, то постыдно короткие, то неряшливо длинные, сбивающиеся неприглядной гармошкой на обувь, брюки.

А еще пятна самых разных контуров и оттенков на всей площади обмундирования.

Что за всем этим, господа офицеры? Низкая самодисциплина? Неуважение к своей профессии, своему ведомству? Недостаток общей культуры? Наверное, всего понемногу.

Плюс, вдобавок ко всему, две характерные приметы внешности большинства наших «охранителей и воспитателей» — вечная хроническая небритость и... животы. Яйцевидные, грушеобразные, подобные эллипсу, положенному на ребро, и т.д. Не следят за собой, совсем не следят люди, призванные нас перевоспитывать, быть для нас образцом подражания. И сами не следят за собой, и те, кто стоит над ними, не обращают внимания на свой образ. А может быть, неопрятность и неряшливость заложены в самой сути ведомства, в распоряжении которого мы пребываем?

Перечитал сделанную днем ранее запись, посвященную тем, «кто нас охраняет и воспитывает», покачал головой. Вспомнил и предыдущие свои обращения к этой теме. Испытал... если не угрызение, то неудобство и беспокойство. Все-таки нельзя так — столько людей в одну «корзину», и всех черной краской. Ведь у каждого были свои исключительно личные обстоятельства выбора профессии, трудоустройства, жизненного пути. Стал перебирать в памяти всех тех, кого мы видим почти каждый день, но кто находится по отношению к нам совсем в другом измерении. Вспомнил капитана внутренней службы А. Когда-то он был начальником отряда, арестанты здорово его уважали, считали требовательным, но справедливым. Только что-то не заладилось у него по службе, были какие-то тяжелые разборки с начальством. В итоге — перемещение по служебной линии, не то чтобы вниз, но не вверх, это уж точно. Сейчас его пост — на дверях, что отделяют промзону (промку) от жилой зоны (жилки): сверяет фамилии идущих на работу и с работы, координирует работу контролеров, что осуществляют наш досмотр. Богатырского телосложения мужчина, лицо с правильными чертами, умные глаза. Я не слышал, что бы кто-то из зеков сказал о нем что-то плохое.

Есть еще прапорщик Н. Я соприкасался с ним несколько раз во время длительных «свиданок», когда ко мне приезжали сын и жена, запомнил его корректное поведение, немногословную, но правильную речь, искреннее желание помочь в каких-то бытовых вопросах. Помню его непосредственное одобрительное удивление в отношении моих чисто семейных деталей: «Сын? Только что из армии? В ВДВ служил? Пошел по собственному желанию? Да ну-у-у! ...Молодец! Цветы? Кому? Жене? Правильно! Где рвал? У барака? Какие-то дохлые... Вот там, — он кивнул на окно в сторону пышной клумбы у административного корпуса, — лучше... Хочешь, нарви, а хочешь, я схожу?»

«Добро» на реализацию последнего благородного порыва я не дал, но сцену эту запомнил.

Только доброе, только хорошее могу сказать и в адрес двух женщин, что дежурят на «свиданке», в адрес еще одной представительницы слабого пола из штата лагерной администрации, что занимается ныне (до нее этим занималась полная дура) нашей корреспонденцией (принимает и отправляет). Все равно не густо.

Пять «приличных» людей на весь штат учреждения, в стенах которого содержится полторы тысячи арестантов? Ничтожно мало! Патологически мало! Катастрофически мало! Конечно, я не всех знаю, надо внимательней присматриваться, пристальней изучать людей, призванных нас охранять и воспитывать. Не сомневаюсь, со временем список этот расширится.

Перебрал мини-архив по собственному делу: приговор суда, кассационное определение (тот же приговор, но вынесенный с учетом кассационной жалобы), еще одно судебное постановление, уже по надзорной жалобе, многочисленные жалобы и ходатайства. Что-то внимательно перечитал, что-то пробежал глазами, что-то просто вспомнил во всех

подробностях. Перелистывал бумаги и сделал лично для себя важное открытие: все эти бумаги — не просто бумаги, а документы, содержимое которых из категории «не вырубить» топором. Пропадут бумаги — останутся копии, пропадут копии — останутся электронные версии. Пропадет сразу все — останутся дубликаты копий, которые, слава богу, уже переданы на волю друзьям и родственникам. А в документах этих — Правда. Жесткая и неприглядная. Плохо пахнувшая для тех, кто сажал меня сюда, кто удерживал меня здесь, кто, занимаясь последним, одновременно врал во всех эфирах и аудиториях, что помогает мне в сложившейся ситуации. И не надо быть юристом семи пядей во лбу, не надо обладать адвокатскими способностями, чтобы разобраться в этой ситуации, — достаточно взять в руки документы, бегло просмотреть их, чуть сфокусировав внимание на абзацах с подчеркнутыми предложениями, с пометками на полях. Да, это не папка с листочками, которые очень многим хочется зачислить в «макулатуру», это бомба с механизмом замедленного действия! А механизм уже тикает, а детали механизма сплошь изъедены ржавчиной, того гляди — грохнет! «И полетят клочки по закоулочкам!» Клочки от купленного авторитета, от дутой репутации, от украденного статуса.

Взять того же бывшего моего шефа. Из одного документа в другой переходит его утверждение, что «подсудимому, то есть мне, он никогда не поручал вести переговоры о сотрудничестве с Министерством продовольствия и фирмой “Оптплодимпорт”». Врал, гадина! В материалах моего же дела, копии которого благо уже существуют не в единственном экземпляре, зафиксированы показания руководителя того же «Оптплодимпорта», что звонил шефу незадолго до моего ареста и пытался уточнить нюансы возможного сотрудничества между редакцией и опять же тем самым «Оптплодимпортом» и услышал в ответ, что «все вопросы к Земцову».

Лукавил шеф, да что там лукавил — бессовестно врал и во многих прочих вопросах. Например, утверждал, что переговоры в Министерстве продовольствия я вел по собственной инициативе, никого в известность не поставив. Это что же получается, он в своем доме не хозяин? Никто не мог ни с кем никогда даже заикаться на подобную тему, не получив «добро» от хозяина и главного редактора издания. Врал мой экс-шеф и на многие другие темы. Сам врал и других заставлял врать. В первую очередь редакционного юриста Ларису Борисовну Б., что на всем протяжении моего дела являлась моим адвокатом, именно от нее я услышал вкрадчивые рассуждения: «Шефа лучше нигде не упоминать. Он все равно “соскочит”, по делу группа будет, за групповое большие сроки дают, один останешься — проще вытащить будет»...

Конечно, слова эти нигде не зафиксированы, подтвердить их у меня возможности нет и не будет, но материалы дела остались и никуда они не денутся, а исходя из них — вся моя история в совсем другом свете представляется.

В зоне праздники — совсем не праздники, а вовсе наоборот. В праздники вся лагерная тоска, все пронзительное уныние неволи, вся безнадега, вся серость, все прочие сопутствующие пакости несвободной жизни — сильнее, жестче, острее. Все через край. Все без меры. Короче, все горькое содержимое большой посуды — большими глотками, без закуски, без запивки.

В праздники промка опечатывается. На работу никто не выходит. Соответственно концентрация людей на бараке вдвое больше, чем в будни. Потому в праздники здесь и табачный смрад гуще, и шума больше, и мелькание мрачных казенных роб с ненавистными бирками (фамилия, отряд в прямоугольнике определенного формата) чаще. Соответственно и контролеры чаще в барак наведываются,

и вероятность шмона выше. Логика у администрации известная: если людей на бараке много — значит, есть вероятность употребления наркоты, алкоголя и прочих нарушений, значит, внимание и контроль следует усилить. Да и кто знает, о чем говорит, что обсуждает и замышляет эта мрачная угрюмая масса убийц, наркоманов, грабителей и прочих антиобщественных элементов.

Вот и выходит, что праздники ассоциируются у большинства арестантов не с отдыхом, подарками и прочими радостями, а с мордоротом-прапорщиком, что бесцеремонно роется в твоей тумбочке, бесконечными построениями при любой погоде и... далеко не радужными мыслями, которые именно в праздники особенно настойчиво напоминают о себе, обступают, наваливаются, одолевают.

А мрачных мыслей в любой арестантской голове хватает. У кого на воле старуха-мать хворает, у кого дети без присмотра, того гляди начнут отца по лагерным этапам догонять, у кого жена слабость на передок проявила (дружки-добродетели уже сообщили, для чего ж мобильные телефоны в нашу жизнь вошли?). А у кого-то просто закурить-заварить нет и на ближайшее время совсем не предвидится. Кто-то просто поймал себя на мысли, что жизнь между локалкой и промкой совсем не жизнь, но другой жизни не предвидится надолго, у кого на три, у кого на пять ближайших лет (а что сказать про зека-тяжеловеса, что десять—пятнадцать—двадцать лет срока с собой принес?). Понятно, накрывают такие мысли похлеще черного пудового колпака, гнут, плющат, давят.

Очень важно не дать сконцентрироваться этим мыслям в твоём сознании, не пустить их в душу. Рецепт противостоянию этому прост: стараться не оставаться одному, максимально занять себя. Но оставаться одному в бараке на сто пятьдесят человек, где на каждого обитателя приходится благодаря впритык поставленным двухэтажным шконкам менее квадратного метра жилплощади, — невоз-

можно. Занять себя — это проще и ближе. Понимаю тех, кто именно в праздники затевает глобальные постирушки, кто сознательно до праздников откладывает перетягивание своей койки, ремонт телогрейки («телаги» по-лагерному), написание надзорной жалобы и прочие нехитрые, но обязательные арестантские заботы.

Только праздник празднику — рознь, одно дело новые, только что придуманные «звездочетами» при власти праздники (уверен, ни одного из них нынешний среднестатистический арестант не назовет, не вспомнит). Другое дело старые, проверенные временем, вечные праздники. Впрочем, почему «праздники»? Такой вечный праздник только один — Новый год. Тут и детство аукнется, и семья вспоминается (у кого она есть, конечно), и вечные наивные человеческие надежды, трепетные пожелания, будто в новом году щелкнет невидимый тумблер и многое к лучшему изменится...

Этот Новый год для меня уже четвертый в неволе. Два — в московских СИЗО справлял, один — в прежнем месте нахождения — Березовском лагере. Каждый в деталях помню, хотя помнить там и нечего — убогое застолье с цифирем, невеселые арестантские разговоры, да еще более невеселые собственные мысли на этом фоне. Смею надеяться, имею все шансы надеяться, что этот год для меня может стать годом обретения свободы. И никому не позволю трогать грязными лапами эту надежду. Но это уже очень личное...

В прошлом 2010-й! Здравствуй 2011-й! Еще одни мой арестантский Новый год. Местные приметы праздника: свет разрешили не выключать до часу ночи (в обычные дни отбой в десять вечера), в КВР-ке (комната воспитательной работы) стол для всех желающих «порядочных». Угощение (яблоки, печенья, конфеты, чай и т.д.) с «общего». Звали! Не пошел! Говорят, что содержимое столов было сметено в счи-

таные минуты. Оставалось что-то сладкое, то ли куски пирогов, то ли ломтики торта, что потом раздавали по бараку.

А мое личное отношение к «общему» за последнее время радикально изменилось. Никаких взносов, никаких перечислений, никаких телефонных карт! Мотивирую: «нет возможности». Грешен, лукавлю. Возможность в принципе есть, но я уже решительно не верю, что все вносимое и перечисляемое распределяется, действительно, в пользу нуждающихся, в пользу неимущих. С какой стати, например, буду я просить моих близких покупать телефонную карточку, если знаю, что ближайший ко мне хранитель общаковой «трубы» ночи напролет занимается пустым трепом («гоняет порожняк») со своими многочисленными подружками: живописует, какой он крутой, рассказывает, по какому серьезному делу сел, клянчит бандероль с сигаретами и т.д. Тем не менее с каждой получаемой с воли посылки и сигареты, и чай, и что-то к чаю на общие нужды я выделяю. О дальнейшей судьбе того, что выделяю, — стараюсь не думать. Редко отказываю и тем, кто обращается ко мне за «насущным» в личном порядке. Словом, к «общему» отношусь очень лично.

А в эту новогоднюю ночь я пил чай с соседями по проходняку. Накануне приготовил к этому чаю самим же придуманное блюдо — что-то среднее между суфле, фруктовым салатом, пирогом, мороженым и т.д. Бесконечно вольная импровизация на тему сладкого десерта. Рецепт прост. Технология несложная. Одно яблоко режется очень мелкими кусочками, и так же мелко режутся один апельсин и один лимон. Последние фрукты (внимание!) режутся вместе с кожурой: с одной стороны, экономия, напоминание об арестантской нищете, с другой — бережное отношение к витаминам и неповторимый привкус, эдакая пикантная горчинка от кожуры цитрусовых. Нарезанные фрукты перемешиваются с хорошей столовой ложкой меда. Туда же добавляется очень мелко порезанный изюм, чернослив,

курага, орехи (все равно какие: миндаль, фисташки, грецкие и т.д.), полученная масса заливается сгущенным молоком и посыпается тертым шоколадом, несколько часов держится в помещении для лучшего взаимопроникновения ингредиентов, а потом выставляется в холод. Можно за окно, можно в морозилку холодильника, если, разумеется, холодильник не находится в арестантском бараке, в этом случае даже не дозревшее экзотическое блюдо непременно сопрут — уж больно заманчиво смотрится.

Вкусно! Полезно! А еще — просто сытно, столовая ложка подобной смеси с чашкой крепкого чая гарантирует сытость при отсутствии даже намека на тяжесть в желудке. Угощал соседей по проходняку. Кто-то хвалил и пытался определить компоненты (кстати, полного состава не вычислил никто), кто-то ел молча и радовал немалым аппетитом (на здоровье!).

Узбек Эркин (точнее, как он сам говорит в соответствии с особенностями хорезмского диалекта — Эрка) высказал твердую уверенность, что это особая еда, кондитерско-фабричного производства, купленная в магазине, которую мне прислали из Москвы в посылке. Кстати, узбек Эркин успел отведать только одну ложку моего сладкого «ноухау». Потом его... развезло, «накрыло», «заштормило». С невероятным трудом, срываясь, бормоча узбекские проклятия, он забрался на свою «пальму» («пальма» — верхний этаж двухъярусной арестантской койки), плюхнулся, не раздеваясь, и долго лежал, стреляя по сторонам влажными, блестящими глазами без зрачков, мурлыкая что-то заунывное. Странное его поведение вполне объяснимо — перед чаем курнул гашиша. Кто-то расщедрился, угостил вечно неимущего, полностью лишённого всякого «грева» с воли узбека. Вот и для него, наркомана со стажем, севшего по популярной «народной» 228-й статье (статья 228 УК РФ — «незаконное приобретение, хранение и т.д. наркотических средств»), — праздник.

А я, глядя на стремительно пустеющую чашку с десертом, подумал: «Будет ли на воле желание приготовить подобное, сочту ли нужным угощать арестантским изыском друзей и родственников? Или предпочту перечеркнуть в памяти подобные рецепты жирным крестом, чтобы не вспоминать, не бередить?» Время покажет...

Очередная крамольная, скорее даже преступная, с учетом ценностей, исповедуемых в окружающей меня ныне среде, мысль: «Верно, немалая часть людей попала сюда по беспределу, с нарушением действующих у нас в государстве законов, благодаря нехорошим мусорам, подтасовавшим факты, сфабриковавшим обвинение и т.д. Однако при этом, с точки зрения высшей справедливости, эти самые мусора (следователи, прокуроры, судьи и т.д.) нередко действовали, как благодетели государства, санитары общества. Нарушая закон и собственные полномочия, они брали грех на душу, совершали Зло, но при этом освобождали общество, всех граждан этого общества от Зла, куда более масштабного, более серьезного. Лишая потенциальных преступников свободы (пусть на сомнительном, а то и просто надуманном основании) и пряча их за «колючку» за несовершенное преступление, они тем самым не давали совершить им еще более серьезных преступлений, многих серьезных преступлений...» Посадили Васю Н. за чужого «жмура» (покойник, жертва преступления) на восемь лет — верно, нехорошо, но если бы гулял он эти восемь лет на воле, то убивал бы, скорее всего, каждые два года, и кто знает, на каком этапе подобного жуткого конвейера щелкнули бы на его запястьях наручники?

Малое Зло, во избежание Зла более масштабного, малый Беспредел, вместо Беспредела глобального? Страшные рецепты, нездоровые рецепты лечения больного общества, да и где взять весы, линейку, циркуль для измерения объемов этого самого Зла, этого самого Беспредела?

Опасная философия, следуя которой прямым путем можно «дотопать» до откровенно человеконенавистнических идей (по тестам, по соотношению линий лица и так далее выделять убийц и прочих преступников среди нормальных людей, изолировать их, а то и просто освободиться от них). Очень нехорошо папахивает от такой методики. Сомнительная логика. Гнать надо такие мысли, выдерживать с корнем из сознания. Надо, следует, необходимо. А куда деваться от тех, кого вижу не то что каждый день, ежеминутно перед собою? Тех, кто не способен приносить пользу, не приучен работать, не может различать свое и чужое, не ценит человеческую жизнь? Как поступать с ними? Лечить их записями классической музыки, чтением вслух Шекспира и Пушкина, приобщать к ухаживанию за цветами? Сомневаюсь я в эффективности подобной терапии. Значит, опять к мыслям о вольерах, стойлах за «колючкой», зонах «во благо»? Стыдно и жутко от своих мыслей по этому поводу. Никому, кроме собственного дневника, прочитать который чужому человеку невозможно, я их не доверял. А при этом почти каждый день слышу рядом откровения типа излияний моего соседа Саши Морячка: «Да, отправил сожительницу-шлюху на тот свет... Грех, понятно... Она мне потом года два снилась, но пил я тогда жутко, до потери памяти, неделями себя не ощущал, не контролировал — не сел бы за нее, в другую беду вляпался, что-то еще более серьезное совершил бы...»

Что-то очень похожее и от другого соседа Кости Боцмана слышал: «Ну, было... Пили впятером, отключились, проснулись — один из нас мертвый, голова пробита... Я точно знаю, что не убивал, я раньше всех тогда отключился, потому что с утра на градусе уже был, вот только труп мусора на всех разделили — кому восемь, кому десять, сел, короче... а не сел бы, все равно что-то нехорошее стряслось бы, потому что вся жизнь тогда наперекосяк пошла, последняя жена квартиру у меня отобрала, я на улице остался, по-

тому и пил, не просыхал, ни о какой работе и речи не было, ничего бы хорошего не случилось...»

Впрочем, повторяю — опасная это тема, да и не мне в нынешнем моем положении ломать над ней голову.

Отношение к наркобарыгам в зоне (т.е. к тем, кто попал сюда за распространение и сбыт наркотиков) — классический пример политики двойных стандартов. С одной стороны наркобарыга — неуважаемая, презираемая разновидность арестантов. Попадающий на зону барыга вряд ли может рассчитывать на хорошее место в бараке, не много найдется желающих семейничать с ним, могут с него и попросту «спросить» за прежние занятия нехорошим промыслом. И основания для всего этого самые серьезные — ведь на воле он наживался на чужой беде, распространял отраву, сокращал людям жизнь. Грешник, преступник, словом, «враг народа».

Однако вектор отношения к наркобарыге круто меняется, если тот делает крупный взнос на «общее», что еще более желательно — организует доставку в зону «лекарства», т.е. наркотиков. Разумеется, и для этого находится своя, незыблемая аргументация. Человек, мол, помогает страдающим (в данном случае арестантам-наркоманам), значит, делает добро, приносит пользу. Вот и оказывается, что в одной зоне сидят два человека за совершенно одинаковые, в идеале, мягко сказать, неуважаемые дела, но одному — «респект и уважуха»: он пьет чай с членами «блаткомитета», на короткой ноге со «смотрящим», другому — недоверие и презрение.

Сталкиваясь с подобными проявлениями политики двойных стандартов — вспоминаешь чеканные строки воровских «прогонов», некогда читанные в Бутырской тюрьме, в которых жестко предписывалось даже рядовых наркоманов ни в коем случае не подпускать к «общим мо-

ментам», включая даже элементарное дежурство на тюремной «дороге» — веревочной связи между камерами по внешним сторонам тюремных стен. Повторяю, это по отношению к рядовым потребителям наркотиков! Распространители и производители «отравы», понятно, требовали согласно этим программным документам куда более строгого, принципиального отношения.

Задумываешься над всем этим и... уже ничему вокруг себя не удивляешься, разве что понимаешь, насколько актуальны в нынешней обстановке звериный инстинкт самосохранения, первобытное чутье опасности, подаренная предками способность путать следы и уходить от беды.

В книге по восточной философии обратил внимание на пространные тезисы о непременном возвращении человеку в увеличенном объеме зла, которое он кому-то причинил, о неотвратимости наказания за любую сотворенную подлость, о неминуемом Высшем суде. Правильные слова! Мудрые и истинные! Вечно актуальные темы для человека разумного, независимо от того, в какую эпоху он живет и какую религию он исповедует.

Не мог не вспомнить в очередной раз в связи с этим историю (в деталях) собственной посадки, людей (поименно), имевших к этому отношение.

Разумеется, всплыла здесь и фигура моего бывшего шефа, владельца и главного редактора «Свободной газеты», как же я раньше не разглядел в этом человеке законченную сволочь? Ведь каждая деталь даже его внешности (маленькие хитрые глазки, голос матерого педофила, мерзкое брюхо, вечная неопрятность, независимо от стоимости нанизанных на его желеподобное тело тряпок) напоминала об этом.

Понятно, что сейчас он абсолютно уверен, что в той ситуации, что стряслась (точнее, была инициирована не без его участия) со мной осенью 2007 года, все шито-крыто. С кем

надо, он договорился, кого надо — купил. Страсти улеглись. Про путаный конфликт между Министерством продовольствия и редакцией «Свободной газеты» уже никто не вспоминает. Я — на строгом режиме на 1000 с лишним километров от Москвы. Он — в «шоколаде» в самом центре этой самой Москвы. Болтается по гламурным тусовкам, талдычит «за собственные же деньги» прописные истины в эфире радиостанции «Столичный резонанс», словом, жирует.

При этом, не сомневаясь, он нагло уверен, что подобный порядок всерьез и навсегда. Опрометчивая уверенность. Возмездие, «момент истины» приходят к подлецам всегда с той стороны, откуда их меньше всего ждут. И в тот час, когда к их приходу они меньше всего готовы.

Судя по былым откровениям моего экс-шефа, предмет его извечной гордости — его «тыл», его семья, прежде всего его дети: красивая Василиса, смышленный Николай. О последних он говорит всегда с придыханием, с трепетом, с нежностью. Кто знает, возможно, именно кто-то из них спустя пару-тройку лет вдруг в самый неподходящий момент поинтересуется у отца: «Слушай, а что там, у тебя в редакции за история приключилась с твоим замом в 2007 году?..»

Конечно, вопрос не застанет подлеца врасплох. Вкрадчивым голосом начнет он пересказывать сляпанную не без его участия, липкую от вранья официальную версию причин и обстоятельств моей посадки. И вдруг случится так, что к тому времени повзрослевшие и поумневшие дети, к тому же, возможно, и полиставшие официальные документы, те же материалы моего дела, которые существуют и в печатном и в электронном виде и будут существовать вечно... В ответ посерьезнеют и жестко осадят сладкоголового папашу: «Нет, ты что-то не то говоришь, тогда там все совсем по-другому было...»

Хватит ли в этот момент воздуха, что бы вздохнуть моему экс-начальнику, ощутит ли он тысячу булавок в кресле, на котором будет в тот момент восседать?

Ах, как я расфантазировался, однако! Похоже, забыл народную мудрость, про яблочки, что, как правило, падают совсем недалеко от яблоньки, про законы природы, про наследственность, про треклятые гены. Куда вероятней, что, вскормленные жирными харчами папаши-подлеца, дети вместе с этими харчами усвоят и всю систему его ценностей. Тогда, понятно, и эпизод с моей посадкой осенью 2007 года будет оценен ими, как пример проявления папиных недюжинных способностей, чуть ли не доблесть его, станет предметом семейной гордости.

Впрочем, довольно прогнозов. Как будут развиваться события на самом деле — покажет время. У всякой Истины, у всякой Правды есть свой запас пробивных сил, свой боевой потенциал. Да и я сам сидеть сложа руки не намерен!

Философски-диалектическое осмысление особенностей места моего нынешнего обитания продолжается. В структуре, в устройстве, в деталях организации жизни зоны учтено все, что необходимо человеку в минимальных дозах, достаточных для поддержания минимальной жизнедеятельности: еда, сон, движение, санитарные услуги, общение с внешним миром (через официально разрешенный телевизор, через неразрешенные, но широко распространенные мобильники). По большому счету, у находящегося (отбывающего свой срок), здесь человека есть все, кроме... свободы. Даже возможность к размножению (в ограниченной форме через официальные и полуофициальные, купленные свидания с женами, «неженами» и т.д.). Чем не усеченная миниатюрная модель грядущего постиндустриального общества, в котором иные наивные люди видят венец развития прогресса?

Есть еда (жри, чтобы не протянул ноги, чтобы работал). Есть возможность спать (спи, чтобы восстанавливать силы) для той же самой работы. Есть баня (мойся, чтобы

не вонял и тем самым не отвлекал от работы и себя самого, и прочих мытых, тебе подобных). Есть телевизор, наконец (это для общей разрядки обстановки), будешь пялиться до одурения на полуголых девок, шикарные машины и яхты, отдых на Карибах, и со временем на уровне подсознания начнешь верить, будто эти компоненты красивой жизни отчасти принадлежат тебе, что ты сам являешься частью этой самой чужой красивой жизни. Ядовитый коктейль из дебильных сказок и зомбирующих картинок — смотри, чтобы ни о чем прочем не задумывался, чтобы не сомневался, не анализировал, не думал.

Хвостик последней фразы, похоже, — ключ для понимания сути зоны, сути этого самого наступающего, смрадно дышащего в лицо «постиндустриального» общества. Чтобы не задумывался, не думал... Потому здесь такая скудная библиотека (все новые, все умные книги — исключительно «пожертвования» самих арестантов). Потому зона не получает газет (единственную подшивку «Российской газеты» я видел в кабинете начальника колонии, не уверен, что сам он ее регулярно хотя бы просматривает. Потому ни на одном отряде никогда не было, нет и вряд ли когда будет место, где бы арестант мог читать и писать, т.е. развиваться, расти духовно. Словом, делай что хочешь (ешь, спи, играй в карты, смотри зомбо-ящик и т.д.), только не занимайся внутренней работой, не старайся быть умнее. Последняя особенность организации нашего пребывания в зоне доведена то ли до совершенства, то ли до абсурда. Читать и писать можно только лежа на койке, при гадком, убивающем зрение освещении. Уверен, и слабая мощность лампочек и вечный их дефицит — факторы сознательно и тщательно организованные, чтобы меньше читали, чтобы меньше писали, чтобы меньше думали.

Кстати, в той же Березовке (видно, сказывается близость к областному центру, общий, более высокий уровень цивилизации) с этим было чуть лучше. По крайней мере,

при библиотеке был читальный зал, где при нормальном освещении, в тишине (плюс ухоженные цветы на окнах) арестанты могли писать (те же самые свои бесконечные «надзорки», могли читать (была там и подшивка той же самой «Российской газеты», пусть с вырванными, пусть с местами изрезанными страницами). А здесь...

Порою доходит до грустно-смешного: чтобы написать письмо или сделать очередную запись в дневнике, приходится выходить в «локалку» (окруженный решетками, забетонированный крошечный «пяточок» перед баракom). И заниматься этим, примостив на коленях бумагу и все необходимое. Неудобно, зато светло. Много лишних наглых глаз (и «стукачи» всех видов, и просто любопытные), зато все-таки не лежа.

Словом, убеждаюсь в очередной раз: система, в недрах которой я в настоящее время нахожусь, в чьих руках (или жерновах) находится нынче моя судьба, полностью исключает духовное, умственное, любое внутреннее развитие человека. Мыслящий зек — фигура нежелательная, опасная, враждебная для системы. И в этом, похоже, ее сама суть, ее главный принцип.

Новость для системы, которую уже знаешь изнутри, вполне естественная, закономерная, обыденная. А вот с точки зрения здравого смысла — эта новость — все равно удивительная, нелогичная, ошеломляющая. Лагерный библиотечарь Игорь Владимирович Н. (давно перешагнувший семидесятилетие, светлая голова российского военно-промышленного комплекса, автор многих изобретений в области радиолокации, радиоперехвата и прочих оборонных «штучек», лауреат многих государственных премий, кавалер многих государственных наград), угодивший сюда, в чем он абсолютно уверен, в результате интриг конкурентов — торговцев оружием, стал собирать документы на помилование и... получил отказ от администрации зоны.

Не понятно? Дело в том, что согласно существующему в нашей стране законодательству арестант, просящий помилование, должен, прежде всего, заручиться поддержкой администрации колонии, в которой он находится. Таков порядок. Вот и обратился «государственный человек», один из творцов противоракетной обороны Отечества, за поддержкой к начальству зоны. И... получил отказ, услышал тяжелую, как жабий прыжок, формулировку: «Нецелесообразно». Вот это уже более чем удивительно! Судьбу человека, почти шестьдесят лет прослужившего Отечеству, сделавшего немало для этого самого Отечества, решали люди, люди, для этого самого Отечества, вместе со всеми своими ближайшими родственниками, не наработавшие и одного процента от того, что сделал этот человек! Судьбу государственного человека решали пузатые недоумки-крохоборы. Для последних даже слово «коррупция» звучит слишком интеллигентно. Ибо погрязли они в мелких подачках, поборах и маломасштабных интригах и подлостях. Им, оказывается, из-за «колючки» в зоне в Свиноушках, где с арестантских сортиров сплошь и рядом сорваны двери, где не хватает лампочек, где не получают ни одной газеты, «виднее», достоин ли этот человек помилования или нет!

Сам «виновник торжества» искренне недоумевает, как могло родиться такое решение. Ему и в голову не приходит, что подобное решение имеет свою цену, по «прейскуранту услуг для осужденных», что за это решение («целесообразно-нецелесообразно») надо было просто заплатить. И еще более удивительное, более омерзительное: накануне он имел аудиенцию у начальника колонии, беседовал с ним о всех возможных перспективах своего будущего, и тот подытожил встречу: «Как полковник — полковника, понимаю вас, постараюсь сделать все необходимое...»

Конечно, опять напрашиваются, да что там напрашиваются, лезут изо всех щелей параллели из недавнего нашего российского прошлого, из «ужасного» сталинско-бериевско-

гулаговского периода истории. Так вот, в то «ужасное» время человек ранга Игоря Владимировича Н., попавший в аналогичную ситуацию, почти всегда получал в неволе возможность продолжить работу, начатую на свободе, направлялся в одну из шарашек, где к его услугам предоставлялись и квалифицированные помощники, и соответствующее оборудование, и дополнительный паек, и все прочее необходимое. А ясная голова военно-промышленного комплекса Игорь Владимирович Н. отсиживает свой срок в библиотеке, где выдает ээкам книги, подклеивает корешки и обложки да чертит в заветной тетрадочке схему своих новых изобретений. Слава богу, не оказался на промке. Впрочем, об этом я уже, кажется, писал. Выходит, «ужасный тоталитарный» ГУЛАГ в чем-то куда совершенней, чем нынешний его демократический преемник.

Лагерное радио будит нас по утрам отвратительной записью (со скрипом и треском) гимна (вот оно, неуважение к одному из главных государственных символов!), назойливо призывает делать зарядку (путем трансляции не менее затертой, сделанной еще в советское время, записи утренней гимнастики). И служит посредником в оперативной связи между нами, арестантами, и администрацией зоны («Осужденный Петров, занять рабочее место», «Осужденный Иванов прибыть на КПП» и т.д.). А еще некоторые изобретательные, наделенные чувством юмора представители администрации используют это радио в самом неожиданном качестве. Порою, в самых последних числах месяца, в лагерном эфире раздается обращение: «Господа фуфлыжники, просьба не беспокоить дежурного...»

И смех и грех! Дело в том, что по существующим здесь правилам все «игровые» (играющие на интерес, то есть на деньги, в карты и прочие азартные игры) обязаны за не-

сколько дней до окончания месяца непременно рассчитаться по всем долгам, в крайнем случае, в порядке исключения «обосновать» (объяснить, аргументировать) отсрочку их выплаты. Разумеется, не у всех это получается. Вот и бегут в конце месяца иные проигравшиеся (т.е. фуфлыжники) к дежурному, слезно просят помощи, просят закрыть «под крышу», в свободные транзитные камеры, словом, любым образом спасти от «кредиторов».

Верно, карты в зоне запрещены. Игра в них, равно как и изготовление, хранение относится к разряду нарушений, но одержимым страстью играть, по большому счету, все равно во что играть, лишь бы играть, лишь бы на интерес. Нет под рукой запрещенных карт, будут играть в «тысячу» (разновидность игры в кости), кажется, даже и не запрещенную. А еще существуют шахматы и нарды, вовсе не запрещенные, игра в которые считается вполне культурным времяпровождением, но на которые также можно играть на интерес, под деньги, также выигрывать и проигрывать немалые суммы (в качестве денежного эквивалента на зоне почти всегда выступают сигареты с фильтром). Почему карты — азартная игра, а те же шахматы, нарды, домино вовсе не азартные? Кто определял? Чем при этом руководствовался?

Вопрос, связанный с азартными играми, все вопросы, что касаются судеб «игровых», — вовсе не простые вопросы. Зачастую они прорастают серьезными проблемами не только для арестантов, но и для администрации. На той же Березовке аккурат в самом начале моего пребывания там, на соседнем отряде повесился Андрюха Барабан, парнишка чуть старше двадцати лет, проигравшийся в пух и прах. Трагедия и беда для родных и близких! ЧП с невероятными хлопотами для чиновников!

С древнейших времен известно, что страсть к игре на интерес — серьезный, заразный, парализующий волю и разум человека недуг. Разве у нынешней российской тю-

ремной системы есть лекарство от него? Разве изобретенны особые методики работы с «игровыми», направленные не на то, чтобы «запрещать и наказывать», а «помогать, способствовать, избавлять»? Вопросы, увы, чисто риторические. Похоже, и на воле-то никто всерьез не занимается проблемой избавления от игровой зависимости. А принцип «где тюрьма, там и карты», похоже, вечен для отечественной тюремной системы.

Кстати, не знаю, как в других лагерях, а здесь, в Свиноушках, контролеры частенько коротают дежурство за картами (порою теми же самыми, что изымают у арестантов в ходе шмонов) и играют, разумеется, не на спички и щелбаны, а на что-то более существенное. Но их за это занятие никто не наказывает, не закрывает в изолятор. Значит им — можно! Очередной пример двойного стандарта.

Тюремный жаргон, уголовное арго — уникальное явление. Уникальное с точки зрения лингвистики, с точки зрения социологии и прочих наук. Многие слова и термины «фени» — образцы сверхточного попадания слова в цель, есть примеры едкого юмора, чуткой наблюдательности, даже поэтической образности. Некоторые обороты имеют немало синонимов. Например, о человеке, обнаруживающем в поведении странности, точнее признаки умственного расстройства, говорят: у него «бак потек», «бак засвистел», «крышу сорвало», «крышняк поехал», «крыша в дороге», «гуси полетели». Те же самые «гуси» уже более логично использованы в образовании другого перла «фени». Тремя гусями называют 222 статью УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» — очень распространенная статья, хотя бы потому, что очень часто у людей, по-

дозреваемых в совершении других преступлений, неожиданно «находят» патроны или что-то еще попадающее под эти самые «три гуся»).

Услышав впервые это словосочетание — не понял, о чем идет речь. Потом дошло: «три гуся» — три двойки. По графическому очертанию каждая двойка — «гусь», выгнутая шея, приподнятый хвост. Был готов «снять шляпу» перед автором неожиданного образа, за изобретательность и тонкое чувство родного языка.

Еще один пример точности уголовного аргю: о человеке, желающем спрятаться, затаиться, переждать что-то опасное, нежелательное, скажут — «засухарился». И здесь попадание в яблочко, и здесь стопроцентное ощущение сути понятия.

Особый глубинный, цепко схваченный безымянным автором смысл заключен в глаголе «кубатурить», то есть «осмысливать, переваривать, анализировать». Любопытны и многие прочие слова из лагерного разговорника. Так, арестантские ботинки называют «коцами» (действительно, их, похоже, пластмассовые подошвы издают соответствующий звук, соприкасаясь в морозный день с бетонной и асфальтовой поверхностью лагерной территории). Ложка имеет характерный синоним — «весло» (иные мои соседи, отличающиеся недюжинным аппетитом, действуют этим прибором так же интенсивно, как орудует веслом олимпийский чемпион по гребле).

На фоне этих очень личных и очень образных терминов нередко употребляются слова, происхождение которых совершенно непонятно, с какого боку ни подходи. Почему, скажем, большая чайная кружка называется «фанычем», откуда взялось слово «лепень» (под ним понимается куртка-китель тюремного костюма-робы), с какой стати фабричное пластмассовое ведрышко из-под майонеза, традиционно приспособляемое арестантами для чайных церемоний, именуется «КамАЗом» и т.д.?

Если бы мое сердце (а с ним и все свободное время) не было отдано дневнику (точнее, будущей книге) — непременно занялся бы скрупулезным составлением словаря современного лагерного языка.

Телевизор по-прежнему не смотрю. И в комнату, где он находится (комната так называемой воспитательной работы), стараюсь не заходить. По тем же, кажется, уже ранее описанным причинам. Тем не менее вчера вечером краем глаза успел почти на лету поймать обрывок репортажа-отчета о деятельности отечественных правозащитников. Речь шла о каком-то то ли совете, то ли комитете, связанном как раз с проблемами нашего брата — арестанта. Структура эта, как следовало из текста репортажа, давно и чуть ли не очень эффективно действует! Мелькали на экране работники этого то ли совета, то ли комитета: почему-то очень часто бородатые, очкастые, носатые и сытые дяденьки, что-то бодро тараторившие о какой-то проделанной работе.

И ладно бы если представляли они полуобщественную-полукустарную организацию. Нет, речь шла о серьезной структуре, завязанной на самых больших государственных мужей, на самые главные властные органы.

Услышал этот фрагмент репортажа — сплюнул и... выругался словами, которыми здесь вроде бы как давно собирался не ругаться. Ведь врут, нагло врут очкастые, врут бородатые, врут носатые... Никто из этих людей для нашего брата палец о палец не ударил. Потому что главным, да, пожалуй, и единственным критерием работы любого совета-комитета, любой комиссии, любого фонда, что связаны с арестантскими проблемами, может быть только одно — реальная помощь реальным людям в решении этих самых проблем. А какой толк от этих бородатых-очкастых-носатых? Бесконечные сидения во всяческих

президиумах, мелькания по телеэфирам, заседания с последующими банкетами, частые и вожделенные заграникомандировки якобы для изучения прогрессивного опыта, то за счет многострадального государства, то за счет принимающей стороны?

За время нахождения в московских следственных изоляторах я сменил не одну общую «хату» (число обитателей которой превышало порой тридцать человек). А сколько арестантов (прошлых, отсидевших зачастую почти по две трети своей жизни, и будущих) были моими собеседниками в камерах — «сборках» и «транзитках», в автозаках, на которых возили в суд, в «стольпине», в котором я ехал по этапу? По самым-самым приблизительным прикидкам, таких людей было более тысячи. А плюс полторы тысячи арестантов в Березовке — моем первом лагере? Плюс почти столько же сидельцев моего второго, надеюсь, последнего лагеря.

Выходило, так или иначе, близко или косвенно соприкоснулся я за время своего срока с несколькими тысячами судеб российских арестантов. И не было среди них ни одного, кому бы эти бородатые-очкастые-носатые-сытые «правозащитнички» хотя бы чем-нибудь конкретно помогли. Более того, я даже не слышал, чтобы кто-то из арестантов слышал в свою очередь за время своих тюремно-лагерных скитаний о тех, для кого бы эти члены советов-комитетов выхлопотали бесплатного адвоката, например, добились пересмотра приговора, снижения срока, изменения условий содержания и т.д. Похоже, что таких «счастливчиков» вовсе не существует. Зато правозащитные структуры — всякие там советы-комитеты, фонды-комиссии существуют. Да еще как существуют! Процветают! Жируют! Никого результаты их деятельности не смущают! Всех устраивает такое положение. Еще один пункт в перечне недугов нашего государства. Еще одна примета неизлечимо больного общества.

Не устаю удивляться, насколько точно и остроумно соответствуют некоторые слова и выражения из тюремно-лагерного лексикона сути предметов и явлений. Кто бы мог подумать, что разновидность сала, в котором жир неоднократно чередуется с мясной прослойкой, называется... «адидас»? Услышал первый раз и хмыкнул почти с пренебрежением: ну какая связь может быть между продуктом (столь драгоценным и желанным в этих местах) питания и знаменитой фирмой, производящей спорттовары? Чуть задумался, вспомнил эмблему этой фирмы, и... стало неудобно перед самим собой. За недогадливость, за нерасторопность собственных мозгов.

Иногда подобные слова несут в себе и немалый социальный смысл. Например, статья 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт, нарушение правил оборота и т.д. наркотических средств) уже не первый год «кодируется» прилагательным «народная». Как много смысла уместилось в одном слове! Тут и глобальные масштабы повального бедствия, имеющего, несомненно, политические и экономические причины, и отголоски динамики лагерной статистики (ныне за это преступление отбывает наказание куда больший процент арестантов, чем раньше), и намек на излюбленный приемчик недобросовестных следователей, оперативников и прочих представителей лагеря «сажающих» на всех необъятных просторах Отечества — чуть что не ладится с доказательствами вины подозреваемого или просто надо кого-то «закрыть», посадить — в деле непременно появляются признаки «народной» статьи: коробочки с марихуаной, героиновые дозы и т.д.

Что-то похожее на последний «сюжет» испытал на собственной шкуре. В свое время при обыске у меня «обнаружилось» аж девять граммов марихуаны! У меня, человека, который с учетом возраста и социального положения, при наличии порочной склонности к употребле-

нию наркотических веществ (если бы таковая имелась) логичнее было бы «обнаружить» не «подростковую дурь», а что-то куда более серьезное. Любопытно, что пакетик со злополучной марихуаной, якобы обнаруженный во время обыска в моей квартире, был отправлен на экспертизу в какой-то сверхважный, сверхспециальный милицейский институт в Петербург. Пришедший оттуда ответ (он есть в моем уголовном деле, лично читал, когда с этим делом знакомился накануне суда) ясно гласил, что отпечатков моих пальцев на этом пакетике нет, более того, на этом самом пакетике вообще отсутствовали какие-либо отпечатки пальцев! Увы, исчерпывающий ответ экспертизы не смутил ни следствие, ни суд. Нелепое обвинение было снято только судом следующей инстанции, который разбирает мою кассационную жалобу. Разумеется, ни объяснений (хотя каких-либо, не говоря уже о вразумительных с указанием виновных и т.д.), ни тем более извинений по этому поводу я так ни от кого и не услышал. Как и почему в моей квартире оказался тот злополучный пакетик с «дурью», догадаться несложно. Вернусь к этому вопросу позднее, уже на воле, когда буду заниматься вопросом своей окончательной реабилитации.

Чтобы понять, оценить, удивиться, что такое наша зона и каково здесь отношение к арестанту, вовсе не обязательно обходить все бараки, беседовать с арестантами, читать отчеты администрации. Достаточно зайти в лагерную библиотеку, внимательно осмотреться, раскрыть несколько, наугад взятых книг. И великие аналитические способности для этого вовсе не обязательны. В принципе впечатления от всего увиденного здесь — очередная иллюстрация к выводам, сделанным еще в первые недели пребывания в этом лагере. Новые иллюстрации к старым выводам. Иллюстрации — яркие, выводы — мрачные.

В библиотеке бываю как минимум раз в неделю, с удовольствием роюсь в книгах (большинство из них не имеют своего места на стеллажах, а лежат на подоконниках и просто в кучах на полу). Без преувеличения могу сказать: с содержанием (возможно, точнее, с содержимым) библиотеки знаком хорошо и могу лично свидетельствовать, что это библиотека минимум лет пятнадцать новых книг не получала. Конечно, новые книги здесь есть, их даже немало, но все эти книги — исключительно «пожертвования» самих арестантов. Почему не обновляются фонды? Уверен, ответ на этот вопрос лежит в той же плоскости, где ответы на вопросы, почему лагерь не получает газет, почему в бараках нет условий, чтобы читать и писать. И за всем этим один главный тезис. Тезис-приговор: не нужны ни лагерю, ни системе, частью которой этот лагерь является, мыслящие и развивающиеся арестанты! Надо трижды благодарить судьбу, что разрешено нам ныне получать с воли «книжные» посылки, что допускается жертвовать личные книги в фонд лагерной библиотеки. В противном случае были бы в ассортименте нашей библиотеки только отечественные классики по школьной программе (конечно, хорошо, но сколько можно!) да книги, что в изобилии рожал советский полиграфический монстр в 60—70-е годы (о преобразовании Нечерноземья, славных ветеранах, трудовых подвигах, где в предисловиях цитаты из материалов съездов КПСС, «свежие» мысли Л.И. Брежнева и т.д.).

Еще штрих к характеристике обстановки в библиотеке. Здесь нет ни единого стула, ни одного стола, т.е. всякий приходящий сюда напрочь лишен возможности сидя писать, сидя читать. Последняя деталь вовсе не относится к категории «пустяков». В Березовской зоне при всех ее проблемах читальный зал имелся и был постоянно полон. Зеки шли туда, как на работу, старались с утра занимать места. Читали, просматривали газеты и журналы. Писа-

ли свои бесконечные прошения во все возможные инстанции. Просто писали письма близким. Я видел там людей, сидевших и просто смотревших часами в окно. Прекрасно понимаю их — они отдыхали от барачной суеты и гвалта. А самым главным было то, что люди, приходившие сюда, учились здесь размышлять, думать, анализировать. По большому счету там действовал стихийный юридический ликбез, арестанты получали первые навыки отстаивания своих прав. Здесь же, в Свинушках, все по-иному. В библиотеке ни одной газеты, ни одного журнала, ни одного места, где можно было бы читать, писать, а главное — думать! Короче, очередной пример подтверждения тезиса: тупой, забитый, не читающий, не думающий арестант — идеал администрации. Если считать зону миниатюрной моделью общества — жутко становится. Короче, пей свой чифирь, до одури стучи костяшками нардов, играй в неразрешенные карты, пялься в разрешенный телевизор — только не тренируй мозгов, не становись умнее, не думай...

Даже представить себе не мог, что трещины на ногах могут доставлять столько неудобств, хлопот, беспокойства. Едва не дополнил этот перечень словом «страданий». Вовремя осекся, «тормознул». Вот она, дисциплинирующая роль дневника! Вот она, фиксирующая функция перспективы будущей книги. Как-то неудобно, даже стыдно, что со временем кто-то узнает, что автор мог «страдать» из-за подобных пустяков. Хотя, это самое последнее слово все-таки более всего соответствует ситуации. Говорят, что особый вид грибка, вечно обитающий в арестантской среде. Из-за него кожа на пятках и прочих участках подошвы становится грубой и шершавой (что-то очень близкое к наждаку) и покрывается глубокими кровоточащими трещинами. Из-за него всякий шаг в каждой трещине

отзывается болью. Поэтому и походка меняется — становится, как шутят здесь те, кто не утратил эту способность, «геморройно-ходульной». В этом и заключается главная новость многих последних, очень похожих друг на друга, дней. Пустяк! Но именно из этих пустяков складывается арестантская, как, впрочем, и всякая человеческая жизнь. Словом, ковыляю... Все равно — вперед, все равно — дальше!

В очередной раз про всех тех, кто призван нас охранять и воспитывать. Где же все-таки тот замечательный инкубатор или удивительный питомник, где выводят, воспитывают, натаскивают тех, кто со временем попадает в зону, но оказывается на противоположной от нас стороне — занимает должности контролеров, отрядников и прочих представителей лагерной администрации. Откуда в этих людях такая концентрация, такой сгусток воинствующего невежества, дикой жестокости, зависти, мстительности, откровенного, как здесь говорят, голимого жлобства?

А иногда кажется, что никаких подобных инкубаторов и питомников не существует, зато существует запрятанный то ли в таежной глуши, то ли в глухом ущелье, то ли в глубоком подземелье примитивный, чуть ли не вручную приводимый в движение станок, на котором медленно вращается гигантская суковатая дубина, и будто какой-то очень недобрый волшебник пилит от этой заготовки столбы в человеческий рост. Затем кто-то из его помощников-поделщиков, таких же злых чародеев, широким долотом и тупым топором несколькими ударами придает этим истуканам отдаленное человеческое подобие. Потом еще кто-то из той же нечистой и недоброй команды одушевляет их или, по крайней мере, наделяет способностью перемещаться по прямой в пространстве, выполнять примитивные распоряжения,

произносить самые простые, в основном матерные, словосочетания.

Далее эти полулюди-полуистуканы обряжаются в форму главного тюремного ведомства, получают соответствующие удостоверения, инструкции, а главное, резиновые дубинки и отправляются в зону в качестве наших нынешних начальников и воспитателей. Оговорюсь в очередной раз, есть в этой массе приличные, даже порядочные люди, о некоторых из них я уже упоминал. Было дело, я даже пытался сосчитать их — увы, пальцев двух рук для этого оказалось слишком много.

Местные тараканы — шустрые, увертливые, энергичные. Эдакий пассионарный тип этих гадких насекомых! Не чета тараканам, что населяли столичный пятый изолятор (откуда начиналась моя арестантская биография) — там преобладали какие-то малоподвижные, флегматичные, невозмутимые (вялый темперамент компенсировался их великим количеством). Справедливости ради отмечу, что в Бутырской тюрьме (второй этап моей арестантской биографии) их не было. Сказать точнее, их не было в тех камерах, где довелось обитать. Оговорка принципиально необходима, ибо в Бутырке я был определен на Большой Спец (камеры на 4—6 человек, чисто, но полная изоляция, жесткий контроль со стороны администрации, отсутствие всякой возможности воспользоваться телефоном) — корпус, где содержались особо опасные преступники. Что же касается общих камер в обычных корпусах — тараканов там было ничуть не меньше, чем в «пятерке».

А у здешних тараканов, кажется, и конструкция тела совсем иная — туловище более заострено, ноги длиннее, усы подвижнее. Еще немного, и... начну с ними разговаривать. Что за этим? Первые грозные признаки над-

вигающегося сумасшествия? Или почти безобидное напоминание о характерном для нормального человека в этих условиях особо остром, особо трепетном ощущении одиночества?

Любопытно, что среди тех, кто объявляет здесь этим насекомым беспощадную войну, — люди, имевшие на воле жилищные бытовые условия, мягко сказать, весьма скромного качества (иные этого жилища не имели вовсе), где те же тараканы были самыми безобидными, самыми незаметными соседями. Будто мстя за былое «мирное сосуществование», в лагере они воюют с тараканами не на жизнь, а на смерть. Насекомых уничтожают с помощью кипятка и горящих бумажных жгутиков, уничтожают во всех возможных щелях и «схронах»; деревянные тумбочки, базовые места их обитания, периодически вытаскиваются на мороз (считается, что тараканы не переносят низких температур).

Кстати, сами «виновники торжества» ко всему комплексу мер, направленных на борьбу с ними, относятся снисходительно. При каждой масштабной атаке насекомые рассредоточиваются на запасных, известных только им, позициях, пережидают там гонения и суету, а спустя какое-то время возвращаются на обжитые места. Невозмутимо и с достоинством! Будто подчеркивая, что хозяева здесь они куда в большей мере, чем мы.

Очередное собрание «порядочных» в КВРке (КВР — комната воспитательной работы). Очередные призывы «не провоцировать» (т.е. полностью выполнять установки и распоряжения администрации) и «уделять» (т.е. скидываться перечислять, покупать и т.д.). Очень хотелось подняться и спросить: «А разве кто-то отменял “прогоны”, в которых роль “мужика” затверждалась главной в иерархии лагерной жизни? Почему никто не вспомнил о “му-

жицких” проблемах?» Не поднялся и не спросил... Сма-лодушничал? Струсил? Рассуждая «со всей пролетарской прямотой» — выходит «да»! Взвесить всю ситуацию в лагере, с поправкой на состояние общества, на тенденции в криминальной среде, на элементарный здравый смысл, — выходит «нет»! Плетью обуха не перешибешь! Со своим уставом в чужой монастырь... И тип Павки Корчагина в российской зоне начала XXI века не просто противоестествен и смешон, но и невозможен! Какие тут принципы, когда возможность занимать шконку в более комфортной секции барака обходится большинству там проживающих в тысячу рублей ежемесячных взносов на «общие нужды»? Когда подготовка к плановому ремонту барака начинается с проработки уже до боли знакомого тезиса «надо уделить, надо скинуться...», и тезис этот обращен к нам, мужикам, чья месячная зарплата на промке в лучшем случае составляет сто рублей?

Кстати, большинству нынешних арестантов, не достигших сорока лет, фамилия Корчагин ничего не говорит, и кто такой Николай Островский, они не знают. Впрочем, это уже совсем иные проблемы...

За время моего нахождения в неволе как-то само собой выработалось отношение к своему организму, своему здоровью, всему, что связано с болезнями, недомоганием, лечением, профилактикой и прочими медицинскими премудростями.

Прежде всего, я понял, что здесь, по крайней мере в этом лагере, надеяться на возможную помощь со стороны имеющейся, официально действующей, возможно, даже находящейся на очень хорошем счету, санчасти — наивно, если не сказать бесполезно. Чтобы туда просто попасть — надо заранее с вечера записываться в специальный журнал, попав туда, надо отстоять немалую

очередь, а переступив порог кабинета врача, надо быть готовым, что в тебе увидят симулянта, увиливающего от работы, наркомана, жаждущего получить что-то болеутоляющее, словом — кого угодно, но только не человека, нуждающегося в помощи. Я уже не говорю о случаях откровенного хамства и издевательства со стороны лагерного персонала.

Кстати, анекдот, рожденный в гулаговские времена о зеке, что пришел в санчасть и пожаловался на голову и живот (врач, принимающий его, разламывает пополам таблетку аспирина и вручает ему половинки, напутствуя: «Первая от головы, вторая от живота — смотри не перепутай»), в наше время, в нашей зоне нисколько не утратил своей актуальности. Практически по поводу любого необходимого медикамента можно услышать что-то из небогатого набора: «Мы это еще не получали», «У нас это уже кончилось», «Нам этого вообще не положено».

Потому и родилась уже в самом начале моей арестантской биографии четкая и жесткая внутренняя установка: надеяться только на собственные силы, на собственный иммунитет, на волевою сопротивляемость собственного организма. Такую надежду надо внушать себе каждый день (это что-то среднее между молитвой, медитацией, аутотренингом).

Второе средство противостояния возможным хворям и недугам — витамины, желательно все-таки не аптечные в баночках и коробочках в виде разноцветных пилюль и таблеток (хотя и они не помешают), а натуральные. Мне кажется, самое оптимальное здесь — лимоны, чеснок, мед, лук.

Стараюсь каждый день обязательно съесть толстый кружок лимона (обязательно с кожурой, ибо там содержится весь букет необходимых витаминов), пару долек чеснока (желательно натошак не просто пережевывая, а

тщательно перетирая зубами, высасывая едкий целебный сок).

Аналогичный подход и к луку. Тут, правда, надо добавить еще один прием: нюхать свежерезанную луковичку, глубоко и сильно втягивая в себя то, чем пахнет белая, горькая сердцевина. Не знаю, что говорят по этому поводу дипломированные специалисты, но лично мне это средство, кажется, здорово помогает во время многочисленных эпидемий простудных заболеваний, что периодически сотрясают лагерь, особенно весной и осенью.

Еще один очень простой, очень действенный и очень личный рецепт — рекомендация: при первых признаках простуды на ночь натереть грудь и пятки бальзамом «Звездочка» (недорогое средство, доступное даже на зоне), надеть шерстяные носки, съесть чайную, а лучше столовую ложку меда.

Конечно, прежде чем эксплуатировать в нужном направлении целебные свойства меда, чеснока и т.д., их надо... просто иметь в наличии. Спасибо жене, сестре, детям, друзьям — конвейер по снабжению меня натуральными витаминами работает почти бесперебойно. Дай Бог им здоровья и терпения!

Есть в моей личной методе выживания в этих условиях и третий фактор — движение, физкультура, физические нагрузки. Стараюсь один, а то и два раза в день, независимо от погоды и настроения, выходить на убогий спортгородок в локалке перед баракком — заниматься хотя бы по полчаса. Упражнения самые простые — турник, брусья, отжимания, приседания. Удивительно, здесь я подтягиваюсь 10—12 (однажды было даже 14!) раз — это мои послеармейские результаты более чем четвертьвековой давности. Такими достижениями я не просто доволен — я ими горжусь!

А болеть за весь свой арестантский срок я действительно не болел. Пока не болел. И болеть не собираюсь. Не имею права!

Все-таки очень здорово, что довелось в свое время попутешествовать. Сорок семь стран выпало посетить! В разное время. В разном качестве. При очень разных обстоятельствах. Где-то работал, где-то отдыхал, где-то даже воевал. Верно кем-то подмечено, что впечатления от путешествий — это вечный капитал, это то, что всегда с тобой, то, что может помочь отвлечься, забыться, а порою и лечит, окрыляет, вдохновляет.

Смотришь на раскаленный асфальтовый плац — вспоминаешь белоснежные пляжи Мальдивских островов. Хлебаешь баланду — вспоминаешь блюда на сановных банкетах в Токио, Шанхае и Сингапуре. Вдыхаешь едкую вонь разогретого полипропилена на промке — вспоминаешь настоящий на ароматах тропических цветов запах индийской ночи. Спотыкаешься взглядом о расхристаных, грызущих семечки контролеров — вспоминаешь, например, подтянутых полицейских (по традиции, заложной еще в колониальные времена, это бородатые сикхи в громадных тюрбанах) — в Объединенных Арабских Эмиратах. Или невозмутимых британских гвардейцев в экзотических медвежьих шапках в Лондоне. Берешь в руки чашку с кофе (пусть вольный, но все-таки растворимый) — вспоминаешь кофе, что довелось пробовать в Ираке и Малайзии.

Увы, подобное здесь лучше держать глубоко в себе. Не обнажать и не высовывать даже краешком. Очень многим из тех, кто меня нынче окружает, понять и представить такое просто невозможно. Соответственно, подобные откровения будут встречены недоверчиво, недружелюбно, откровенно в штыки. Потому и путешествую в своей памяти я всегда в абсолютном одиночестве. Потому подробности былых приключений смакую тет-а-тет. Никого не посвящаю, ни с кем не делюсь. А впечатления эти, действительно, со мной всегда и навсегда! И никому их не отнять, не

украсть, не позаимствовать, даже на время. Вот и обретает глубоко личный смысл афоризм, что прочитал я некогда на стене прогулочного дворика в Бутырской тюрьме: «Каждому — свое, а свое — никому»!

Сейчас и здесь более чутко, пожалуй, даже трепетно, отношусь к собственным снам. Похоже, их сюжеты — барометр моего настроения и состояния. Удивительно, за все время нахождения в неволе (включая период пребывания в московских изоляторах) сама эта неволя ни разу мне не снилась. Ни одного сна на тюремно-лагерную тему! За весь более чем трехгодичный зековско-арестантский период моей биографии! Ни пейзажей с колючкой, решетками и вышками! Ни характерных лиц представителей администрации! Ни соседей по бараку и промке! Все сюжеты снов — или из прошлого (из того времени, когда еще не сел), или — из будущего (когда уже якобы вышел). Снятся родные, близкие, друзья, что-то связанное с работой, путешествиями, вольным московским бытом. Иногда кажется, что сознание всеми силами и способами отгораживается, абстрагируется, баррикадируется от действительности, будто подчеркивая: это не твое, это чужое, это чуждое... Хотя какое же это «чужое» и «чуждое», когда я во всем этом с головы до ног, двадцать четыре часа в сутки, включая даже сутки, на которые приходится свидания с женой и сыном (да, близкие люди рядом, но куда деть решетки на окнах, всепроникающие запахи зоны и прочие детали, типа зековских ботинок, торчащих из-под кровати)? Интересно, а будет ли сниться неволя, когда окажусь на воле? И что именно из этих тусклых, черно-белых сюжетов будет тогда сниться?

Наверное, опять про сны. Часто приходится читать, как книжный герой попадает в новую, необычную обстановку,

всплескивает руками и сравнивает ситуацию, в которой очутился, со сном. У меня, похоже, все наоборот. Сон — все, что было раньше: еда, которую потребляют при помощи ножа и вилки, бассейн и тренажерный зал по вторникам и четвергам, клуб фалеристов по воскресеньям, метро, деньги, белая сорочка с галстуком и тысячу прочих мелочей и пустяков свободной жизни. Даже война, которую на воле не просто довелось чуть-чуть потрогать, а в которую пришлось окунуться с головой, со всеми потрохами, и она отсюда представляется далекой, снящейся, раскрашенной мягкими акварельными тонами. А близкая, конкретная, повседневная, круглосуточная явь — это то, что меня сейчас окружает, то, в чем я ныне барахтаюсь. Здесь и прокуренный барак, и негреющая телогрейка, и запах баланды, и продавленная шконка, и пейзаж, в котором если бы не небо, то только серый и черный цвет. До возвращения в сон еще долго, но уже сейчас чувствую, каким непростым будет это возвращение. Это что-то вроде поднятия водолаза с большой глубины. Подниматься надо долго и аккуратно, иначе разорвет легкие. Впрочем, на эту тему задумываться рано...

Состояние морали и нравственности в современном российском обществе плачевно. Поэтому люди, чья подлая роль в «моей истории» очень скоро станет достоянием гласности, ничем не рискуют. С ними не перестанут здороваться за руку, на них никто не будет указывать пальцем, вряд ли какие-то дома захлопнут перед ними свои двери. Их позиции в этом самом обществе, в основном купленные, частично добытые за счет интриг, подлости, холуйства, останутся такими же незыблемыми. Каждый останется при своем. И ворюга министр продовольствия, купивший на ворованные у государства деньги кучу мусоров и правоохранителей, чтобы вразумить непокорную газету и по-

садить строптивного журналиста. И мерзкий трус главный редактор, не пожелавший защищать достойным образом этого журналиста. И судья, похоже, «добросовестно» отработавшая деньги того же министра. И много кто еще, продемонстрировавшие в этой истории, что ныне те же самые деньги, теплая должность, просто сытый покой куда важнее, чем совесть, честь, порядочность. Бог им судья! Но самое время вспомнить, что ни одна великая Подлость, ни одно масштабное Зло не остается без наказания, не остается без возмездия. И время непременно подтвердит эту великую истину!

Несколько дней назад на страницах этого же дневника похвастался перед самим собой недюжинным арестантским иммунитетом, заметно укрепившимся здоровьем. Похоже, сглазил! Вчера, ближе к вечеру, почувствовал резь и зуд в глазах. Не придал этому значения, а утром с великим трудом разодрал слипшиеся от гноя веки и ресницы. Конъюнктивит! Только этой пакости в нынешней обстановке и не хватало! Окружающий мир представал теперь подернутым белесым туманом, предметы приходилось угадывать по зыбким контурам, людей по голосам.

Идти в санчасть, помня о царящей там волоките и откровенно ненавистном отношении к нашему брату-арестанту, не отважился. Решил прибегнуть к народному средству. Весь день промывал глаза холодной заваркой, а спать лег, положив на каждый из них по использованному чайному пакетику. И не зря. Утром прозрел в полной мере. Это тоже победа! Повезло, что глазная хворь настигла меня в выходной — иначе был бы «невыход»-прогул, незасчитанный трудовой день, унижительные объяснения с мусорами на промке. А побежденный конъюнктивит — это все-таки здорово!

Иногда я мысленно перелистываю страницы своей еще не существующей книги, пытаюсь посмотреть на нее глазами читателя, стараюсь представить, что в этой книге людям понравится, что насторожит, что оттолкнет. Обнаружил с удивлением и даже с тревогой, что положительных героев в будущей книге вроде как и нет. Книга есть, почти уже есть, а положительных героев нет и не предвидится! Как-то ненормально, непривычно. Особенно для человека, «проходившего» литературу в советской школе, получавшего гуманитарное образование в советских вузах. Как же так без положительного героя, с которого надо брать пример, который своим образом поднимает, зажигает и ведет?

Может быть, «слепить» этого героя «из того, что было», из того, что видел и вижу? В истинно «собирательном» смысле. По деталям, по частям. Внешность от одного. Характер от другого. Биография и «делюга» от третьего. Сомнительный соблазн. Ведь читателя не обманешь. Искусственно сконструированный, будто собранный из деталей детского конструктора, герой непременно будет производить впечатление ненастоящего, «невзаправдашнего». Не годится!

Набраться дерзости и предложить на вакантное место себя, «дорогого»? Пожалуй, это слишком. Не тяну. Не соответствую. Не подхожу. Много чего у меня и во мне для этого не хватает. Прежде всего — доброты, гуманности, объективности по отношению к тем, среди кого нахожусь, и к тем, кто «охраняет и воспитывает». Еще не хватает снисхождения и христианского всепрощения к тем, кто отправил «за колючку», кто удерживает меня здесь, кто предал в этой ситуации. Словом, дефицит на дефиците!

А может быть, вовсе и необязательно мучиться поиском традиционно конкретного положительного героя? Куда правильней и честней признать, что в каждом чело-

веке, куда бы ни задвинула его судьба, непременно есть что-то хорошее, то самое положительное. Может быть, это хорошее, пусть не собранное в одном человеке, а рассеянное, разделенное по многим людям, и должно занять место привычного положительного героя в моей будущей книге? Это «хорошее», с учетом обстановки и окружения, — воля, мужество, самообладание, доброта, отзывчивость. Только, повторяю, эти качества должны быть собраны не в одном человеке, а поделены, даже не в равных пропорциях, а с учетом характера, почти на всех. Это куда ближе к истине, хотя и вопреки традиционным литературным канонам.

Итак, воля и доброта в качестве положительных литературных героев? Еще один эксперимент на теле многострадальной русской литературы? Время покажет, насколько это актуально, оригинально или нелепо.

Кстати, а много ли, часто ли, повсюду ли видим мы этих положительных героев в реальной жизни? Кажется, я беру курс не на социалистический, зато очень даже жизненный реализм.

О преобладающем типе внешности людей, ныне меня окружающих, уже писал. Отмечал выдвинутые челюсти, оттопыренные уши, не закрывающиеся рты. Известно, что подобные признаки определенным (деликатно сказать) образом свидетельствуют об интеллектуальном уровне, умственных способностях. Такой вывод вынесли специалисты давным-давно. Вывод — приговор. Вывод — ярлык. Вывод — правило. Хотя... и в этом правиле есть исключения...

Вот Виталий Д. — у него громадная, откровенно уродливой формы голова, нависший, будто оплывший лоб, тяжелый остановившийся взгляд темных глубоко посаженных глаз. От этого взгляда становится не по себе. Вдвойне

не по себе, когда узнаешь, что сидит Виталий за убийство. Но внешность в данном случае обманчива. Виталий вполне разумный, деятельный, способный к самосовершенствованию и последовательному сопротивлению судьбе в этих условиях человек. Свой приговор он считает несправедливым (по его мнению, с учетом обстоятельств, он действовал в целях самообороны) и делает все (хлопоты с адвокатом, проработка юридической литературы, подготовка квалифицированных надзорных жалоб), чтобы этот приговор был «сломан», дело пересмотрено, наказание было заменено более легким. За время пребывания в зоне у него появилась семья (достойное завершение начавшегося еще на воле романа), ребенок, в воспитании которого он принимает самое трепетное, пусть заочное участие. А еще он работает над собой — много читает, читает вовсе не «макулатуру» в ярких, мягких обложках, а серьезные, заставляющие думать книги. Иногда книги берет у меня. Возвращая, трогательно норовит вручить «замутку» качественного «вольного» чая, пару шоколадных конфет. Прочитанное оценивает по-мужски сдержанно: понравилось, серьезно, интересно. Иногда имеет мужество признавать: ничего не понял, наверное, еще рано. Не сомневаюсь, что со временем непонятных книг для него не будет. Искренне желаю, чтобы он здесь не задержался!

Теперь-то я начинаю понимать, почему одно из моих предыдущих свиданий с женой и сыном было обрезано и вместо положенных трех продлилось только двое суток. Оказывается, что почти все, уходящие на длительное свидание, ненавязчиво обкладываются своеобразным оброком — вернуться с чем-то полезным для отряда. Согласился на оброк — получил три дня. Не согласился — сразу выясняется, что дней не хватает, что желающих в этом месяце очень много, в итоге получаешь вместо трех толь-

ко два дня. Выясняется другое: «полезно» для отряда все, от лампочек и швабр до пластмассовых ведер и канцелярских принадлежностей. Странно, ведь все это должно быть в нашем федеральном бюджетном учреждении, все должно выдаваться из общего фонда. Однако всего этого вечно не хватает, вот и добывает каждый отрядник насущную и столь необходимую эту мелочевку общеизвестным проверенным способом — за счет самих арестантов. Система отлаженная, доведенная до совершенства. Если меня не вовлекали в нее раньше, то исключительно по причине страха к былой профессии (а вдруг напишет, вдруг пожалуется, вдруг приедет комиссия). Перед очередным распределением дней свиданий сам подошел к завхозу, нашему знаменитому на весь лагерь «двухсоткилограммовому Юрику». Спросил, в чем нуждается барак. Похоже, Юра только и ждал этого вопроса: «Все нужно, ничего ни маэ, ничего не получали, ничего не хватаэ, пусть хотя бы веники привезут». Веники так веники. Правда, я уверен, что эти самые веники непременно когда-то выписывались, распределялись, получались. Еще более уверен, что эти самые веники были просто банально украдены и поделены любителями халявы в погонах. С одной стороны, я поддерживаю гадкую традицию, когда отрядник, а в его лице вся администрация зоны, решает свои вопросы за счет нас — арестантов. С другой стороны — я вижу каждый день, какими убогими огрызками метут пол в нашем бараке те, кому это положено делать. Как немалая часть пыли и прочей дряни после такой уборки остается в нашем бараке и, соответственно, попадает в наш организм, оседает в легких. Получается, эти веники я заказываю не для людей в погонах, а для себя самого и для собственного здоровья. Пустяк? Мелочь? Конечно, пустяк. Разумеется, мелочь. Но из подобных пустяков и мелочей состоит арестантская жизнь. Кстати, любопытно, каково происхождение веника, которым подметают пол в доме

начальника нашего отряда, капитана внутренней службы Василисы? Вопрос, ответ на который можно угадать с одного раза.

Иногда читаю своим соседям лекции-экспромты на тему «как сиделось в России лет эдак 150 назад». В качестве источников — произведения русских классиков (А. Герцен, Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Лесков и др.) плюс кое-какие застрявшие в памяти детали из некогда читанной монографии М. Гернета «История царской тюрьмы», что была издана в СССР еще в сталинские времена. Особый интерес спонтанно образующейся аудитории вызывают вопросы быта и режима для арестантов относительно недалекого прошлого. Тогда этапы к месту отбывания наказания не разделялись по половому признаку, вместе «шли» и женщины и мужчины, деньги к числу «запретов» не относились, по выходным и праздникам каторжане могли выходить в город, общаться с вольным населением, собирать милостыню, употреблять спиртное и т.д. Одни мои слушатели не скрывают своей зависти к «коллегам» прошлых эпох: «Вот бы я сейчас за ворота, вроде как за подаянием, и... ищи ветра в поле!» Другие недоверчиво сплевывают: «Гонишь, какая же это каторга, когда повар тебе на Пасху мясо на выбор готовит, хошь — свинину, хошь — говядину...» Ну а те, кто посерьезней, задумываются на тему общего уровня гуманности в России нынешней, «либерально-демократической», и России прошлой, «феодально-крепостнической». Сравнения не в пользу нынешней России. Получается — доброты, милосердия, гуманизма в стране нашей поубавилось. И никакие плазменные телевизоры и мобильные телефоны дефицит этот вовсе не компенсируют.

Сосед, крестьянского вида мужичок лет пятидесяти, отпущенный судом по УДО, собирается домой. Вижу, как в объемистую сумку он аккуратно складывает комплект казенной робы, упакованные в пакет зековские ботинки. Уловив вопрос в моих глазах, он торопливо поясняет: «Пригодится, помогать мне особо некому, любая одежда-обувь денег стоит, а здесь за все это уже вычли, изношу-истаскаю...»

Что за увиденным? Пример бережливости, граничащей со скупостью, с поправкой на отсутствие всякой брезгливости ко всему, что может напоминать о тюрьме-лагерезоне? Или наглядное свидетельство запредельной нищеты, в которой пребывает немалая часть населения страны? Примета жуткой дифференциации нынешнего общества, когда одни его граждане озабочены особенностями модели приобретаемой яхты, а другие просто не имеют возможности заработать на нормальную еду и одежду?

Вспоминаются при этом и посылки, что получают иные из моих соседей, в которых ничего, кроме «Примы», куска заветренного сала и черных сухарей. Вспоминаются редкие откровения (кому в этом легко признаться?) некоторых из них, что на воле «не каждый день хлеба досыта ели». Очень к месту вспомнилось, как оказался свидетелем, как сосед часа три обзванивал друзей и родственников, клянча «полтинничек на телефонный счет». Никто из его «зачных собеседников» помочь ему не смог: кто-то сидел без работы, кому-то задерживали зарплату, у кого-то просто не было денег. А речь шла всего о пятидесяти рублях...

Странная модель общества выстроилась в нашем многотрадном Отечестве. Неужели этот порядок нерушим и окончателен?

Новость грустная, но для этого лагеря типичная и естественная. На меловом участке промки гряда мешков с го-

товой продукцией обрушилась и завалила оказавшегося рядом арестанта. Пострадавший Вадим Н., парень лет тридцати, едва не лишился жизни. Теперь его ждет серьезная операция. Возможно, одну, а то и две, перебитых упавшими мешками, ноги придется отнять. ЧП случилось, понятно, по вине администрации, мешки укладывались не так, как надо, в нарушение существующей инструкции. Как водится, в этой ситуации у пострадавшего появилась масса доброжелателей-консультантов, что назойливо рекомендуют ему подать в суд на администрацию («вот, уж, достанется проклятым мусорам!»). Он и сам вполне готов к подобному решению. Одно серьезное «но»: у Вадима Н. на носу УДО. Шансы уйти на волю у него относительные — были какие-то замечания, мелкие дисциплинарные нарушения, которые очень некстати могут всплыть на суде. Стоит ли удивляться, что у больничной койки пострадавшего появился представитель администрации. Вовсе не для того, чтобы справиться о состоянии его здоровья, а для того, чтобы с места в карьер предложить ему сделку: администрация отпускает его на УДО, а он и в его лице все родственники не подают в суд по поводу случившегося ЧП. Вадим попросил время, чтобы подумать. Следящие за ситуацией арестанты разделились на две неравные части. Первая — более многочисленная, более кровожадная, считает, что никаких сделок здесь быть не может, что «коварные мусора» все равно обманут. Вторая — придерживается иных позиций, с ее точки зрения компромисс здесь очень даже возможен. Как будет развиваться эта дурно пахнущая ситуация, покажет время.

Очень похоже на откровения идиота, но сейчас, здесь, именно сейчас, именно здесь, чувствую себя... счастливым! И это при всех здешних настроениях, запахах, традициях, при скудной палитре окружающих декораций, при кон-

центрации произвола, кретинизма, при жутком дефиците элементарного здравого смысла, при неясном собственном будущем, при всей массе проблем, которые обрушились на моих оставшихся на воле близких. Разговаривать на эту тему с «несидевшим» бессмысленная затея, да и тем, кто «страданул», как здесь говорят, в несвободе, понять меня, наверное, непросто. Не собираюсь никому ничего объяснять, но именно здесь я предельно четко чувствую себя и изнутри (здоровье, состояние организма, состояние нервной системы), и снаружи (в этих условиях открывается особое чутье на окружение, на все происходящее кругом) взвешенным и правильным. Где-то читал откровение сидевшего в сталинское время глубоко верующего человека: «В лагере я был ближе к Богу». Великий смысл в этом признании.

Как ни сопротивляйся, как ни борись, а среда, обстановка, окружение все равно навязывает свои стереотипы, шаблоны, трафареты в оценках и суждениях. И шаблоны-трафареты не то чтобы целиком овладевают тобой, но основательно устраиваются в сознании, почти вживаются в него, прорастают в него и время от времени очень конкретно напоминают о себе. Один из таких воинственных стереотипов — резко отрицательное, брезгливо-пренебрежительное отношение к мусорам, в широком смысле слова ко всем правоохранителям, к людям, работающим в любых структурах, имеющих хотя бы отдаленное отношение к судьям, прокуратуре, милиции (простите, полиции), службе исполнения наказаний, даже адвокату-ре. «Мусор» — символ, собирательный образ античеловечности, подлости, продажности, коварства, непорядочности во всем и вся.

Конечно, эти выводы поспешны и скоропалительны. Конечно, среди тех, кто работает в этих учреждениях и

организациях, есть (ну должны быть, непременно должны быть!) честные, совестливые люди. Не сомневаюсь, что так оно и есть, но... Обстоятельства, вся окружающая среда настырно и неотвратно навязывают совсем другой тезис. И утверждение, пусть даже половинчатое, этого тезиса в сознании не есть свидетельство моей слабости (вот, мол, спасовал, сломался, стал, как все...) перед расхожим стереотипом, что навязала мне эта далеко не самая лучшая, далеко не самая правильная, далеко не самая здоровая среда, а свидетельство... определенного состояния общества. Диагноза, которого заслуживает государство, — словом... словом, примета времени, знак эпохи.

Кстати, давным-давно в мемуарах узника одного из гитлеровских концлагерей я вычитал, что этот человек, отбывший там пару лет, на всю оставшуюся жизнь сохранил резко негативное отношение к немецким овчаркам. Понятно, какие ассоциации и воспоминания вызывали у бывшего узника эти собаки, но это отношение распространилось на всех без исключения представителей этой породы. Независимо от того, какую полезную и даже благородную роль играли те в той, другой, послевоенной, послелагерной жизни. После пережитого любая овчарка в сознании этого человека ассоциировалась исключительно с лагерем.

Вычитанное давным-давно это откровение некогда упало на дно памяти и лежало там неостребованным до поры до времени. А теперь вот всплыло. Не провожу прямых параллелей, ибо, как известно, любая параллель хромает, тем не менее этот образ вовсе не собирается погружаться-возвращаться назад...

Часто оказываюсь свидетелем споров на тему «какого цвета наша зона»: «красная» (где всем заправляют мусора и их ближайšie подручные — «козлы») или «черная» (где соблюдается во всех нюансах и тонкостях кодекс всех

тюремно-лагерных традиций). Какие бы доводы ни звучали, какие бы аргументы ни использовались, к единому мнению спорщики ни разу не приходили. Наверное, это и невозможно, ибо в порядках, царящих в нашей зоне, «черное» и «красное» тесно переплелось, и отделить одно от другого бывает просто невозможно.

В идеале в «красной» зоне никаких «смотрунов» и прочих представителей блатной иерархии не должно быть вообще. В нашей колонии упомянутые неформальные «чины» существуют, действуют, постоянно напоминают о своей значимости, но... назначение, да и функционирование каждого из них происходит непременно под контролем администрации. Малейшее сопротивление, малейшая самостоятельность и... представителя блатной иерархии закатывают в изолятор. До полного понимания, осознания, просветления. Другой параметр определения цвета зоны — наличие «черного хода», системы сбора общих взносов, часть из которых переводится, передается на волю, в том числе и для поддержания местного воровского «общака». Подобное присутствует, но на фоне вышеописанных особенностей (мусорское курирование кадровых назначений блатной иерархии) — это как-то меркнет, представляется не столь важным. А как вписать в рамки «правильной черной зоны» распоясавшихся «козлов», имеющих полномочия (данные мусорской администрацией при молчаливом согласии блатных) покрикивать на «мужиков», традиционно считающихся «центральными» самыми важными и уважаемыми фигурами на зоне? А как трактовать нежелание, а возможно уже и неспособность, представителей лагерного «блаткомитета» решать насущные проблемы тех же «мужиков» в отношениях с мусорами (лагерной администрацией)? Я имею в виду трудоустройство на промке, оплату труда на той же промке, получение поощрений, уход по УДО и т.д. Похоже, и вообще не существует единого цвета для характеристики порядков, царящих в нашем лагере. Что очень пестрое «черно-

красное», «красно-черное». Пестрое и неопределенное, хотя известно, что во всезнающих электронных сетях, стоит только набрать точный адрес нашей колонии, выскакивает убийственное тавро «красная, коммерческая зона». Наверное, Интернету видней.

Сосед по бараку Олег К. уходит по УДО. На волю! Домой! Оставляя недосиженным почти полтора года срока! Искренне рад за его победу. Последнее слово в данном случае самое подходящее, ибо это самое УДО (заветное, злосчастное, вожденное) далось парню нелегко. За него он боролся. Сколько бумаг пришлось ему собрать, сколько писем отправить во все инстанции, сколько нервов стоило ему выхлопотать необходимое количество поощрений! А в итоге — районный суд хлестанул его наотмашь вердиктом «нецелесообразно» (не знаю, чье мнение здесь было решающим — прокуратуры, администрации или самого районного судьи, — впрочем, это и не важно). Хорошо, что после этого у Олега не опустились руки, решение районного суда он грамотно опротестовал в суде высшей инстанции и... выиграл дело. Редчайший случай! Без взяток, без звонков влиятельных покровителей, без адвокатов-крохоборов — зек отстоял свое законное право на условно-досрочное освобождение!

А я, глядя на радостные хлопоты соседа-счастливчика, думаю о своем: через несколько месяцев подойдет срок моего возможного УДО, интересно, есть ли по этому поводу у руководства колонии особые установки? Установки-«указивки» из столицы («отпустить», «гноить до последнего», «отпустить позднее», «на усмотрение администрации» и т.д.)? Какую тактику выбирать? Идти на суд в одиночку? Самостоятельно собирать все необходимые документы? Идти на тот же суд с адвокатом? Каким адвокатом? Юристом, который будет контролировать законность про-

цедуры моего условно-досрочного освобождения? Или посредником в унижительной процедуре задабривания администрации зоны и прочих, желающих «кушать», чиновников в мундирах? Последнее неприятно и нежелательно, но именно здесь понимаешь истинный смысл, спрятанный в простеньком, расхожем обороте «свобода дорого стоит». Пробовал обсудить эту скользкую тему с женой на последнем свидании, услышал в ответ вполне конкретное: «Об этом ты сейчас здесь не должен думать, это уже не твой вопрос...»

Вопрос-то не мой, но судьба — моя, и биография — моя, и много чего важного, принципиального здесь переплетается и аукается. И мысли по этому поводу самые, самые разные. Тут и принципиальный аспект (платить — значит участвовать в коррупционной схеме, прикармливать сволочь, и без того нажившую на арестантских бедах немалое состояние), и материальный (денежные возможности семьи ограничены, а чтобы кто-то пошел с шапкой по друзьям и близким — недопустимо!), и множество прочих нюансов. Надеюсь, время рассудит, время определит и стратегию и тактику.

С воли просачивается информация о ситуации в редакции газеты, бывшей последним местом моей работы. Да и сама газета из посылок и бандеролей периодически попадает в мои руки. Увы, она стала скучнее, однообразнее, «жиже». То и дело целые полосы в ней отдаются под фотоотчеты о званных тусовках в доме владельца — главного редактора. Одни и те же персонажи. Вальяжные банкиры, надутые чиновники, бесполоая молодежь, модный писатель, какие-то лупоглазые тетки. Разумеется, все по соседству с многократно запечатленным громадным пузом хозяина. На фоне ваз, канделябров, картин и прочих антикварных шедевров. Каждый предмет в отдельности — предмет со-

вершенства, несколько предметов в одном кадре — воплощение пошлости и безвкусицы.

Возможно, эта же самая безвкусица отразилась и на содержании газеты. Теперь там уже практически полностью отсутствует серьезная полемика, напрочь ушла (а этим ранее так славилась «Свободная газета») практика публикаций авторов, представляющих совершенно противоположные, часто взаимоисключающие, точки зрения, почти исчезли интересные, острые интервью. Похоже, умные, самостоятельно мыслящие люди просто стороной обходят некогда популярное издание. Вместо них засаленная, до брезгливой неприязни, колода официальных деятелей и дежурный набор якобы оппозиционных якобы лидеров. Плюс масса серых, убивающих живое предназначение газеты заказных материалов. Грустно! А когда-то это издание было правофланговым во всех отношениях в отряде отечественных печатных средств массовой информации. И отсутствие вкуса нового хозяина — главного редактора, пожалуй, вовсе не главная причина «потери лица» изданием. Куда важнее «ветры», дующие из-за кремлевских зубцов, и прочие составляющие емкого понятия «политической конъюнктуры», которую всегда так ловко улавливал своими хищными ноздрями мой бывший шеф. Зачем предоставлять трибуну людям, что подобны кости в горле нынешней власти? Стоит ли раздражать обитателей сегодняшнего политического олимпа, публикуя правдивые прогнозы их вероятного карьерного будущего? Надо ли рисковать, решаясь на обнародование истинных, а не подтасованных данных о привязанностях и антипатиях российского электората? Проще, безопасней, надежней отдать большую часть газетной площади под «серятину», «заказуху», дежурные скучные «акынки». Впрочем, мне ли, российскому зеку, не имеющему ныне права даже голосовать, размышлять на тему высокой политики, задумываться о нюансах взаимоотношений власти и средств массовой ин-

формации, ломать голову над причинами утраты былого качества некогда родной газеты. У меня ныне куда более насущные задачи. В ближайшие день-два надо раздобыть три пачки «фильтровых» сигарет (обязательный ежемесячный взнос уборщикам — за поддержание чистоты в бараке, «атасникам» — за своевременное предупреждение о приближении к бараку всех нежелательных личностей, «заготовщикам» — за сервировку наших завтраков, обедов и ужинов), из рукава старой «телеги» давно собирался выкроить пару теплых стелек, пора бы исполнить и давно обещанное — помочь соседу в написании надзорной жалобы на несправедливый приговор.

Другая грань ранее затронутой темы: кадровый состав редакции заметно изменился. Профессионалов независимых, нестандартно мыслящих, а главное, совестливых журналистов из редакции выживают, выдавливают, кого-то после скандалов с последующими судами и исками (вот где оказываются востребованными профессиональные знания в сочетании с абсолютной бессовестностью редакционного юриста), кого-то тихой сапой после долгой полосы придинок и унижений.

Уже нет в редакции Бориса К., фотохудожника международного уровня (после него в газете уже не встретить достойных эксклюзивных фотографий), весь иллюстративный ряд издания просто сошел на нет. Уволилась Катя Б., великая умница — дока в вопросах кино, телевидения, человек взбалмошный, но совестливый и порядочный (уволилась, как говорят, после попыток грязных домогательств со стороны хозяина, некогда уверовавшего, что, покупая газету, он покупает со «всеми потрохами» и всех, кто там работает). Ушел Вадим С., курировавший громадный круг вопросов, связанных с проблемами армии, флота, военно-промышленного комплекса, не самый творческий, но пре-

дельно дисциплинированный и надежный работник. Покинула газету и Виктория Ш., признанный искусствовед и литературовед, получившая профессиональную выучку и уникальный опыт за время работы в толстых литературных журналах (разве мог ей это простить косноязычный, едва способный связно излагать свои мысли нувориш — главный редактор). Из толстых журналов Виктория Ш. вынесла не только безупречное чутье русского языка, но и стойкое отвращение к любым формам непорядочности (вспомним, что в нашем Отечестве литературные журналы, во всяком случае в былые времена, традиционно были очагами нравственности). Понятно, такой работник для нового хозяина, чья система ценностей легко утрамбовывалась в полдюжины расхожих «новорусских» формул (проект: прибыльный — неприбыльный; предложение: коммерческое — некоммерческое; работник: эффективный — неэффективный и т.д.), был, мягко сказать, неудобен...

Ушли профессионалы, ушли порядочные. Пришли те, кому было все равно куда идти, те, кто не понимал, куда пришел, те, кому некуда было податься.

А из тех, с кем некогда сживал за одним столом на летучках, остались самые беспринципные и бессовестные, беспозвоночные, готовые гнуться в любом направлении под любым углом. Например, Аркадий П., первый заместитель нынешнего главного редактора, когда-то мой непосредственный руководитель, — уникальная персона, в которой легко уживаются недюжинный журналистский опыт (умение организовать дежурство по номеру, придумать бойкий заголовок, найти ошибку в материале, что уже прошел редактуру и корректуру) и... сиюминутная готовность к предательству. В последнем он просто талантлив. Уж так сложилось, что все три главных редактора издания, где он до сих пор пребывает, независимо от особенностей своих характеров, убеждений, политических пристрастий использовали и используют его для «грязной» работы, ко-

торой в любой редакции всегда достаточно и за которую нормальный человек и совестливый журналист никогда не возьмется (информирование неугодных и приговоренных к увольнению сотрудников об их участии, переговоры и торги с ними в случае их сопротивления, воспитание, точнее одергивание, зарвавшихся, переговоры по размещению и оплате особо грязных заказных материалов и т.д.).

Развитию последнего таланта во многом способствовал прогрессирующий алкоголизм Аркадия П. Все в редакции, начиная от уборщицы, выгружающей каждое утро специфическую стеклянную тару из мусорной корзины в его кабинете, кончая стажером-журфаковцем, случайно встретившим его в коридоре и с изумлением отметившим его интенсивно свекольный цвет лица, об этом знали. Прекрасно были осведомлены об этом и все три редактора, с которыми довелось Аркадию работать. Знали и сознательно закрывали на это глаза, руководствуясь золотым правилом всех спецслужб мира: порочный человек — наш человек, порочный человек — лучший объект для вербовки и прочих манипуляций.

Все три редактора, под которыми Аркадию доводилось работать, прощали ему и уже упомянутый свекольный цвет лица, и извечный коньячно-водочный запашок, который не могли перебить ни сигареты, ни кофе, ни жвачка. Взамен по негласной договоренности требовалось только одно — в нужный момент он должен был стать исполнителем грязной работы. Сколько чисток за это время пронеслось по редакционным кабинетам, сколько журналистов от рядовых корреспондентов до заместителей главного оказались за порогом! И в каждом подобном «спецмероприятии» (когда явно, когда кулуарно) неприметно участвовал Аркадий. Сдавал и предавал. Предавал и сдавал. Не жалел ни тех, с кем делил ежедневную алкогольную дозу, ни тех, кого сам приводил в газету с личными рекомендациями для трудоустройства, ни тех, кто считал его по великой

наивности своим другом, кто был вхож в его дом. В лучшем случае «приговоренного к увольнению» приглашал к себе в кабинет, протягивал рюмку коньяка и проникновенно пояснял: «Понимаешь, главный не хочет, что ты здесь работал, тебе лучше уйти без скандала, я позвоню в другие редакции, может быть, устроишься не хуже...» В худшем случае ту же информацию до «приговоренного» доносил кто-то из отдела кадров, а за час до этого Аркадий уже переставал замечать этого «приговоренного» в коридоре, не отвечал на приветствия, не видел, что говорится, в упор.

Возможно, уникальная склонность к предательству в характере Аркадия — это что-то генное, фамильное, наследственное. Говорят, он родом из Западной Белоруссии. Говорят, многие его родственники прожили всю войну «под немцем». Не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что были среди них бургомистры, полицейши и каратели. На зоне я часто вспоминаю Аркадия (шутка ли, проработали вместе десять лет, и каких лет!), иногда пытаюсь представить его в нынешней моей обстановке в роли коллеги — российского арестанта. Как бы он повел себя здесь? По привычке и по инерции используя многолетний опыт, предложил бы себя в помощники администрации, «одел рога», принял должность завхоза, бригадира или хотя бы здесь прозрел, задумался бы о выбранной системе ценностей?

Если бы... Если бы... Только разве жизнь терпит солагательное наклонение? На сегодняшней момент все в этой жизни сложилось и определилось: он, Аркадий, при всех своих гадостных заслугах, — на воле, в тепле, при белой рубашке, «в муках над номером», я — в арестантской «телеге», таскаю на горбу мешки с вонючими полипропиленовыми пакетами на продуваемой всеми сквозняками «промке».

Вот только кто сказал, что этот порядок жизни извечен? Разве кто-то в силах отменить законы высшей справедливости?

Иногда я слышу от соседей-собеседников: «Это хорошая зона, ты даже представить не можешь, насколько все могло бы быть хуже...» И представлять не хочу. Полемизировать не собираюсь. Что значит «хорошая» зона, «плохая» зона? Это то же самое, что объяснять посаженному на цепь преимущество цепи с хромированными звеньями перед цепью со звеньями проржавевшими, достоинство ошейника, украшенного бубенчиками, перед ошейником обыкновенным сыромятным. Цепь остается цепью. И ошейник остается ошейником. И несвобода остается несвободой. Даже в клетке с кондиционером, набором тренажеров и бутербродом с черной икрой, что регулярно можно просовывать сквозь те же самые позолоченные прутья.

Что такое преступление? Что такое грех? Что такое подлость? Не сказать, чтобы я здесь постоянно мучительно размышляю над этими вечными вопросами, но именно здесь, в неволе, они напоминают о себе куда чаще и острее, чем в «прошлой» свободной жизни. Впрочем, в «прошлой» жизни эти категории были отвлеченными, почти общими, почти абстрактными. А здесь они очень конкретные, очень личные, они «без пяти минут» родные. Выводы из всех этих раздумий для меня (хотелось бы верить, что и для моих близких, детей в первую очередь) вполне определенные, очень важные. Выводы сродни диагнозу, сродни приговору. Выходит, что в результате определенного стечения обстоятельств и злой воли некоторых недобрых людей я попал в категорию преступников, де-юре стал преступником. Однако моя принадлежность к этой категории — временная, не постоянная, не окончательная: пройдет какое-то время, и в соответствии с законом и всякого рода юридическими нормами (плюс мои хлопоты, разумеется) — я перестану быть преступником (окончится срок заключения, снимется

судимость, возможно, даже удастся добиться чего-то вроде реабилитации). Получается, мое пребывание в антиобщественной, для иных даже презираемой и отвергаемой категории — все-таки временно. Совсем иная ситуация со статусом людей, которые меня «сажали» и удерживали в этом самом «посаженном» состоянии. Решившись на подобное, они стали подлецами. Подлецами навсегда. Окончательно. Бесповоротно. На всю оставшуюся жизнь. И даже после собственной смерти они останутся этими подлецами. На весь период времени, в течение которого их хотя бы кто-то будет помнить. Очень может быть, что многие из этой группы людей законченными подлецами стали задолго до участия в масштабных «хлопотах» по моей посадке. Значит, тем самым подтвердили «кровную» свою принадлежность к этой самой категории. Категории подлецов.

Кстати, за то время, которое я пребываю в ранге преступника, окреп мой дух, закалилась воля, кажется, шлифуется характер. Называя вещи своими именами, я — окончательно стал борцом. А еще за это время я окончательно стал писателем, человеком, которому есть что сказать другим людям. Все перемены со знаком «плюс», все перемены из разряда дающих основания уважать себя, даже гордиться собой и... двигаться по жизни дальше с чистой душой и высоко поднятой головой. Разве могут похвастаться чем-то похожим те, кто меня сажал, кто ныне удерживает меня в этом самом «посаженном» состоянии? При самой необузданной фантазии такого даже представить себе невозможно.

Уже отмечал, как безвозвратно в прошлое уходит из арестантского сознания сверхуважительное, почти религиозное уважение к хлебу. Стоящая в отрядной «чайхане» специальная картонная коробка для хлебных отходов (с расчетом дальнейшей передачи на лагерный свинарник)

каждый день заполняется с верхом. А еще хлебные куски очень часто обнаруживаются в обычных урнах, среди окурков, пустых сигаретных пачек и прочего мусора. Это — не дело! Подобное в российском лагере 20—30-летней давности и представить себе невозможно. Верно, ныне хлеба нам хватает — три раза в день по пайке. Пайка — одна пятая часть буханки. Выходит, три пятых буханки на человека в день. С учетом всего остального (суп, каша и т.д.) — вполне достаточно. Другое дело, этот хлеб не всегда бывает качественным. Говорят, что это не просто хлеб, а хлеб вторичный, произведенный из хлебных отходов — из тех самых кусков, что собирают «столотеры» с наших столов после ужинов, завтраков и обедов. Вроде как эти отходы дробят, перемалывают, как-то обрабатывают, чего-то добавляют. Возможно, поэтому наш хлеб часто бывает тяжелым, невкусным, когда с липким и влажным, когда с очень сухим мякишем. Для многих из нас его потребление непременно оборачивается жуткой изжогой и непомерной тяжестью на желудке. Очень похожий хлеб давали в Березовке. Одно региональное тюремное управление. Один стиль отношения к людям. Там лагерные ветераны ненавязчиво советовали: «Корку-то съешь, а мякиш оставляй, от него и тяжесть, и все прочие беды...» Так до сих пор и поступаю. Из каждой пайки выламываю мякиш. Выламываю не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы оставить на столе. Корки съедаю. Старческий стиль потребления хлеба наоборот. Зато ни изжоги, ни тяжести...

Перебирал полученные с воли новогодние и рождественские поздравления, заодно перечитывал. Удивительно, очень разные люди порою желали мне приблизительно одного и того же — «чтобы скорее закончился этот кошмар», «пусть быстрее останутся в прошлом все нынешние ужасы» и т.д.

Совсем неправильная постановка вопроса, совсем неверные формулировки. Какие «ужасы», какие «кошмары»? Просто я ныне, не по своей, разумеется, воле, нахожусь в очень специфических условиях. Что-то вроде командировки в горячую точку. Да, здесь совсем другая жизнь, но все-таки жизнь! Да, здесь совсем другие люди, но все-таки люди! Словом, всюду жизнь, всюду люди!

А за «ужасы» и «кошмары» надо благодарить отечественное мерзкое телевидение, чья разрушающая, разобщающая, одуряющая роль здесь особенно заметна. Именно это телевидение за последние годы наплодило столько гадких сериалов про зону. Что ни серия — то вранье! Когда сладкое, до приторности, когда горькое до рвотных спазм. Иногда кажется, из зоны сознательно и целеустремленно лепят образ масштабного ужастика — пусть обыватель смотрит, пугается, ужасается. Пусть больше думает о тех ужасах, что «за колючкой», чем об ужасах, что окружают его на воле. Власти так удобнее и выгоднее!

Именно здесь начинает казаться, что спрятанный внутри каждого из нас механизм формирования тематики наших сновидений, мистический и пугающий, совершенно не изученный даже современной наукой, наделен уникальным свойством заглядывать в будущее, предсказывать это будущее.

Часто снится редакция: дежурство по номерам, суета летучек и планерок, люди, некогда меня окружавшие. Интересно, что во время «трансляции» подобных сновидений внутри будто щелкает какой-то тумблер, и неведомый голос информирует, предсказывает, успокаивает: «В эту редакцию ты уже не вернешься, хотя бы потому, что там правят бал подлецы, эта редакция — уже прошлая страница твоей биографии, это редакция — то, что осталось позади, а ты должен, обязан, ты просто приговорен идти вперед!»

Проснувшись, перевариваю услышанное и увиденное, ловлю себя на мысли, что ничего плохого в этих «вещих сюжетах» нет. Сплошной прогресс, сплошное поступательное движение вперед. Значит, будем двигаться!

Чем ближе время моего возможного условно-досрочного освобождения (пресловуто-вожделенного УДО), тем актуальнее любая информация об особенностях подобной процедуры именно в этой зоне. Слишком много штрихов, деталей, нюансов. Все это складывалось годами под влиянием общего стиля руководства и установок регионального управления тюремного ведомства, с учетом особенностей характеров чиновников, там работающих, и множества прочих факторов. А еще выясняется, что в этой ситуации всегда хватает, с избытком хватает, людей, желающих и даже назойливорастраивающихся помочь, посодействовать, похлопотать. Традиционные персонажи здесь — представители администрации региона, разумеется, имеющие своих «агентов» в колонии, вечно нуждающиеся в дополнительном заработке адвокаты с воли, местные «авторитетные» предприниматели, масса падких на халяву начальников самого разного калибра в погонах и без погон. Желания понятные, логичные, объяснимые. Два процента гуманности и человечности. Девяносто восемь процентов — корысть, проявления инстинкта «хапнуть». Любопытно, что на этом поле пытаются играть, правда, очень неуклюже, и кое-кто из «мурчащих». Из тех, кто некогда провозгласил себя якобы хранителем и продолжателем «правильных» тюремных традиций. Сценарий отработан. К арестанту, взявшему курс на УДО (обычно выбирают таких, кому и на волю невтерпеж как хочется, и кто в то же время в людях не сильно разбирается, у кого чутье на «засады» и «разводки» отсутствует), «подруливают» добродетели из прибалтненских и начинают «грузить». Вкрадчиво и про-

никновенно: «Собрался на УДО — хорошо, дай Бог, чтобы все срослось, но здесь уж так сложилось, уж так заведено, если без поддержки, то шансов у тебя никаких... Правда, есть на воле человек, у него все схвачено, и у мусоров, и в суде. Хочешь, поговорим? Конечно, платить надо, но немного, адвокаты больше берут и часто ничего не делают, а здесь — реальные деньги, реальная помощь. Ты как? Готов?» Разумеется, при этом следует масса примеров, когда упомянутый «влиятельный человек» непременно «вытаскивал» кого-то из зоны. Вроде и фамилии реальные, и отряд соседний, и время почти нынешнее, только ни уточнить, ни проверить: кто-то уже на воле, переехал, с кем-то просто не связаться, а кто-то ни за что откровенен в таких вопросах не будет.

Потом определяется объем необходимой суммы. Разумеется, с учетом размера недосиженного оставляемого срока и потенциальной платежеспособности «клиента». Чаще всего деньги предлагается, вполне в духе времени, перевести на банковский счет, иногда просят по старинке — «занести», передать в руки нужного человека «наликом».

При этом на всех этапах переговоров «виновнику торжества» — кандидату на УДО многозначительно объясняют, что вероятность положительного решения «проблемы» очень велика, что во всем этом участвуют «оч-чень влиятельные, оч-чень серьезные люди», и, будто мимоходом, вскользь, скороговоркой добавляется, что, если что-то «не срастется», деньги обязательно будут возвращены тем, кто их платил, перечислял, заносил. И уж совсем скороговоркой добавляется, будто деньги вернутся все, почти все, за вычетом некоторой пустяковой суммы, что потребовалась на представительские и прочие накладные расходы. В зависимости от степени доверчивости «клиента», это обычно пять—десять, реже пятнадцать—двадцать процентов от фигурировавшей суммы. Универсальная, гениальная в своей простоте, схема вытрясания денег из доверчивых

простаков! Если претендующий на УДО благополучно проходит все суды и вытаскивает свой счастливый билет, то, разумеется, слышит в свой адрес: «Вот видишь, мы постарались, мы сделали, все получилось...» Если же он сталкивается в этой ситуации с кондовым коррупционным произволом и получает отказ (слышит традиционное в этой ситуации мерзкое слово «нецелесообразно»), то слышит еще более предсказуемое: «Вот, не срослось, мусора винюваты, мусора оборзели, что обещали — не решились, мы же все возможное сделали, ну а деньги твоим близким обязательно вернут за вычетом процентов десяти, как обещали, как договаривались...»

Несложно догадаться, что злополучные «десять процентов» списываются чаще всего на ресторан, в котором якобы обсуждались детали грядущей операции (мусора пили-ели, ничего не сделали...).

«Качать права» в этой ситуации бесполезно и бессмысленно. Явного обмана, откровенного мошенничества вроде бы нет, ну а все прочее... это как раз те самые издержки производства, без которых ни в одном деле не обойтись. Говорят, какая-то доля с этих денег идет в «общак», что-то делится между участниками «проекта», что-то просто теряется на сложном пути перевода с одного счета на другой. Кстати, и основная сумма возвращается очень часто нескоро, нехотя, нередко несерьезно малыми частями.

Очень может быть, что в самое ближайшее время какие-то аналогичные предложения на подобную тему поступят в мой адрес. Кажется, я уже знаю, как вести себя в этой ситуации.

Случайно попал в руки томик Д. Оруэлла (разумеется, «1984» и «Ферма животных»). Перечитал. Как говорится, нужная книга в нужном месте в нужное время. Споткнулся на призыве «привыкнуть к жизни без результатов и без на-

дежд...». Долго переваривал все возможные смыслы, скрытые в этих словах. Кажется, в моей ситуации это сверхактуально. Всерьез следовать этой установке — значит по максимуму мобилизовывать свой характер. Здесь необходимы и воля, и мужество, и прочие достойные качества. Почти путь героя. И все-таки — не мой путь. Результаты и надежды есть всегда. Без них невозможно. Если они не обнаруживают себя сами — их найти, добыть, построить, отвоевать. Даже придумать их в этой ситуации вполне простительно. Результаты и надежды нормальному человеку просто необходимы. В моем конкретном случае результаты — это вполне конкретные события и факты, свидетельства развития и движения (сегодня подтянулся восемь раз, завтра надо непременно подтянуться девять раз, сегодня написал один абзац в дневнике, завтра — обязательно два и т.д.). И понятие «надежда» здесь сверхактуально. Надеяться надо, выжить, выжить достойно, вернуться нормальным, мыслящим, окрепшим. В идеале, плюс к этому добиться пересмотра дела, восстановления справедливости. Надо надеяться и на более скорое, чем предусмотрено незаслуженным наказанием, возвращение домой (используя возможности УДО).

Вот и получается, что в «моем случае» смысл понятия «результаты» самым тесным образом переплетен со смыслом, скрытым в понятии «надежда». Все переплетено, перекручено. Значит, будем расплетать, раскручивать. Без надежд и без результатов здесь никак нельзя!

И на страницах этого дневника (письменно), и просто во многие моменты моей арестантской биографии (устно, но про себя, разумеется) я неоднократно удивлялся тому, как многие мои «коллеги по неволе» (кто с бравурной рисовкой, кто с искренней скорбной грустью) признавались, что здесь, в зоне, «за колючкой», они чувствуют себя как дома,

что здесь им хорошо, что здесь им чуть ли не лучше, чем на свободе. Пытался анализировать, пытался объяснить подобные аномалии. Чаще всего приходил к выводу, что за ними духовное нездоровье, личная ущербность, пробелы в воспитании, не лучшая наследственность. Кажется, с подобными выводами я здорово спешил.

Торопясь с окончательными оценками, я, похоже, не замечал главного. Ведь «вольная жизнь» для этих людей — жизнь в теперешнем нашем государстве, в нынешнем нашем обществе, главные приметы которых — разрушенная система правовых и социальных гарантий, продажные чиновники, вывернутая наизнанку мораль, диктатура произвола. Прискорбно, но вполне закономерно, что в подобных условиях и на воле (понятия «воля, свобода» и т.д. формальны) эти люди ощущают себя полностью незащищенными, никчемными и ничтожными.

Получается, зона, тюрьма, неволя для них хороши и комфортны не потому, что сами они такие «неправильные», а потому, что эта самая воля в лице государства и общества — сосредоточение несправедливости и прочего паскудства. А «за колючкой» проще и надежней. Есть весьма условный «кодекс порядочного арестанта», есть простенькая, но в целом здоровая и местами очень правильная система лагерных ценностей — следуй этому кодексу, придержишься этих ценностей — и... почувствуешь себя винтиком в системе, начнешь испытывать что-то похожее на «уверенность в завтрашнем дне». Если в этих рассуждениях я хотя бы частично прав, то... презрения достойно такое государство, великой жалости заслуживает подобное общество...

Суд грянул... Суд разразился положительным решением — признал целесообразным отпустить меня на волю. Условно-досрочно. Удача улыбнулась. Да что там уда-

ча! Впервые за много лет закон повернулся ко мне лицом. А еще сыграли свою роль множество факторов, о которых я пока только догадываюсь. Придет время, все это я разложу по полочкам. Восстановлю в деталях весь механизм моего освобождения. Но это позднее. Наверное, уже на страницах книги, которую обязательно напишу. Ее основой будет этот дневник, который я вел здесь, в неволе. И с ним уже можно прощаться, тем более что большую его часть всеми правдами и неправдами я переправил на свободу. Прощай, моя «китайская» тайнопись в тетрадах, блокнотах и на случайных листах. Здравствуй, книга! Серьезная и честная, которой еще нет, но которая обязательно будет.

Согласно существующим в нашем государстве законам и положениям освобожденный по УДО арестант после решения суда еще десять дней находится на территории учреждения, где отбывал свой срок. Вот и для меня началась эта последняя десятидневка. Последняя стометровка марафона моего срока. Привожу в порядок свой архив. Раздаю одежду и бытовые предметы. Обхожу тех, с кем считаю необходимым проститься. Благодарю тех, кто заслужил благодарность. А еще со всего лагеря ко мне приходят знакомые и незнакомые арестанты. И спрашивают, формулируя по-разному, об одном и том же: правда ли, что я ухожу по УДО, не подписав заявление о вступлении в актив? и правда ли, что я ухожу на УДО, не признав полностью своей вины? На оба вопроса отвечаю утвердительно. Да, было дело, требовали, намекали, пугали, ломали. Всякий раз отвечал: «Нет». И не потому, что разделяю и поддерживаю неписанный тюремно-лагерный кодекс. И не потому, что хочу продемонстрировать жертвенный героизм и негибаемое мужество. Просто я знал, что соответствующие министерства и прочие структуры давным-давно приняли соответствующее решение, согласно которому полное при-

знание вины арестантом, уходящим на УДО, вовсе не является обязательным условием. Да и «актив» на основании соответствующих документов по сути упразднился, ибо признавалось, что исправлению преступников он способствует не шибко, а вот внутренний климат в арестантской среде ухудшает. Почему представители лагерной администрации, включая грозного полковника-Вия, заместителя «хозяина» (квадратная фигура, голова без шеи и руки, растущие из туловища), не говоря уже о малограмотном отряднике капитане Василесе, так рьяно требовали от меня подписания упраздненных документов, я не знаю. То ли виной тому их невежество, то ли администрация зоны сознательно предпочитает игнорировать новые юридические нормы. По большому счету сейчас это меня совершенно не интересует, но копии выписки соответствующих документов я раздал всем желающим. Арестантский юридический ликбез — святое дело!

Состояние, когда всякое мгновение хочется щипать себя, тереть глаза и убеждаться всеми прочими способами, что происходящее не сон, а реальность, и ты — не просто действующая, а центральная фигура этой реальности.

Переданная по телефону в барак команда «Земцов, на вахту». Последний мой шмон. Интересно, что можно вынести из зоны на волю, что ищут контролеры в сумке покидающего лагерь арестанта? Слава богу, шаривший в моем тощем бауле прапорщик не придавал значения внушительной пачке бумаг. Правда, поинтересовался: «Что это?» «Мой архив, переписка с судебными инстанциями, всякие записи», — как можно более равнодушно пояснил я. Кто бы знал, что под «всякими записями» подразумевался черновик целой книги, книги обо всем, что я здесь видел и чувствовал, книги, благодаря которой я здесь... не сломался, выстоял, выжил.

Потом какие-то двери, какие-то кабинеты, какие-то окошки. Получен железнодорожный билет до Москвы, получены деньги, гордо именуемые подъемными. В одном из окошек дама, отдававшая мне что-то положенное, замялась: «Тут еще у вас...», — и вручила... ту самую кенийскую монетку, что некогда вложил мне в письмо побывавший в Африке приятель. «Подарок» я принял молча. Разумеется, в моей коллекции эта монета займет почетное, пусть не подтвержденное нумизматической ценностью, место.

А первым человеком, встреченным на выходе с территории несвободы в пространство нормальной жизни, был сын. Приехал утренним поездом, дожидался меня в уютной беседке у здания лагерной администрации. «Привет, папуль», — поздоровался так, будто расстались мы пару дней назад.

Запах свободы... Литературный штамп. Избитый. Затасканный. Тем не менее этот запах существует. И для каждого, выходящего на волю, он — свой. Персональный. Индивидуальный. Очень личный. Вот и я в день освобождения на выходе из лагеря замер, поймав себя на мысли: «Вот он, тот самый шаг, что отделяет свободу от несвободы, зону от нормальной жизни». Конечно, шагнул. И, конечно, вдохнул! Не глубоко и сильно, а аккуратно и бережно. Чем пахла свобода? А вот никакой романтики, никаких высоких образов. Моя свобода утром 16 августа 2011 года пахла тем, чем пахнет окраина заштатного поселка в среднерусской полосе: немного свежескошенной травой (неподалеку частный сектор — жители избавлялись от сорняков у заборов и палисадников), немного горелым бензином (чуть дальше проходила дорога), немного прелыми, разогретыми солнцем яблоками (кто-то совсем рядом, не донеся до

помойки, вывалил ведро падалицы). Простые, обыденные запахи. Шикарные, торжественные ароматы. И помнить мне их вечно!

Вот и пришло время посмотреть на место моего долгого вынужденного обитания со стороны. Со стороны воли. Со стороны свободы. Со стороны совсем другой жизни. Серенькие корпуса жилки. Не менее серые корпуса промки. Будто приклеенный косою столбик белесого дыма над цехом дробления и расфасовки мела. С трех сторон в бестолковую кучку кубиков жилки и промки то ли охраняют, то ли подпирают, норовя раздавить, меловые, едва прикрытые чахлой зеленью, холмы. Издалека, если не замечать лагерного забора и вышек с часовыми, ни дать, ни взять средних размеров фабрика, некогда много кого кормившая, дававшая план и проценты, а ныне обойденная вниманием инвесторов и эффективных менеджеров, плавно уходящая в никуда.

Фабрика, фабрика, наверное, действительно, фабрика. Фабрика по уродованию человеческого материала. Фабрика по уничтожению личности. Фабрика жестокого, трижды неестественного отбора. Очень сильные становятся здесь еще сильнее. Становятся такими сильными, что, едва очувтившись на воле, они тотчас же попадают в поле хищного внимания завистников, недоброжелателей и просто откровенной сволочи в погонах и без погон, что желают во что бы то ни стало вернуть их обратно за колючку, за многослойный забор с вышками.

Подавляющее большинство прочих превращаются здесь в безликую, лишенную прав, воли и всего человеческого биомассу. То ли фарш, из которого лепят котлеты для пропитания тех же сильных, то ли глину, из которой будут лепить кирпичи и посуду опять же для нужд сильных.

Чем не модель нынешнего нашего общества с той же самой сверхжесткой диктатурой его величества запре-

дельно неестественного, бесчеловечного отбора. Сильные, богатые, успешные становятся или еще сильнее, богаче, успешнее, или... сходят с круга, превращаются в корм, в материал для мощения дорог, чтобы те, кто превзошел их, плотно питались и ловко двигались, умножая силу, богатство и успех.

Что же касается гуманизма и милосердия, и то в этом раскладе они вроде импортных медикаментов: или не купить по причине жуткой дороговизны, или нарвешься на бесполезный, а то и смертельный для здоровья «фальшак», сработанный таджикскими или вьетнамскими умельцами в подвале или на чердаке.

Прощай, лагерь! Не хватает фантазии, чтобы представить ситуацию, после которой я вернусь за этот забор, за эти вышки. Зато есть четкая уверенность, что если такое, не дай бог, случится, все это выпадет здесь вынести, — вынесу достойно. Так же достойно, как вынес все, что выпало за время этого срока, в любой день и час которого я мог с уверенностью заявить: «У меня прямая спина и начищенные ботинки!»

До поезда три часа. Билеты на руках. Городишко (скорее, конечно, поселок) таков, что пойти здесь просто некуда. Да и не хочется. С удовольствием просидел бы все эти три часа на скамейке в привокзальном сквере. Просто просидел бы, перебрасываясь неспешными фразами с сыном, шаря взглядом наугад по... декорациям свободы: дома без решеток, люди не в робах, люди без дубинок, машины, дети, женщины. То ли пил бы, то ли ел, но и в том и в другом случае, конечно, смаковал вкус свободы. Уверен, что и не заметил бы, как пролетели эти три часа. Какие-то три часа! Всего сто восемьдесят минут! Какой пустяк по сравнению со сроком моей теперь уже прошлой, но все еще такой близкой, такой осязаемой, такой конкретной неволи...

Тем не менее внесенное сыном предложение посетить ближайший универсам я принял. Вольный магазин, где можно купить все желаемое за деньги, которые так давно не держал в руках, — да это же здорово!

Универсам — часть свободы! Универсам — примета свободы. Универсам — символ свободы! Даешь универсам!!!

Стоит ли объяснять, почему среди прочих пустяков, впопыхах попавших в универсамовскую корзину, оказалась и четвертинка водки? Фирменной местной водки? В бутылке с зеленой этикеткой? И эта бутылка представлялась мне в этот момент не менее емким символом свободы, чем тот же универсам, в котором она куплена.

А до поезда еще целых три часа... А за весь срок никакого алкоголя (ни в каких видах, ни в каких количествах по ранее описанным причинам) я не употреблял. Короче (вот и сам использовал слово, которое совсем недавние мои соседи так беспощадно эксплуатировали и которое так же недавно чувствительно царапало мой слух), фольговая шапка-крышечка была сдвинута с той четвертинки уже в ближайшем за универсамом дворе. Столом и стульями послужили кругляши недавно спиленных тополиных стволов. Закуска — «вольная», только что купленная за наличные (!) деньги в «вольном» магазине, колбаса. Не чесноком и пряностями, а Свободой пахли эти бордовые кружочки, и совсем не вспоминалось ни о малополезных вкусовых добавках, ни о коварной генно-модифицированной сое, ни о трагической статистике пищевых отравлений в стране.

«Сколько?» — только и спросил повзрослевший и, кажется, все понимающий сын. Мой абстрактный режущий жест указательным пальцем был истолкован исключительно правильно. Через мгновение в моей руке оказался приятно тяжелый хрустящий пластиковый стаканчик, на две трети наполненный водкой. Некогда я люто ненавидел этот вид питейной посуды и никогда, даже в трудные

командировочно-горячечные моменты своей биографии, им не пользовался. Похоже, пришло время корректировать и эту привычку.

Чуть выдохнув, как учили когда-то на тульской окраине асы питейного дела, выпил. Что случилось, точнее, что испытал потом, описать, даже имея в своем распоряжении такое универсальное средство, как русский язык, очень трудно. Все устные и печатные откровения «курнувших», «нюхнувших», «уколовшихся» и т.д. на фоне испытанного и прочувствованного — блеклая и невнятная чепуха.

После выпитой водки меня будто накрыло теплой, ласковой и в то же время очень мощной, подчиняющей и диктующей волной, ноги, руки, язык сделались пухлыми и тяжелыми, как будто увеличились в размерах и полностью утратили всякую способность двигаться. Показалось, что щелкнул неведомый тумблер, и мои зрение, слух, обоняние перестали работать на меня, вовсе ушли из меня, уступая место иным, доселе не знакомым мне и не известным никому, чувствам.

Скомандуй кто-нибудь мне в тот момент: «Встань, двигайся, иди! Или в тебя будут стрелять!» — я бы только слегка качнул головой и чуть улыбнулся в ответ. Мягкой, доброй, чуть глуповатой была бы в тот момент моя улыбка. А вот пошевелить при этом рукой, ногой, языком я бы так и не смог.

В очередной раз отдаю должное лагерно-тюремному аргю, в котором есть термин «зашторило» — так называют состояние человека, хватившего немалую дозу алкоголя, переборщившего с наркотиками или испытавшего необычайно сильное потрясение.

Действительно, зашторило. Будто кто-то где-то внутри резко задвинул шторы из темной и тяжелой материи. И оставил по ту сторону шторы всю окружающую действительность: пыльный двор за стеной универсама, едко пахнущие тополиные бревна, несуразный, когда-то люто

ненавидимый, а ныне такой возжеланный пластмассовый, уже опустошенный стаканчик, и за всем этим — и время моей несвободы, еще такое близкое, и уже такое далекое. А по другую сторону этой самой шторы нет предметов, людей, деталей пейзажа. Есть только что-то сочное, вспыхивающее, сверкающее и блестящее, яркое, цветное, но ничего общего не имеющее с красками знакомого с детства спектра. Какой там охотник с идиотским желанием знать идиотское местонахождение какого-то не менее идиотского фазана! Это совсем другие краски! Совсем других цветов. Из совсем другого измерения.

«Зашторное» наваждение продолжалось минут двадцать. Потом отступило, уступило реальной действительности в привычных красках, звуках и даже запахах. Действительности, воплощенной в простых предметах и деталях обыденного пейзажа.

И эти неполные сто граммов в ломком пластиковом стаканчике, и все, что грянуло потом, я запомнил навсегда, а если когда-нибудь напишу об этом рассказ, непременно назову его «Волшебная водка свободы».

Потом был поезд...Вагон не СВ, не купейный, но и не «столыпин»! Белое постельное белье. Возможность выйти на любой остановке и купить бутылку пива, газету, порцию мороженого. Возможность смотреть в вагонное окно, за которым всегда что-то происходит, что-то меняется. (Окна в «столыпине» всегда были тщательно закрашены белой краской). Возможность по собственному выбору лежать, сидеть или идти в соседний вагон, в котором едут двое таких же ошалевших от обрушившейся свободы вчерашних солагерников. Возможность ежесекундно пользоваться своей свободой, цену которой, независимо от возраста и жизненного опыта, образования и объема прочитанных книг, узнаешь только после того, как эту свободу у тебя

отнимут. Можно прислушиваться к перестуку вагонных колес и услышать в этих звуках бесконечное повторение этого, отныне наполненного очень личным смыслом, слова: «сво-бо-да, сво-бо-да, сво-бо-да...».

Можно ни к чему не прислушиваться, ни к чему не приглядываться, а просто...почувствовать себя счастливым.

Сильное, светлое, ни с чем не сравнимое чувство.

Едва поставил точку в последнем «бодреньком» предложении, как поймал себя на малоприятной, но очень откровенной мысли: а ведь неизвестно, чем бы все это могло кончиться, если бы была у лагерного начальства на мой счет жесткая, пусть неписаная, установка-указивка «гнобить по максимуму», сродни некогда практиковавшимся гулаговским инструкциям — «стереть в лагерную пыль!».

Конечно, «иные нынче времена», и никакому, даже сверхчувствительному лагерному «хозяину» не нужен в руководимой им зоне эдакий сгусток проблем, в который могла бы вылиться всякая попытка третировать меня за лагерным забором, но...

Спасибо ангелу-хранителю, чьи крыла я чувствовал над собой все это время! Спасибо родным и близким, крепко молившимся за меня весь мой срок! Спасибо Судьбе за все то, что хорошо кончается.

Литературно-художественное издание

Проза русской неволи

Земцов Борис Юрьевич

**ЖИЗНЬ СТРОГОГО РЕЖИМА
ИНТЕЛЛИГЕНТ НА ЗОНЕ**

Выпускающий редактор *А.Г. Зеленский*

Художник *М. Олин*

Корректор *И.В. Алферова*

Верстка *И.В. Хренов*

Оформление и подготовка обложки *Е.А. Забелина*

ООО «Издательство «Вече»

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 06.08.2013. Формат 84 × 108 1/32.

Гарнитура «JournalС». Печать офсетная. Бумага офсетная.

Печ. л. 11. Тираж 2000 экз. Заказ № 7149.

Отпечатано в ООО «Тулская типография»

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»

ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком
книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»

Юридический адрес:
129110, Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Почтовый адрес:
129337, Москва, а/я 63.

Фактический адрес:
127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Интернет: www.veche.ru
Электронная почта (E-mail): veche@veche.ru

По вопросу размещения рекламы в книгах
обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ».
Тел.: (499) 940-48-70
E-mail: reklama@veche.ru

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также
в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

В Москве:

Компания «Лабиринт»
115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Тел.: (495) 780-00-98, 231-46-79
www.labyrinth-shop.ru

В Киеве:

ООО «Издательство «Арий»
г. Киев, ул. Леся Курбаса, д. 26
Тел.: (380 44) 537-29-20, (380 44) 407-22-75.
E-mail: info@ariy.com.ua

Всегда в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ»
в московских книжных магазинах:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Новый книжный».

Эта книга уникальна уже тем, что создавалась за колючей проволокой, в современной зоне строгого режима. Ее части в виде дневниковых записей автору удалось переправить на волю.

А все началось с того, что Борис Земцов в бытность зам. главного редактора «Независимой газеты» попал в скандальную историю, связанную с сокрытием фактов компромата, и был осужден за вымогательство и... хранение наркотиков. Суд приговорил журналиста к 8 годам строгого режима. Однако в конце 2011-го, через 3 года после приговора, Земцов вышел на свободу — чтобы представить читателю интереснейшую книгу о нравах и характерах современных «сидельцев».

Интеллигент на зоне — основная тема известного журналиста Бориса Земцова.

ISBN 978-5-4444-1136-0



9 785444 411360

